

ТОЛЬКО ДЛЯ МУЖЧИН



ТОЛЬКО ДЛЯ МУЖЧИН



БОГОМИЛ РАЙНОВ

ТОЛЬКО ДЛЯ МУЖЧИН

БОГОМИЛ РАЙНОВ

ТОЛЬКО ДЛЯ МУЖЧИН

РОМАН

Перевод с болгарского
А. СОБКОВИЧА

СВЯТ
СОФИЯ, 1986

Перевод сделан по изданию:
Богомил Райнов. Само ва мъже. Роман.
Издательство «Български писател», София, 1979

Ночь темным-темна, в неоновом свете фонаря можно увидеть немного: слева — приземистое здание таможни, справа — будку пограничного контроля, а посередине — мой старый «москвич».

У машины уже давно маячит венгерский пограничник. То ли сказывается врожденный его педантизм, то ли убийственная служебная скука, но он долго перелистывает мой паспорт, совершенно новый, а следовательно, почти пустой. Перелистав, возвращается к первой странице, недоверчиво разглядывает фотографию, еще более недоверчиво — меня самого, словно никак не может решить, я это или не я. Наконец, установив почти с сожалением, что все-таки это я, он по-военному поворачивается кругом и уходит в будку, чтобы стукнуть в паспорте штемпелем.

Две минуты спустя выкрашенный «под зебру» пограничный шлагбаум медленно поднимается, открывая мне путь во мрак и в тот, другой мир.

Поначалу «другой мир» представляется мне точно таким же, какой остался позади: темное облачное небо, простирающееся под этим небом чернильного цвета поле, рассеченное пополам летящей белой лентой дороги. Потом внезапно возникает город. Совершенно внезапно, безо всяких там пригородов, неказистых хибар, унылых складских помещений. По обе стороны дороги красуются два старинных дома, их белые фасады с высокими окнами в гипсовых гирляндах залиты ярким неоновым светом. За ними из окружающего мрака вырастают другие здания, такие же белые и призрачные, словно мираж. А еще дальше. . .

Еще дальше мне попасть не удается, так как и здесь дорогу перегораживает «зебра» пограничного шлагбаума.

Австрийский служащий отличается от венгерского главным образом формой. Что же касается мнительности. . . Впрочем, паспорт — не Библия, как его ни листай, когда-то должен наступить конец. «Зебра» и в этот раз принимает сидячее положение, пропуская двух подозрительных типов — убогого «москвича» с его владельцем.

Слева, в сотне метров от шлагбаума, зеленые буквы неона гласят:

ОБМЕН ВАЛЮТЫ

Чуть дальше розовый неон оповещает:

БАР

Шиллинги у меня есть, так что я, проехав мимо нового одноэтажного здания банка, останавливаюсь у нового одноэтажного здания бара. Столики на террасе перед баром пустуют. Внутри тоже пусто, но для меня сейчас предпочтительней та пустота, что снаружи.

Появляется любезно улыбающийся официант — наконец-то после стольких подозрительных взглядов меня удостаивают улыбкой. Я пускаю в ход небогатый запас немецких слов и заказываю кофе, с удовольствием отмечая, что официант меня понимает.

Терраса освещена только светом витрины: какой смысл расходовать электричество ради одного-единственного посетителя. Вокруг темнеет декоративный кустарник. Улица тоже в полутьме, и лишь там, справа, где смутно угадываются полосы шлагбаума, сверкают яркие, броские указатели: «СТОП» и «ТАМОЖНЯ».

Официант приносит кофе, а заодно и счет, берет деньги и, обнаружив, что я накинул пять шиллингов за улыбку, снова приветливо улыбается.

Мне приятен вкус кофе, приятна тишина после многочасового гудения мотора. Приятна и ночная прохлада, чуть приправленная запахом бензина, американских сигарет и лета. Справа, в желтом свете указателей, курят и болтают два таможенника и полицейский.

И вдруг я слышу вой сирены. Он приближается не от границы, а с противоположной стороны. Стоящие у шлагбаума люди мечутся туда-сюда, по их команде из тени придорожных деревьев выползает грузовик с прицепом и перекрывает шоссе.

Вой сирены нарастает, раздаются хлопки выстрелов, и вдруг — не у границы, а опять-таки с обратной стороны — вспыхивают автомобильные фары и слышится неистовый рев мотора. К шлагбауму стремительно вылетает «порше» черного цвета, но перед самой зеброй натыкается на дополнительное препятствие — грузовик с прицепом. Тормоза «порше» вспарывают тишину резким визгом. Машина сбавляет скорость, круто сворачивает в сторону и вклинивается в узкое пространство между банком и баром.

Дальше проехать невозможно: впереди невысокая железная ограда.

Из кузова выскакивают трое мужчин и бегут к ограде, они почти рядом со мной — нас разделяют только декоративные насаждения, и потому я отчетливо вижу, как один из них на бегу швыряет в кусты какой-то темный предмет. Если это бомба, плохи мои дела.

Только вряд ли это бомба, раз я все еще жив. Разве что бомба замедленного действия. Едва беглецы скрылись за оградой, как у «порше» останавливается полицейская машина с воющей сиреной. Подбегают несколько полицейских от пограничного пункта, раздаются какие-то возгласы, неясные команды, затем полицейские бросаются в темный промежуток между баром и банком.

На проезжей части против террасы уже собралась группа комментаторов: официант, владелец заведения, двое парней с бензоколонки в желтых фуражках и банковский сторож — в черной. Но, как видно, толковать особенно не о чем, если не считать выстрелов, которые доносятся откуда-то издалека. Зеваки рассеиваются. Содержатель бара и официант уходят к себе. Пора и мне ехать дальше.

Я трогаюсь не спеша. Суетиться в подобных случаях ни к чему — зачем привлекать к себе внимание. «Москвич» с умеренной скоростью катит по дороге, освещенной уличными фонарями и затененной придорожными деревьями. В кузов врывается запах пыли и недавно политых газонов. За темной листвой мелькают призрачные фасады старинных зданий. Проезжаю еще немного, и город внезапно кончается. Так же внезап-

но, как и возник. Город-привидение. Город, состоящий из дюжины домов и шлагбаума.

Улица опять превратилась в шоссе. Опять тот же пейзаж: темное облачное небо, чернильного цвета равнина с белой лентой дороги, которая летит мне навстречу, летит все быстрей, потому что теперь мне уже нечего оглядываться.

Шоссе совершенно безлюдно. Через этот пограничный пункт проезжают немногие, особенно в такое время года и в такой поздний час. Лишь изредка появится встречная машина, сверкнет фарами, переключив дальний свет на ближний, пронесется мимо и исчезнет позади.

Проехав около получаса, я сворачиваю на стоянку, обозначенную указателем и двумя урнами внушительных размеров — не будь их, тут бы все потонуло в мусоре. Впрочем, мусор здесь бросают где попало. Взять хотя бы того беглеца, что швырнул темный пакет прямо в кустарник.

Пакет оказался солидным портфелем — теперь он валяется не в кустах, а у моих ног, в «москвиче». Надо быть законченным идиотом, чтобы увидеть лежащий в кустах предмет и, проходя мимо, не прихватить его.

Остановив машину между урнами, я принимаюсь исследовать содержимое портфеля. Я должен убедиться, что в нем лежит именно то, на что я так рассчитывал и чего опасался в нем не обнаружить. Деньги. Доллары. По десять тысяч в пачке. Много пачек, полный портфель.

Глава первая

Чтобы рассказать эту историю во всех ее подробностях, мне пришлось бы начать со своего рождения. Если же для краткости перешагнуть первые сорок лет моей биографии, то я могу начать с того, как однажды моя жена Бистра прогнала меня из дому.

Не подумайте, что она выбросила мои вещи в окно, а меня самого спустила с лестницы. Нет, вещи она оставила себе — во всяком случае все, что могло ей пригодиться. Что же касается лестницы, то у Бистры нет для этого ни физических данных, ни склонности к подобному виду спорта. Она просто заявила, что теперь, когда мы давным-давно разведены, проживание в одной квартире становится все более неудобным. Я по привычке продолжал еще говорить о ней «моя жена», но мы в самом деле развелись с соблюдением всех предусмотренных законом формальностей — с той поры уже прошло целых два месяца.

Что касается неудобств нашего совместного проживания, Бистра, конечно, была права. Как ни странно, она почти всегда была права. Она была права с самого начала, когда стала твердить, что наш брак чем-то напоминает маленькое кораблекрушение. Она была права и позднее, когда у нее вошло в привычку называть меня упрямым ослом. Да и в конечном итоге она была права — когда, спасаясь от кораблекрушения, бросилась в объятия Жоржа.

Неудобства, о которых говорила Бистра, стали вполне очевидны сразу после развода. Жорж, если не формально, то фактически, обосновался у нас. Кроме того, они с головой ушли в светскую жизнь. Первое время моя жена нисколько не возражала, чтобы я был свидетелем этой светской жизни. В этом она видела великолепную возможность утереть мне нос и нагляд-

но доказать, как при желании может проводить время молодая семья.

Уклоняясь от наглядных уроков, я старался как можно меньше оставаться дома. Но поскольку мне все-таки надо было где-то спать, я возвращался домой. Однако наше жилище было устроено так, что, как бы поздно я ни возвращался, мне надо было пересекать гостиную, где пять-шесть пар под завывание магнитофона потягивали заграничное спиртное и занимались танцевальными упражнениями.

Случались и тихие ночи, когда из боязни, что соседи могут вызвать милицию, наши гости довольствовались спиртным и игрой в покер, а в гостиной было до такой степени накурено, что мне удавалось прошмыгнуть к себе в спальню почти незаметно.

В сущности, если кто-нибудь меня и замечал или делал вид, что замечает, так это была Беба, одна из приятельниц моей жены. Беба, насколько можно верить ее собственному признанию, давно «положила на меня глаз», и, когда моя жена снисходительно спрашивала у нее: «Что ты в нем находишь интересного, в этом кисляе?» — Беба отвечала коротко и ясно: «Ну, знаешь, одним нравится сладкое, другим — кислое». Случалось, Беба отрывала глаза от карт как раз в тот момент, когда я пытался проскользнуть к себе.

— А, Тони! Что это ты крадешься, точно вор? Поди-ка сюда! Посиди рядышком, благо ты теперь свободен.

Чтобы не прослыть совершенно антисоциальным типом, я, конечно, подсаживался к ней и даже пропускал два-три глотка спиртного, слушая Бебу — пасуя, она бросала угрозы в мой адрес: «Сколько бы ты ни валял дурака, тебе от меня не уйти». Может, приставания Бебы действительно объяснялись любовью к кислому, но тут скисал не я, а моя жена, хотя она и старалась сохранить при этом независимый вид. Что ж, это понятно: Бистра ни в грош меня не ставит, но привыкла обращаться со мной как с личной собственностью. А когда кто-то пытается прибрать к рукам то, что вы считаете своей собственностью, это всегда раздражает, даже если эта вещь вам ни к чему. Сила инерции,

которая, оказывается, не бог весть какая сила, потому что однажды утром моя бывшая супруга вдруг заявила мне:

— Так больше не может продолжаться!

Конечно, кивнул я. Люди, живущие внизу, обязательно сообщат в милицию.

— Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду другое. — И так как я не догадался уточнить, что именно, она пояснила: — Это сожительство становится невыносимым.

— Ты же видишь, я делаю все, чтобы терпеть.

— Я не о тебе говорю, а о себе! — взъярилась Бистра, совсем как в добрые старые времена, когда мы еще были супругами.

Разговор шел в кухне, где я, присев к покрытому клеенкой столу, допивал собственноручно сваренный кофе. Допивал, рассеянно блуждая взглядом по клеенке с мелкими зелеными стебельками клевера, напоминающей прерию, над которой лениво перекатывались серо-фиалковые облака дыма моей сигареты.

Час утреннего кофе всегда был самым спокойным в моих суетных днях. После светских развлечений моя жена и Жорж поднимались только к обеду. Жена в то время не работала — ждала, пока ей предложат место «по душе». Что касается ее дружка, то род его занятий был неопределенным: он работал то ли инспектором, то ли поставщиком — я так и не понял, во всяком случае работа позволяла ему мотаться по городам и весям, спать допоздна и уделять время своему хобби — перепродаже импортных вещей.

Однако это утро едва ли можно было назвать тихим. Перешагнув порог, жена застыла в боевой позе — руки на бедрах, ноги на ширине плеч.

— Не понимаю, чего ты от меня хочешь, — пробормотал я.

— Свободы! Неужто непонятно: свободы — и ничего больше!

Она продолжала стоять все в той же вызывающей воинственной позе.

— Ты подними одну руку вверх, — предложил я.

— Это зачем же?

— Получится, будто ты держишь факел. На манер статуи Свободы в нью-йоркском порту.

— Я бы тебе засветила факел, да вазу жалко, — ответила она.

Ваза безропотно поглядывала с буфета, готовая к делу.

В конце концов, решив, очевидно, что прежде чем прибегать к сильным средствам, не мешает испробовать более гибкие, Бистра спросила:

— Тони, ну скажи, ну может женщина жить с двумя мужиками одновременно?

— Ты живешь с одним.

— Но соседи другого мнения: с одним развелась, за другого не вышла, живет с двумя.

— А что тебе мешает выйти за него замуж?

— Ты мешаешь.

— Я готов дать тебе подписку, что не возражаю, если в этом есть надобность.

— Жорж сказал, что мы поженимся только после того как ты освободишь квартиру.

— А мне где прикажешь поселиться? На тротуаре?

— Не говори глупостей. Имеется в виду, что вы с Жоржем обменяетесь комнатами.

Десяток секунд я сидел молча, соображая, в какой форме лучше поднести свой отказ. Но жена, решив, что я испытываю колебания, возобновила атаку.

— У Жоржа комната в хорошем доме, с удобствами. Из тех шикарных домов, которыми раньше владела буржуазия. В двух шагах отсюда, в самом центре. Чудесный вид из окна. И еще одно преимущество: соседи — одни мужчины. Редкая возможность для женоненавистника вроде тебя.

Я продолжал молчать, обдумывая свой отказ. Обдумывал я его без особой внутренней убежденности. Жена и на сей раз была права: она нисколько не сомневалась, что после неизбежной в таких случаях риторики я уступлю. Просто диву даешься, как такая вот женщина, не страдающая избытком интеллекта, может во всех случаях жизни быть правой.

— Нечего тут мудрить! — Бистра усилила натиск. — Чему быть, того не миновать. Другого выхода нет! —

Она решительно взмахнула рукой, дабы придать своим словам большую категоричность.

— Чудесно, — сказал я. — Только вскинь эту руку повыше. Будто держишь в ней факел.

Статуя Свободы и все такое прочее — это действительно чудесно. Скверно лишь, что, обретя свободу, ты первым делом задаешься вопросом: а какой от нее прок? И вместо того чтоб ликовать по поводу своего освобождения, ощущаешь вдруг какую-то безбрежную пустоту.

На другой день, в обед, ко мне в комнату заглянул Жорж:

— Помочь тебе собраться?

— Нечего мне помогать. Я готов.

Весь мой багаж составил три места. В один, еще довольно новый фибровый чемодан я уложил одежду, другой, совсем худой и обвязанный веревкой, набил книгами. Был еще небольшой узел — в него Бистра великодушно сунула несколько простынь и полотенец, уже изрядно послуживших.

Я беру чемоданы, Жорж закидывает на плечо узел, и мы в сопровождении Бистры направляемся к лестнице.

— Новый чемодан, если он тебе не очень нужен, ты мне верни, — бросает вдогонку жена.

— На кой он тебе? — бормочу я в недоумении. — У тебя горы чемоданов.

— Те набиты одеждой. А в этот я сложу зимние вещи. Где их прикажешь держать — на голове?

— Не бойся, — подмигнув мне, вмешался Жорж. — Я такой шкаф тебе оставлю, что ты в нем запросто сможешь крошек принимать.

— Ты и в шкафу их ублажал? — спрашивает Бистра. Но Жорж уже спускается по лестнице.

Уложив вещи в «жигули», мы трогаемся. В машине адская жара, улица тоже не дышит прохладой. На бульваре не протолкнуться — транспорт, пешеходы. Жорж уставился в ветровое стекло, машина еле ползет. Рядом, на тротуаре, толпы прохожих. Жара делает людей ленивыми или нервными. Ленивые еле тащатся,

а нервных это раздражает, им не терпится всех обогнать.

Жорж, как видно, из нервных.

— Это же мука мученическая — пользоваться в наше время мотором, — горько вздыхает он, выключая сцепление и переходя на первую скорость.

— А ты ходи пешком.

— И пешком не легче. Этот город страшно перенаселен. Одни бегут, другие еле плетутся, одни напирают вправо, другие — влево. . . Когда я оказываюсь в толпе, меня это до того бесит, что я начинаю толкаться локтями.

— Смотри, как бы тебя самого кто-нибудь хорошенько не толкнул.

— Я это делаю артистично, Тони! Толкаю якобы случайно и даже «пардон» говорю время от времени. Как садану локтем пять-шесть скотов, сразу на душе становится легче, веришь?

Я окидываю его взглядом. Жара ли тому причиной или ночная попойка, но он явно не в форме. У человека, намеревающегося не сегодня завтра вступить в брак, вид обычно более оптимистичный.

Не успеваем мы свернуть на Патриарха, как зажигается красный свет. Жорж опять испускает мученический стон и сбавляет скорость. Вид у него пришибленный, глаза смотрят сквозь стекло с апатией. Загорается зеленый, но мой шофер будто и не замечает этого.

— Чего ждешь? — говорю. — Зеленей не будет.

— Что-то мне сегодня не по себе, — уныло бубнит он и медленно трогается с места.

Мне тоже несладко, но я-то в другом положении. Я потерпевший, а он в выигрыше. Но у меня есть одно дело, и если оно выгорит, мое самочувствие сразу подскочит на несколько градусов. Если выгорит.

С горем пополам оставляем позади улицу Патриарха. Машина мечется то в одну, то в другую сторону по каким-то улочкам. Я начинаю подозревать, что Жорж успел забыть собственный адрес, но тут «жигули» внезапно подкатывают к тротуару, и водитель нарочито бодрым голосом объявляет:

— Приехали. Вот она, резиденция.

«Резиденция» представляет собой двухэтажную уро-

дину, которая, видно, чисто случайно уцелела среди высоких новостроек. Речь не о том, что новые корпуса красивее — к унылому виду этих коробок все давно притерпелись. Но в этом старом доме была какая-то претенциозность, которую время и запустение превратили в злую пародию. Светская красавица, с годами ставшая карикатурой на саму себя. Старуха с угасшим взглядом и иссохшим телом, застывшая в нелепой кокетливой позе.

— Этот дом строил мой дед, — поясняет Жорж, пока мы выгружаем вещи. — Маленький дворец. Умели жить люди. Строили дома на века, не то что нынешние — живут сегодняшним днем. . .

Фасад «маленького дворца» выкрашен охрой — в этот теплый цвет когда-то красили школы, больницы и казармы. Цвет казенщины, скуки, протухшего желтка. Впрочем, от окраски мало что осталось, штукатурка большей частью отвалилась. Зато две колонны у парадного входа прекрасно сохранились, возможно, потому, что они ничего не подпирали. Уцелели и треугольные фронтоны над окнами, чью ренессансную строгость смягчали облупившиеся гипсовые ангелочки. Высокие узкие окна напоминали о школах и казармах былых времен. По фасаду тянулась балюстрада террасы, которой был облагодетельствован верхний этаж.

Жорж отпирает дверь и собирается спрятать ключ, но, вовремя спохватившись, подает его мне. Я сую ключ в карман, не будучи уверенным, должен я сказать ему «спасибо» или не должен. Мы попадаем в темную прихожую, где на меня повеяло запахом плесени, сырой штукатурки и препарата, которым морят тараканов.

— Чувствуешь? — спрашивает мой гид.

— Нос у меня пока еще на месте.

Оказывается, мы чувствуем совершенно разные вещи.

— Когда-то мой отец торговал розовым маслом, — поясняет Жорж. — Он до того был влюблен в его запах, что пропитал розовым маслом весь дом. И вот чудо: столько лет прошло, а запах розы все еще носится здесь.

Запах розы. . . Сумасшедший.

— Осторожно, здесь нет лампочки, — предупреждает бывший хозяин, ведя меня через прихожую. — Здесь тоже, — добавляет он, когда мы входим в такое же темное, но гораздо более обширное помещение. — Места общего пользования, никто не догадается ввернуть лампочку. Впрочем, здесь достаточно света из кухни.

Сквозь открытую в глубине дверь и впрямь проникает пучок тусклого света, лучом прожектора пронзающий полумрак холла: как следует из объяснения Жоржа, мы находимся в холле.

— Не особенно уютно, но плевать. Проходной двор. А на кухне у каждого своя электрическая плитка. Моя — то есть твоя — напротив двери.

Хозяин считает лишним знакомить нового жильца с таким прозаическим помещением как кухня и ведет меня в самый темный угол просторного холла, где, если я не ошибаюсь, виднеется какая-то лестница.

— Там, наверху, — твои покои, — информирует меня Жорж. — Эта темница тебя не должна интересовать.

— Раз ты считаешь. . .

— Старайся не загреметь, лестница скользкая. Какое дерево, какой лак. . . Столько лет прошло, а у мухи лапки разъезжаются, если сядет. . .

Не знаю, то ли от лака, то ли от грязи, но лестница и впрямь оказывается скользкой. Я взбираюсь по ней в сумраке, следуя по пятам за Жоржем. Перед нами возникает небольшая сводчатая дверь. Жорж распахивает ее и не без торжественности вводит меня в длинный светлый коридор.

— Здесь совсем другое дело, а?

— Ты так думаешь? — неуверенно спрашиваю я. Коридор, заваленный старой поломанной мебелью, не вызывает во мне благоговейного трепета.

— А что тут думать! — почти возмущенно восклицает Жорж. — Вот терраса, целиком в твоем распоряжении, вот туалет, тоже исключительно в твоем распоряжении, вот ванная, тоже вся твоя.

При этих словах он открывает двери упомянутых

помещений, одну за другой, но прежде чем я успеваю заглянуть в них устремляется к последней двери, распахивает ее и с царственным жестом возвещает:

— А вот и сама комната.

Я вхожу, несколько обеспокоенный тем обстоятельством, что, несмотря на обеденное время, в комнате как будто сгущаются сумерки. Я не хочу сказать, что здесь не хватает окна — их в комнате целых два, только одно из них затемнено глухой стеной соседнего здания, а другое — густой листвой орехового дерева.

— Да-а, мрачненько. . .

— Мрачненько, что за вздор! А тебе обязательно нужно, чтоб было светленько? Ты хочешь задыхаться от жары? Полюбуйся, какая тут прохлада, какое спокойствие. . .

Как бы в подтверждение сказанному именно в это мгновенье сквозь ореховую чащобу врывается неистовый рев магнитофонного рока.

— Нет, я покажу этому ублюдку, где раки зимуют! — рычит Жорж. — Вообще-то в нашем районе тихо, как в церкви, но этот ублюдок со своей системой. . .

Хозяин не договаривает, видимо, успокоенный тем, что теперь в этой комнате жить мне, а не ему.

— Давай-ка покончим и с деловой частью, а то Бистра там уже заждалась.

Занявшись осмотром своего будущего жилища, я пропускаю его слова мимо ушей. Вероятно, стены комнаты когда-то были окрашены в зеленый цвет, но зеленый давно выцвел и сделался серым, а серый, вследствие сложных химических реакций между сажей, сыростью и штукатуркой, обогатился оттенками коричневого и черного. Возле окон, в тех местах, где протекает крыша, от потолка до пола тянулись длинные ржавые пятна, похожие на потемневшие отпечатки огромных сталактитов. Уют дополняла соответствующая мебель — уже упоминавшийся шкаф, в самом деле массивный и мрачный, как домашний саркофаг, металлическая кровать с латунными шарами, ободранное кожаное кресло неопределенного цвета, стол и стулья без особых примет. В глубине комнаты, ближе к углу, мое внимание привлекла еще одна дверь.

— Ах, чуть было не забыл! — подает голос Жорж, поймав мой взгляд. — Тут у тебя есть еще небольшая клетушка. Она может служить тебе спальней.

Он открывает дверь. Окинув беглым взглядом этот чулан, я убеждаюсь, что он несколько просторнее шкафа, но не настолько, чтобы там поместилась железная кровать. Я пытаюсь объяснить это своему сопровождающему.

— А зачем втаскивать кровать? В коридоре валяется пружинный матрац. Тут, на пружинном матраце, мой старик проспал целую вечность. . . — Он на мгновение замолкает, словно вслушивается или всматривается в нечто едва уловимое, потом переводит взгляд на меня. — Чувствуешь?

— Что? Запах роз?

— Значит, чувствуешь. А ведь столько лет прошло!. .

Запах роз. . . Сумасшедший. Розы плесенью не пахнут. Но если аромат, как считают некоторые, будит воспоминания, то почему бы воспоминаниям не разбудить аромат?

— Раз это твой дом, почему ты его так запустил? — спрашиваю я безо всякой задней мысли.

— Как это мой? Сразу после Девятого его у нас отобрали.

— Но кое-что небось оставили?

— То, что оставили, ушло, как вода в песок. Надо же было жить.

— Собственное продали и остались в государственном. . .

— Государственное!. . Не государство строило дом, а мой дед. Дом отдали Несторову. Он был шишкой в те времена. — Жорж понижает голос, как будто сообщает нечто особо секретное: — В МВД ходил в больших начальниках. Только зачем ему, Несторову, с его женой столько комнат? Вот второй этаж и оставили нам.

— Но ведь внизу живет не один Несторов.

— Сам виноват. Умерла жена, и этот олух объявил, что не нуждается в такой большой квартире, дескать, дайте мне что-нибудь поменьше. Поменьше ему не дали — к тому времени он уже перестал быть большой

шишкой, — но впихнули к нему жильца, а потом еще одного, вот дом и превратился в мужской монастырь. . . — Сравнение с монастырем, как видно, его не вполне устраивает, и Жорж добавляет: — Приют для потерпевших кораблекрушение. . . Одного выгнали, другого сняли, третий сидел в тюрьме.

— Зато уж четвертый. . .

— Который «четвертый»? Прежний или новый?

— Тот, которому крупно повезло.

Жорж смотрит на меня и меланхолически переспрашивает:

— Повезло, говоришь? Человек думает одно, а выходит другое. . . Ничего-то ты не понимаешь. Ну, тем лучше. — Его мысли возвращаются к реальности: — Давай-ка посмотрим, какая у нас складывается картина, а то Бистра меня заждалась.

Картина, оказывается, уже набросана на тетрадном листке и выглядит столь внушительно, что при всей своей сговорчивости я вынужден возразить.

— А ты в курсе, какой сейчас спрос на старинную мебель! — восклицает Жорж. — Ты в курсе, сколько она сейчас стоит? Как видишь, я не собираюсь с тебя драть. . .

— Да не старинная твоя мебель, просто старая. А это что еще? Чего это ты тут наворотил? В комнате этого нет.

— А в коридоре?

— То, что в коридоре, мне ни к чему. Можешь забрать.

— Куда я заберу? Бистра предупредила, что никакого старья не возьмет.

— Я согласен и на старье, только нужное. Склад я держать не стану.

— Ладно, согласен! — уступает хозяин. — Вычеркиваю. Но пускай все это временно побудет здесь, пока я подыщу покупателя.

После первой уступки дело идет на лад. Жорж вносит дополнительные коррективы, отлично понимая, что сбыть такую рухлядь практически невозможно. Известные затруднения возникают при оценке зеркала и скульптуры.

— Не знаю, сколько с тебя взять за это зеркало, — он хмурит лоб. — Такой вещи сейчас нигде не найдешь. Не хрусталь, а мечта!

И он обращает почтительный взгляд на большое стенное зеркало, закрепленное у окна, напротив слепой стены. Не знаю, какой это хрусталь и вообще хрустальное ли оно, что же касается амальгамы, то тут невольно вспоминается «Аривидерчи, Рома!» или еще что-нибудь в этом роде, ибо она давно начала облезать, главным образом по краям, — разъела кислота, именуемая временем, — да и посредине уже проступили желтоватые пятна проказы.

— Зеркало мне ни к чему, — объявляю я.

— Это как же! Разве не приятно видеть себя во весь рост? Знаешь, как иногда это важно — видеть себя во весь рост! Пристанет к твоему пиджаку нитка или еще какая соринка, вот и будешь так щеголять по городу.

— Ладно, поставь какую-нибудь цифру. Только не увлекайся.

— И против скульптуры придется поставить. Как-никак произведение искусства. . .

Тут я опять начинаю противиться.

— Отнеси его Бистре.

— Чтобы она расколола эту богиню о мою голову? — спрашивает Жорж. И вдруг принимает решение: — Так и быть, дарю тебе на память, Тони, этот маленький шедевр.

«Шедевр» представляет собой гипсовый бюст какой-то античной богини, уже изрядно поклеванный, зато увенчанный старой шляпой хозяина. Гипс установлен в углу комнаты на захудалой тумбочке, тоже занесенной в счет. У богини безупречное и безучастное лицо, на котором застыла ненужная холодная усмешка.

— А как же с формальностями по части обмена? — вдруг вспомнил я, когда со счетами было покончено.

— Все в порядке. Располагайся и ни о чем не тревожься.

Тревожиться я не собираюсь. Во всяком случае, в связи с квартирой. Но есть одно дело, которое постоянно напоминает о себе, словно заноза. Если оно выгорит. . .

Хотя со вчерашнего дня я в отпуске, мне все же придется сходить в редакцию получить отпускные. Превозмогаю полуденный зной на довольно длинном пути, получаю, что мне причитается, и на всякий случай заглядываю в комнату своего непосредственного начальника. Я не обязан ему показываться и вполне мог бы проследовать мимо его кабинета, тем более что к этому человеку по фамилии Янков я не испытываю особой симпатии. И все же, сам не знаю почему, заглядываю.

— Тебя спрашивали из какого-то издательства, — сообщает начальство.

Янков такое начальство, что было бы логичней мне сидеть на его месте, а ему ходить у меня в подчиненных. Хорошо, что я не тщеславен. Мне совершенно безразлично, где сидеть. Меня интересует другое.

— Кто спрашивал?

— Просили, чтобы ты зашел в отдел прозы, — сухо отвечает шеф и снова погружается в работу, которая в данном случае сводится к просмотру газет.

Болван, он даже не способен понять, чего стоит то, что он сообщил. Вероятно, это самая ценная информация, до которой мне удалось добраться за все двадцать лет моей журналистской деятельности.

Мне следовало бы броситься стремглав в издательство, но это не в моем характере, да и жара не располагает к бегу. Я сохраняю все тот же умеренный темп, стараясь двигаться в тени, по крайней мере в тех местах, где она реально существует. Так вот и тащусь, словно пенсионер, как будто я отправился в магазин за простоквашей, а не навстречу своей судьбе.

Впрочем, к чему такие громкие слова — навстречу своей судьбе. Просто речь идет об одной книге. О моей книге — первой и единственной. Точнее, об одном романе, где в общих чертах излагается моя собственная история. В этом мире каждый берется рассказывать собственную историю — так почему я должен нарушить установившуюся традицию? Изобразил я в нем свою эпопею, но не эту, домашнюю, с Бистрой — из нее роман не выудишь, разве что непристойный, а другую, служебную эпопею. Словом, это рассказ об одном жур-

налисте, который ездит проверять читательские письма и соприкасается со всевозможными человеческими драмами — одни большие, другие поменьше, — так что моя история постепенно превращается в букет чужих историй, обычных, но не лишенных, как мне кажется, значения.

О себе я почти не рассказываю. Не потому, что уж совсем нечего рассказать, а потому, что не считаю себя положительным героем. Чего нет, того нет. Я могу воображать о себе все, что угодно, но в том, что я не положительный герой, у меня нет никакого сомнения. Что касается отрицательных, то их и без меня хватает в романе. Я даже побаивался, что редактор потребует сократить число этих колоритных персонажей, чтобы сбалансировать светотени.

«Побаивался» — это не совсем точно. Я был уверен, что без хирургического вмешательства не обойдется — должен же редактор оправдывать свою зарплату. Только было бы неправильно причислять меня к разряду дебютантов. Не в том смысле, что я уже достиг вершины писательского мастерства, но в отношении техники я не новичок и понимаю, что первый закон термодинамики, как говорит Петко, — обеспечить благосклонное отношение редактора.

Обеспечил и притом бесхитростно, поскольку я не способен ни на сложные, ни на масштабные операции, — просто увидел его однажды вечером в клубе за столиком одного, без компании, ему, видать, было тоскливо, и он сам мне сказал: «Садись, выпьем по рюмке», а потом, естественно, спросил, пишу ли я что-нибудь, хотя ему было совершенно наплевать, пишу я или нет, но я не стал хлопать ушами, такие случаи не каждый день случаются, и стал рассказывать ему про свою задумку, он молча кивал и, то ли под действием третьей рюмки, то ли оттого, что надоело слушать, заявил, что замысел интересный, что как раз сейчас художественная документалистика в большой моде, дерзай, мол, а как рукоделье будет готово, заходи.

Я, конечно, отнес рукопись, и, как обычно бывает, приготовился к долгому ожиданию. Мне и не снилось, что меня могут пригласить на разговор раньше осени.

И вдруг на тебе, Янков скучным служебным тоном сообщает: тебя спрашивали из издательства. А ведь я чуть было не прошел мимо его кабинета.

Другой кабинет, который был для меня сегодня куда важней, встретил меня холодно. Холодность была во всей атмосфере и на редакторском лице, усталом, желтом на желтом фоне стены.

— Хорошо, что пришел, — произносит без особого энтузиазма Искров, указывая рукой на кресло у стола, безобидное, старое; оно мне напоминало почему-то кресло зубного врача. — Хорошо, что пришел, — повторяет редактор. И чтобы я не строил особых иллюзий, поясняет: — Мне хочется все расчистить — я ухожу в отпуск. Кофе будешь пить?

Я киваю — не потому, что нуждаюсь в его кофе, — просто у меня возникает надежда, что чашечка горячего кофе немного согреет душу в этой холодной обстановке.

Кофе принесен, выпит и забыт, а Искров все еще не начинает разговора, ради которого меня пригласил. Он перекладывает с места на место разные бумаги, сортирует их по папкам — словом, расчищает стол, будто никакого посетителя у него нет. Наконец, когда расчищать больше нечего, редактор вытаскивает из ящика объемистую рукопись — эта синяя полиэтиленовая папка мне хорошо знакома.

— Итак, речь идет о твоем романе, — говорит Искров и для пущей наглядности похлопывает по папке своей костлявой ладонью.

В эту напряженную минуту моя рука тянется к сигаретам, хотя у меня уже горчит во рту от курения. Я кротко сижу, курю и любознательно слушаю вступительное слово редактора о достоинствах художественной документалистики вообще и о моих находках прозаика в частности. Курю и жду, что последует за этим.

Не знаю, кому принадлежат слова: «Если фраза делится пополам частицей «но», то в этом случае весь смысл сосредоточен во второй части фразы». Дошла очередь и до этого.

— В сущности, у меня только два замечания, — продолжает редактор. — Первая касается художествен-

ной стороны, вторая — содержания. Повествование мне все еще кажется сырым, гетерогенным, оно не воспринимается как беллетристический сплав. В общем, где звучит, а где слышен гул пустоты. В одних случаях ты не в меру обстоятелен, в других как будто забываешь, что люди находятся в конкретной обстановке, они во что-то одеты, они двигаются, короче говоря — полный вакуум в отношении пластики.

Он еще какое-то время продолжает развивать мысль о беллетристическом сплаве и пластическом вакууме и даже приводит примеры. Потом объявляет:

— Но самое главное мое замечание касается сюжета.

Неожиданно сменив сухой рецензентский тон на дружески задушевный, редактор спрашивает:

— Скажи на милость, где ты ухитряешься их раскапывать, этих типов?

Вопрос слишком прямой, чтобы делать вид, будто он относится не ко мне, а к кому-то другому.

— Зачем раскапывать? Их сколько угодно вокруг.

— В том-то и дело; если их вокруг сколько угодно, то непонятно, почему мы должны начинять ими книгу. Бездушные чиновники, взяточники, мелкие карьеристы, мелкие мошенники. . .

— С крупными труднее.

— Заброшенные стройки, разрушенные семьи, квартирные скандалы, неурядицы, кутерьма. . . Зачем тебе понадобилось все это?

Он в явном недоумении. Я — тоже. Мы сидим и смотрим друг на друга с недоумением.

— Пойми меня правильно. Я не ратую за лакировку. Но если уж брать мерзавца, то пусть это будет мерзавец большого калибра, внушительный, пусть он явится причиной глубокой драмы, пусть его поведение шокирует, возмущает, заинтриговывает. А твои мошенники какие-то все мизерные, серые, безликие. . . Смотришь на такого и спрашиваешь себя: мошенник это или не мошенник? К чему они тебе? Что ты хочешь этим сказать?

Вопрос явно не без адреса.

— Что я хочу сказать. . . Откуда я знаю. . . Наверно, то же, что когда-то говорил мой покойный друг,

Мы чаще всего грешим по мелочам. Это не означает, что в больших делах мы всегда молодцы, просто с большими делами мы редко сталкиваемся. Но в больших, нам кажется, мы не подведем, в больших мы будем на высоте. А пока их нет, грешим по мелочам. Каждодневно и ежечасно. Мелкий эгоизм, мелкая небрежность, леность, злословие, подхалимаж — все по мелочам, будто без этого мы не сможем спокойно спать.

— Ну ладно! И что же? А ежели взглянуть со стороны на нас с тобой — неужто мы такие безупречные? Мы тоже не плюем на деньги, не сторонимся женщин, не прочь опрокинуть рюмашку. . . Да и твой покойный приятель, хотя о покойниках плохо не говорят, он что, был ангел?

— Нет, не ангел. Совестливый был человек, но не ангел.

— Вот видишь! Зачем же в таком случае мы должны доказывать всем известную истину, что мы не ангелы?

— Верно, совсем ни к чему, — примирительно киваю я.

Он окидывает меня беглым взглядом, желая удостовериться, что я его не разыгрываю. Странно, люди почему-то склонны считать, что я их разыгрываю.

— Конечно, дело вкуса, но лично я не хотел бы уподобиться пенсионеру, который, выйдя на пенсию, больше не может губить дело, больше не годится в любовники, поскольку ему уже перевалило за шестьдесят, вынужден отказываться от выпивки из-за того, что у него печень, и подряжается читать при домоуправлении лекции о трудолюбии, о нравственности, о вреде алкоголя. Людям не по душе такие пенсионеры, Антон.

— Это так звучит моя книга?

— А, ты не поучаешь. . . Только даешь материал для поучений.

— Понял. Я изорву ее, эту рукопись.

Редактор снова окидывает меня подозрительным взглядом.

— Ты лучше переработай ее.

— Не вижу, каким образом.

— Ты без труда увидишь, стоит только убрать с глаз увеличительные стекла. Какая нужда копаться

в этих досадных мелочах? К чему эти мелочные придирки к людям? Грешим по мелочам. . . Грешили и будем грешить — факт! И все же движемся вперед. Может, не шагаем семимильными шагами, но как-то движемся!

Почувствовав, что начинает повторяться, он переходит к конкретным рекомендациям: это оставить, это убрать, невесть что добавить. Его рекомендации мне ни к чему, как и ему самому, его жалованье от них не зависит, однако Искров — редактор добросовестный и свою миссию доводит до полного завершения, до ободряющего: «Получится, не отчаивайся».

— Посмотрю, что можно будет сделать.

С этими словами я покидаю редакцию. По привычке направляюсь домой, но вовремя спохватываюсь — ведь там теперь живет Жорж. Сменив направление, я с брезгливостью думаю о другой квартире, пропахшей плесенью, виноват — розовым маслом. Надо будет заняться уборкой. Возможно, там и тараканы есть, хотя, если верить Жоржу, они больше на кухне обретаются. А, да не все ли равно!

Я начинаю думать о другом — о том, что останется, если отжать воду из обширного комментария редактора. А этот пример с пенсионером из домоуправления действительно подлый удар. Кто бы мог допустить, что моя книга звучит так тупо?

Убери, говорит, увеличительные стекла, что у тебя за страсть придирчиво всматриваться в окружающих.

Как-то раз тетка, сестра моей матери, пригласила нас к себе на обед. Эти визиты были установившейся традицией, они повторялись еженедельно, точнее, каждое воскресенье. Тетушка не могла простить матери, что та, будучи моложе, вышла замуж, а она осталась в девках. И этими воскресными обедами тетушка старалась доказать, что хоть она и старая дева, но хозяйка из нее куда лучше моей матери. Это ей удавалось, так как мать была хозяйка никудышная. Все ее уменье готовить сводилось к тому, что она клала как можно больше приправ и этим притупляла скверный вкус еды. Чтобы нанести матери ощутимый удар, тетушке, к примеру, достаточно было добросовестно сварить

фасоль, но она была слишком горда, чтобы довольствоваться фасолью, и всякий раз предлагала нам меню, в которых, кроме супа и жаркого, фигурировали пирожки, всевозможные соусы и салаты. И в одном из таких салатов — я помню, как на свежей зелени бисером поблескивали капельки уксуса и оливкового масла, — мой еще детский, но, вероятно, уже порочный глаз вдруг обнаружил нечто ненормальное.

— Червяк! — произнес я хмуро, указывая на фарфоровое блюдо.

— Что такое? Какой еще червяк? — встрепенулась тетушка.

— Вот он! — настаивал я и чуть было не воткнул палец в салат.

Тетушка приподняла вилкой зеленый листок и сконфуженно пробормотала:

— В самом деле червячок. . . Вот напасть, как это я не заметила. . . А ведь полоскала каждый листок!

— Зачем же ты, сынок, осрамил тетю? — упрекнула меня мать, когда мы вернулись домой.

— А что? Мне надо было его съесть, того червяка?

— Ты просто мог промолчать.

— А вдруг ты бы его съела?

И так как она не нашлась что сказать, вмешался отец:

— Ты бы мог, не поднимая шума, незаметно убрать его.

— Ты же сам говоришь, что мы не должны скрывать правду.

— Тоже мне правда — нашел чем удивить мир. . . — заметил отец.

Глава вторая

Отрицать не приходится, таможенные полицейские — народ вежливый. Но от их ледяной учтивости мурашки по коже бегают. Листая и рассматривая твой паспорт, он может вежливо распорядиться:

— Поворачивайте обратно и паркуйтесь вон там, справа!

Вроде бы ничего особенного — повернуть обратно и съехать с проезжей части. На деле же это означает, что либо тебя заберут, либо вернут обратно.

Впрочем, мне бояться нечего. Я еду не на заработки, а в служебную командировку. И все-таки, когда я вижу, что как венгерский пограничник, так и его австрийский коллега уже позади, у меня становится легче на душе. И я решаю подкатить к первому попавшемуся бару, чтобы выпить чашечку кофе.

Сказано — сделано. Я уже готов ехать дальше, как где-то раздается вой полицейской сирены. К пограничному шлагбауму с бешеной скоростью несется «порше» черного цвета с ослепительно горящими фарами. Но, оказывается, дорога перекрыта, и машина останавливается в двух шагах от меня. Из «порше» выскакивают трое и шарахаются в темноту. Один из них на бегу швыряет в кустарник какой-то темный предмет.

Как уже было сказано, я готов ехать дальше и, вероятно, тронулся бы без промедления, если бы меня не заинтересовала эта история с темным предметом. Зачем его бросили? И что он собой представляет? Законные вопросы, если учитывать, что человеческий ум всегда устремлен к вечному пути познания.

Дождавшись, пока все вокруг утихнет, я покидаю террасу бара. На беду, у моего ботинка развязался шнурок, так что, хочешь не хочешь, придется нагнуться, чтобы завязать его. Тем временем я извлекаю из кустов загадочный предмет и переношу его в машину. В машине верней. Там не дует.

И вот я снова в пути. Мчусь по белой ленте шоссе, рассекающей надвое чернильно-черную равнину, строго соблюдаю предписания дорожных знаков, зорко всматриваюсь вперед — словом, делаю все, что в моих силах, чтобы ничто не отвлекало моего внимания, однако мой любознательный ум никак не желает забыть о портфеле. Характер предмета уже установлен: это портфель. А раз портфель, почему бы мне не открыть его. Похоже, это единственный способ сосредоточиться наконец на правилах дорожного движения. Съехав на безлюдную стоянку, я проверяю содержимое портфеля. Оно вполне удовлетворяет мои смутные надеж-

ды и рассеивает опасения. Деньги. Доллары. По десять тысяч в пачке. Много пачек, целый портфель.

Поздно ночью я приезжаю в Вену. Освободившаяся от наплыва транспорта и пешеходов, Мария-Хильферштрассе немеет, ярко освещенная и безлюдная, как больничный коридор на рассвете. Проезжаю мимо нескольких гостиниц средней руки, выкатываю на Ринг, у Оперы делаю поворот, и останавливаюсь перед отелем «Захер». Не потому, что я такой суетный или куча банкнот вскружила мне голову, просто так надо.

Наутро, после короткого визита в банк, я отправляюсь в швейцарское посольство. Заполняю соответствующий формуляр и подхожу к окошку консульской службы. Как и следовало ожидать, болгарский паспорт несколько тормозит процедуру.

— По каким делам вы едете в Швейцарию? — спрашивает человек за окошком, несмотря на то что ответ на этот вопрос дан в формуляре.

— Туризм.

— Кто будет вас содержать?

— Я путешествую на собственные средства.

— В какой сумме они выражаются?

Вместо того чтоб ответить, я подаю совершенно новую чековую книжку. Чиновник бросает беглый взгляд на сумму вклада. Вклад составляет лишь ничтожную часть моей находки, однако его сумма вполне достаточна, чтобы внушить уважение.

— Ваш здешний адрес?

— Отель «Захер».

Это тоже внушает уважение. Вместо ожидаемого «Мы вам сообщим письменно» чиновник раскрывает мой паспорт, размашисто ставит штамп и принимается заполнять визу.

И вот я в Швейцарии. Точнее — в Берне. Не потому, что только в Берне есть банки, — для меня этот город важен по другим причинам. Перво-наперво я перебрасываю все содержимое портфеля в банк. Вторая моя забота потрудней и отнимает у меня целый месяц. Она не только трудная, но и связана с определенными расходами. В конце концов и с нею покончено. Несколько крупных купюр, переданных в подходящий момент от-

зывчивым служащим, обеспечивают мне швейцарский паспорт.

Наконец я погружаюсь в альпийский пейзаж. Погружаюсь глубоко и, вероятно, навсегда.

Предполагается, что, совершая побег, человек в состоянии ответить если не на вопрос «куда?», то хотя бы на вопрос «почему?» А вот я не в состоянии. Скорее всего потому, что не готовился к побегу и это произошло совершенно случайно, оттого, что мне достался этот портфель. Или все дело в том, что я лишь весьма смутно понимаю причину побега, настолько смутно, что не способен ее сформулировать.

Конечно, иные досужие умы, скорее всего, придут к заключению, что я бежал от социализма. Так принято думать — привычная схема. Только схемы вызывают во мне отвращение. В отличие от социализма. Социализм мне безразличен. Нет, не потому, что я в него не верю. Я готов обеими руками голосовать за его социальное и нравственное превосходство. И даже убежден в том, что восторжествует его полная победа. Однако это не рождает во мне порыва кричать «ура» — он меня не волнует, вот и все. И если быть откровенным до конца, надо признаться, что меня вообще ничто не волнует. Это, вероятно, самый простой, хотя и не полный ответ на вопрос. Пускаюсь в бегство, потому что меня ничто не волнует.

Может, хотя бы перемена климата? Плевал я на климат. Или жизненный уровень прельстил? Плевал я на жизненный уровень. До сих пор вот хожу в софийском костюме. Это вовсе не означает, что я не расстанусь с ним до гроба, но такие вещи меня нисколько не волнуют.

Ничто меня не волнует, и все же где-то в глубине сознания я смутно ощущаю первопричину случившегося, которую бессилен выразить словами. Я готов провалиться сквозь землю, потонуть, спалить за собой все мосты. И мне не остается ничего другого, как идти вперед, пусть без цели. Довольно преследовать цели. Не худо и просто так брести себе куда глаза глядят. Колесить по незнакомому городу в полной уверенности, что никто тобой не интересуется, и никто не

интересует тебя, — в этом, может, мало радости, но можно найти какой-то роздых, самозабвение. Ты забыт, ты забыт — и точка. Все равно что тебя нет. Все равно что ты канул в Лету, предварительно не заплатив за это жестокой болью. Спокойное и даже приятное самоубийство в холодных объятиях Альп. Или, если угодно, жизнь под наркозом.

Абсурдно, да? Абсурдно, когда перед операцией тебе дают наркоз, а когда тебя вводят в жизнь -- не дают ничего.

— Ты упрямый осел, Тони, — твердила моя жена. — Упрямый и вечно кислый, как зеленый кизил.

— Другие этого не говорят.

— Другие лучше воспитаны.

Может, я и в самом деле кислый, но как мне быть другим, если с самого утра мне все видится в черном свете. Людей локтями я не расталкиваю, как Жорж, в магазин кулинарии, куда меня посылает жена, иду вполне покорно, но день кажется мне серым, а улицы полны некрасивых женщин. (На мужчин я вообще не обращаю внимания, им не обязательно быть красивыми). С молодых лет у меня как-то само собой вошло в привычку глядеть на женщин, и порой мне начинало казаться, что человечество — это бесчисленные женщины плюс один-единственный мужчина, то есть я. Только теперь эти женщины, все до одной, кажутся мне безобразными, и мысль, что я единственный мужчина среди них, меня совсем не радует.

Мой бывший одноклассник, врач, утверждает, что причина моего состояния кроется в желчном пузыре. Этот доктор различает людей не по характеру, а по заболеваниям: язвенники и печеночники, гипертоники и гипотоники — таковы, по его мнению, разновидности рода человеческого. Если верить этому человеку, то достаточно удалить мне желчный пузырь, чтобы мир в моих глазах стал таким же прекрасным, каким я видел его в свои двадцать лет.

Теперь мне почти сорок. И, может быть, в этом — более существенная причина моего мрачного настроения, чем желчный пузырь. Когда тебе стукнуло сорок и, оглянувшись назад, ты видишь, что ничего не до-

стиг, а посмотрев вперед, убеждаешься, что и там ничего тебе не светит, едва ли у тебя появится желание прыгать от радости. Потому-то я и не прыгаю. А раз не прыгаю, люди считают, что я кислый.

Я не из тех, которые сами не знают, чего хотят. Я готов довольствоваться черной от сажи комнатой, где печальные, давно не мытые окна создают ощущение, будто я угодил в казарму или в больницу.

Впрочем, после лихорадочных хлопот нашей уборщицы — той самой, что убирала и нашу прежнюю квартиру, моя комната обрела вполне приличный вид. Уборщицу мне прислала Бистра. Не знаю, как расценить этот жест. То ли это запоздалое проявление внимания, то ли обычная разведывательная операция: как я провожу время, какое у меня настроение, бывают ли у меня женщины, — Бистра жить не может без подобной информации и скорее откажется от визита к косметичке, чем пропустит какую-нибудь сплетню.

Как я провожу время? В горизонтальном положении. Вытягиваюсь на кровати и гляжу в потолок, который давно, очень давно, возможно, был белым. Это всего лишь гипотеза, ничего больше. Порою в окно, хотя и несколько приглушенный, врывается магнитофонный ор того ублюдка, что живет напротив, — он кичится децибелами, как в былое время люди кичились бицепсами. Его ор меня не смущает. Не знаю, смутил бы он меня, будь он даже раз в пять сильнее. Пожалуй, мне нипочем и трубный глас в день Страшного суда.

А комната, оказывается, не так уж плоха. Окна тоже. Это, правое, надежно прикрывает слепая стена, темная от копоти. А другое, что напротив, совсем заслонила густая листва ореха. Я словно запечатан здесь. Изолирован — следовательно, защищен. Идеальная обстановка для творческого труда. Так что я вытягиваюсь на кровати и всматриваюсь в потолок, который, возможно. . . Но это всего лишь гипотеза. Когда находишься в этой сумрачной комнате, волей-неволей становишься человечней. Начинаешь входить в положение того типа, который прозябал здесь до тебя и, чтобы вырваться из этого морга, решился на отчаянный шаг — жениться на твоей жене.

Люди часто осуждают скуку. Против скуки написаны тысячи обвинительных актов. Но в чем она виновата, эта бесцветная, бесплотная и безмолвная дама, если иных людей начинает одолевать зуд и они не могут сидеть себе спокойно, зная свое место, не обучились искусству скучать.

Говорят, «дольче фар ниенте». Это наверняка придумал какой-то слюнтяй, для которого безделье сладостно, как конфета. Скука — не сладость и не безделье. Искусство скучать требует серьезного отношения и не признает сюсюканья. Первое, что в этом случае необходимо сделать, — это полностью выключить рубильник и отделить кабель, связующий тебя со всем и со всеми. Приятное и неприятное, желанное и нежеланное, радости и горести — все вдруг остается за пределами твоего «я». Ты остаешься наедине с самим собой, у тебя есть возможность целиком сосредоточить внимание на вещах, не имеющих абсолютно никакого значения. Исследовать географию пятен сырости в углу под потолком; наблюдать за движением мухи, что кружит у белого горного массива — куска брынзы — и внезапно устремляется к окну, чтобы с жужжанием биться и биться о стекло, не понимая, почему воздух, отделяющий ее от внешнего мира, стал таким плотным и непроницаемым; перебирать взглядом серо-голубые цветы на выцветших шторах — покуда не забудешь, с какого цветка начал и до какого дошел.

В царстве скуки все одинаково важно и все в одинаковой степени хранит многозначительную бессмысленность: старательное приготовление утреннего бутерброда с маслом и конфитюром, ничтожная процедура намыливания и бритья, заправка постели, чтоб можно было после этого снова вытянуться на кровати, уже заправленной. Связь настоящего с прошлым и будущим оборвана, существует лишь миг настоящего, сам по себе и сам для себя, в течение этого бесконечного мига лезвие бритвы косо скользит по твоей щеке, стаскивая книзу мыльную пену, не вызывая у тебя ненужных вопросов — таких, как, например, «почему?», «для чего?», «до каких же пор?. . ».

Никаких тебе вопросов и никаких наивных поисков

смысла. Искать смысл можно только там, где что-то происходит, где есть движение. А в царстве скуки ничто не движется, кроме бритвы. Время растягивается. . . Миг тянется так долго, что ты уже и не помнишь, когда он начался, и тебе наплевать, когда он кончится, он так плотно окутывает тебя пустотой, что ты и себя начинаешь воспринимать как пустоту — отрадное ощущение, освобождающее тебя от всяких мыслей и порывов, а уж тем более от нелепых мечтаний о гонораре или, допустим, о какой-нибудь «крошке».

Имя моей «крошки» — госпожа Скука, и я нисколько не намерен ругать ее, как поступают тысячи неблагодарных. На такое способны лишь нытики: они жаждут сильных ощущений, а вот выйти им навстречу у этих господ духу не хватает. Ну ежели тебе жизнь не в жизнь без сильных ощущений, то хвати топором по руке — вот и не придется скучать.

Лично я ничего не жажду и в особенности — сильных ощущений (только этого мне не хватало!), мы премило уживаемся с госпожой Скукой. Не могу сказать, что я ее люблю — на ее территории такие слова звучат смехотворно, — однако терплю ее безропотно. А много ли в наши дни найдется людей, способных безропотно терпеть подобную гостью, которая вроде бы случайно завернула к вам в дом, а потом позабыла, что пора уходить.

Конечно, это дремотное состояние, этот сон без сновидений в царстве пустоты может быть расценен и как явление болезненное. Но болезненное — с чей точки зрения? С точки зрения тех, что мнят себя здоровыми, а на самом деле больны.

Ничего не делать, твердят они, эти больные, — противоестественно. Допустим. А сами-то они что делают? Мы служим обществу, говорят одни, подтверждая это тем, что получают зарплату. Мы творим, заявляют другие, поскольку творчество оплачивается лучше, чем канцелярская работа. Мы печемся о своем духовном росте, говорят третьи, потому что ничем больше не могут похвалиться, и тычут вам в нос собственные добродетели. Вроде того пенсионера, про которого рассказывал Искров. Для них превыше всего мораль —

единственно потому, что они читают ее другим. Словом, с пеной у рта ратуют за самоусовершенствование, на путь которого человечество стало еще в начале нашего летоисчисления, точнее, сразу же после того как распяли Христа. Распяли — и давай самоусовершенствоваться.

И поскольку в Библии сказано: «Не укради!», они громогласно повторяли: «Не укради!» — и потихоньку крали. И поскольку там же говорится: «Не прелюбодействуй!», они грозили друг другу пальцем, после чего каждый шел спать с женой другого. И поскольку все та же толстая книга повелевает: «Не убий!», они вскоре запретили убийство как частную инициативу, чтобы возвести его в ранг государственной политики. И поскольку бедняга Иисус ходил в рубище и говорил, что скорее верблюд пройдет сквозь игольное ушко, нежели богач попадет в царство небесное, богачи решили, что им проще простого справиться с его учением, присвоив его, и объявили себя самыми благочестивыми христианами.

Да, те, что мнят себя здоровыми, утверждают, будто бездействие аморально. А разве в стремлении удовлетворять свои естественные потребности заключена какая-то мораль? Это и животные делают. Я — тоже, но не проявляю при этом излишней жадности и не ставлю себя в пример другим. И если сейчас моя деятельность сведена до минимума, это вовсе не признак моего нравственного падения — просто у меня теперь нет жены, которая раньше приставала с ножом к горлу: «Дай денег!», и мне совершенно безразлично, деликатесы или же кусок брынзы будут использованы в качестве горючего для моего мотора, польза от которого и для других, и для меня самого равна нулю.

Я не стремлюсь прослыть фанатиком или мизантропом. Я не говорю, что все пекутся только о собственном желудке и что разговоры об общем благе всегда лицемерны. Не утверждаю, что не существует людей, которые в своей жизни строго придерживаются нравственного кодекса. Однако среди своих знакомых я что-то не встречал таких. Одни более совестливы, другие — менее, но именно такой тип мне не попадался на

глаза. Если попадется, я тут же возьму свои слова обратно и объявлю себя больным, если это вообще кому-нибудь интересно.

Не следует думать, будто я только тем и занимаюсь, что лежу в постели. Чтобы в полной мере ощутить прелесть лежания, приходится иногда вставать. Так что я встаю и совершаю небольшую прогулку до коридора, чтобы посмотреть, как все выглядит с противоположной стороны. Выглядит розовым. Или — голубым. Розовым или голубым — по желанию. Дверь на террасу снабжена цветными стеклами, и цветов только два, а вид открывается на все ту же сумрачную и почти безлюдную улочку.

Маленькая улочка с высокими зданиями. Моя жена всегда мечтала о том, чтобы окна выходили на юг, но здесь всюду север, потому что дом стоит как в колодце между высокими зданиями, и трудно поверить, чтобы в какое-нибудь из его окон проникал луч солнца.

А зато орех изумительный. Мне даже начинает казаться, что я не заслуживаю такой роскоши. Эти ветки, ритмично поднимающиеся одна над другой, эта густая, прохладная зелень широких листьев и вся благородная невозмутимость этого растительного существа несовместимы с уродством искалеченных стен и вывешенным на балконах бельем.

Прогулки ограничиваются верхним этажом, который Жорж любезно объявил моей территорией. Нижний мир с его темной гостиной и с незнакомыми соседями меня не привлекает. Иной раз, преимущественно утром и вечером, оттуда доносятся глухие шумы — стук дверей, звон посуды, — и это все.

После того как я несколько дней пролежал на кровати меня осеняет героическая мысль — вынуть из чемоданов вещи и разместить их в моем новом жилище. При этом я вдруг обнаруживаю, что моя жена совершила благороднейший жест — сунула мне сахар и кофе. Теперь мне ничего не стоит спуститься вниз и сварить его.

Мужественно преодолев в темноте скользкую лестни-

цу, я пересекаю гостиную и оказываюсь на кухне, дверь которой, похоже, и днем и ночью распахнута. Помещение с плиточным полом довольно просторно, в окно открывается широкий вид на слепую стену соседнего здания. Обстановка и кухонная утварь не поражают изобилием: раковина и четыре тумбочки, на которых стоят электрические плитки. «Твоя напротив двери», — говорил Жорж.

Следую его предписанию, попутно наливаю в принесенную кастрюлю немного воды, ставлю ее на плитку и втыкаю штепсель. В кухне по-прежнему тихо, но что-то как бы давит мне на затылок, и сразу становится понятно, что я здесь не один. На пороге стоит пожилой мужчина и молча следит за моими действиями. Широкие плечи и грузное туловище делают его приземистым, хотя рост у него выше среднего: коротко подстриженные волосы напоминают щетину, лицо изборождено морщинами. Старость, как видно, не первый год борется с этим человеком, но без особого успеха, так как у него самого вид борца. Борца-тяжеловеса, уже, должно быть, вышедшего на пенсию и давно растерявшего свои лавры, но не мускулы. При виде его угрожающей позы можно подумать, что он пришел меня бить.

— Не работает, — произносит он низким, чуть хрипловатым голосом.

Положив руку на круг плитки, я убеждаюсь, что он совершенно холодный.

— Что не работает? Почему? Нет контакта?

— Плитка. И никогда не работала.

— Зачем тогда Жорж ее держал?

— Чтобы сохранить территорию.

Незнакомец, продолжая стоять на пороге, смотрит на меня как-то недоверчиво. Может, эта недоверчивость исходит от его глаз — они прищурены, словно их раздражает свет. Тонкие губы плотно сжаты, в их уголках как будто таится усмешка.

— Придется чинить, — бормочу я, выдергивая штепсель.

— Выбросьте ее. — И, чтобы я не истолковал его совет превратно, он добавляет: — Никто на вашу территорию не позарится, не бойтесь.

— Чего мне бояться? Сварить кофе можно и на спиртовке.

Он посматривает на меня все так же недоверчиво, словно хочет сказать: «Лжешь». Потом произносит неохотно:

— А, если речь о кофе, то можешь воспользоваться моей плиткой. Она там, дальше.

Я все надеюсь, что он уберется наконец, но он наблюдает за мной еще некоторое время, как будто проверяя, умею ли я пользоваться столь сложным приспособлением — электрической плиткой. Его могучая фигура едва вмещается в костюм неопределенного серо-лилового цвета — когда видишь на витрине вещи такой безобразной расцветки, невольно удивляешься, кто их станет носить, но, как ни странно, покупатели все же находятся. Наверно, костюм куплен готовый: пиджак слишком тесен, его широко распахнутые борта не сходятся на животе Борца, запеленутом в клетчатую рубашку, словно младенец. Для такой массивной фигуры живот не такой уж большой — какие бывают животы! — но самого Борца он, видно, раздражает — недаром он зверски стянут военным ремнем.

Только после того, как я поставил кастрюльку и включил штепсель, незнакомец подтягивает обеими руками брюки, которые и без того коротки, и делает вид, что уходит. Однако прежде чем уйти удостаивает меня еще одним советом:

— Надо убрать с двери табличку вашего приятеля и прикрепить свою. Без конца звонят. А мы не вахтеры, чтобы открывать и давать объяснения.

— Я упустил из виду. Извините.

— Нечего извиняться, дам здесь нету. И укажите под своей фамилией: «Два звонка», чтобы не беспокоили меня, когда идут к вам.

Сделав последнее указание, Борец снова энергично подтягивает брюки и исчезает во мраке гостиной.

Я пью кофе и думаю с горестным смирением, что от быта никуда не денешься. Затем нахожу визитную карточку — в свое время Бистра заказывала их, чтобы посылать родным и знакомым по случаю Нового года с пожеланием мира и счастья. Насчет мира и счастья —

это, конечно, было ее добавление, так же как идея поставить под моей фамилией слово «журналист», потому что «Антон Павлов, журналист» звучит солидно, а просто «Антон Павлов» совсем не звучит.

Нахожу, стало быть, карточку, надпись на которой звучит солидно, добавляю снизу от руки «Два звонка» и снова спускаюсь вниз.

В стороне от двери прибиты гвоздиками четыре визитные карточки. Самая верхняя предельно лаконична: «Борис Несторов». Если судить по скупой информации, полученной от Жоржа, это, должно быть, Борец. Следующая по порядку принадлежит самому Жоржу. Я ее снимаю, ржавым гвоздиком прикрепляю свою. Читаю дальше: «Владимир Илиев, инженер» и «Радко Димов» — без пояснения.

Не успев войти обратно в квартиру, я слышу позади себя:

— Антон!

Нет нужды оглядываться, чтобы узнать, что это — Янков, мой непосредственный начальник.

— Еле нашел тебя, хорошо, что ты оставил свой новый адрес. В сущности, я затем и ищу тебя, в связи с новым адресом.

— Да при чем тут адрес? — спрашиваю я, невольно подозревая, что и этот собирается предложить мне поменяться квартирами.

— Я тебе объясню. Здесь будем говорить?

— Что ж, заходи. Только у меня не совсем подходящая обстановка для приема гостей. . .

Я сопровождаю его наверх, к своим покоям, с необходимыми предостерегающими возгласами, и мы без особых злоключений достигаем комнаты с видом на орех. Янков же ореха не замечает. Это, пожалуй, единственное, чего он не замечает.

— Живешь ты не в люксе, но твоя квартира для меня настоящая находка. Хорошо, что ты оставил адрес.

Одет он с элегантной небрежностью. Я бы сказал, с голубой небрежностью, ибо смотрю на него сквозь стекло двери, ведущей на террасу. Куртка, штаны, рубашка — все голубое, притом интенсивного голубого цвета в отличие от его водянисто-голубых глаз.

Прежде в редакции только я один ходил в джинсах, что вызывало недовольные гримасы у Янкова, — это расценивалось как недостаточно уважительное отношение к рабочему месту. Благодаря этим гримасам мой ковбойский шик приобретал какой-то смысл. Стоит ли как-то особенно одеваться, если это никого не шокирует? Теперь, когда джинсы стали банальностью, Янков сам их напялил. У него все начинается с вопроса: а что скажут люди? И самый лучший способ добиться того, чтобы они ничего не говорили, — ничем особенно не выделяться.

— Задумал я, Антон, написать серию коротких интервью на тему: «Как я встретил Девятое сентября». . .

Мой шеф — настоящий чемпион по части оригинальных идей такого рода: обычно они его осеняют, когда он ворошит подшивки старых газет! «Ты не представляешь, сколько новых идей лежит в толще этих подшивок — они сами ждут, чтобы их кто-нибудь раскопал!. . »

— Все бы неплохо, — продолжает он. — Только какие могут быть интервью, когда весь народ в отпуске? Пока что я обнаружил только троих, но и те в основном мелкая сошка.

— Чем я-то могу помочь? Знаешь же, что меня на работе нет.

— Да не стану я нарушать твой отдых, не беспокойся. Но тут, в этом доме, у тебя есть двое соседей, которые мне во как нужны. Ты только поговори с ними.

— А почему сам не поговоришь?

— Ничего не получается. Послал им письма — ни ответа, ни привета. Самолично явился к ним, застал дома одного, а он взял да прогнал меня.

— Такой верзила?

— Именно. Несторов.

— Так он и меня прогонит.

— С какой стати, ты же тут живешь. Вы как-никак соседи, у вас отношения другие.

— Никаких.

— Ты все-таки попробуй, а? Для меня это очень важно. Один из них — бывший партизан, другой — политзаключенный. . . Не бог весть что, но пригодятся.

Этот Янков пристает как банный лист, так просто от него не отделаешься.

— Не в службу, а в дружбу, слышишь?

— Ладно, — бросил я в ответ. — Попробую. Ради дружбы.

Он мельком взглянул на меня — убедиться, что я не шучу. Потом его взгляд метнулся в сторону, словно ожегшись, и пробежал по стенам и потолку.

— Почему бы тебе не освежить стены? — спросил Янков.

— Сейчас я отдыхаю.

— Я думал, ты пишешь роман.

— Какой еще роман! Отдыхаю, только и всего.

Пишешь роман, говорит. В этом городе ничего не скроешь и нигде не скроешься. Даже если забьешься к чертям в такую вот нору, огороженную ореховыми деревьями и глухими обшарпанными стенами, все равно тебя обнаружит какой-нибудь нахал.

Роман, говорит, пишешь. Никакого романа. Напасть какая-то. И даже не это: напасть предполагает драматизм — что-то стряслось, тебя постигло несчастье и тому подобное. В моем случае никакого драматизма нет. Раз я сам удавился, какой может быть драматизм.

И что меня толкнуло взяться за этот роман! Жажда денег? О деньгах я не думал. А после того как Бистра перестала сидеть у меня на шее я о них и не вспоминаю. Может, хотел принести пользу? Такое мне и в голову не приходило. Скорее всего, мне хотелось за что-то ухватиться, чтобы удержаться на поверхности, чтобы показать себе и другим: даже если я попал в катастрофу, это не значит, что я погиб. Жертв нет.

И нет, и есть. Я не подозревал, что мне так дорога эта рукопись. Наверное, я все же хотел с ее помощью самоутвердиться, изображая гримасы. Кто-то там заявил: мыслю — следовательно, существую. А я хотел добавить: задыхаюсь — следовательно, живу. Ну и задыхайся, кто тебе мешает, только зачем об этом оповещать весь свет?

Опросите сто человек, чего они хотят от жизни, —

вы не получите сто разных ответов. Ответы будут схожи, как пальцы вашей руки. Опросите миллион человек — вариантов окажется столько же. Успех, слава, деньги, любовь, удовольствия — много слов и всего лишь три-четыре понятия, к которым какой-нибудь умник обязательно добавит нечто альтруистическое: быть полезным людям и т. д., и т. п.

Значит, к этому сводятся разновидности человеческих радостей. Тогда решительно по всем пунктам мне — мат! Какое имеет значение, что меня больше всего прельщает в жизни, если я кругом в проигрыше? Разумеется, последует совет: начинай новую игру. Да только не всякая игра приносит удовлетворение. Стоит понять, что все в мире, по словам мудреца, суета сует, как тобой овладевают самые гадостные чувства. Начинать новую игру? Начинайте. Но без меня.

Интересно, что, пока я строгал обычные литературные поделки, все было нормально: их принимали. Меня не осыпали похвалами, но платили. В интеллектуальном меню общества поделки необходимы, а мои хотя и были довольно серыми, но в пределах допустимого. Серое принимается публикой охотнее всего: может, оно не бог весть как интересно, зато не таит в себе никаких опасностей. Ибо тихая, безветренная погода всегда предпочтительней ветреной, которая неизвестно что сулит — ведро или бурю.

В общем, до некоторых пор все шло нормально, и мне в голову не приходило, что это «нормально» вечно продолжаться не может по той простой причине, что всему приходит конец. Так что к удару, который меня настиг, я не был подготовлен. И пока я пытался прийти в себя, меня ошеломил второй удар. После чего — для разнообразия — обрушился и третий.

Что ж, быть может, «удары» — слишком громкое слово. Возможно, это были лишь легкие щелчки. Если от них у меня немного закружилась голова, то, вероятно, это произошло из-за отсутствия иммунитета: слишком уж легко и спокойно катилось все до сих пор. Если бы жизнь оглоушивала меня чаще и в более раннем возрасте, то, возможно, я не обратил бы внимания на случившееся (достаточно отупеть на необходимой ста-

дни, и тогда уже перестаешь обращать внимание и на щелчки, и на удары).

Но я все же не склонен драматизировать события, хотя бы потому, что, если я чем-то по-настоящему взбешен, я готов рвать на себе волосы. В этот раз клочья волос не летели. И вообще ничего особенного не случилось — разве что вот пришлось выйти из игры. Совсем как во время автомобильных гонок на шоссейных дорогах в субботний день. Как врежешься в придорожное дерево — уцелеть, может, и уцелеешь. . . но интерес к дальнейшему участию в гонках у тебя пропадает. Пусть-ка другие порезвятся. Их дело. Для тебя гонки кончились.

Так что я отключился. Это со мной случается не впервой. Только на этот раз отключился я напрочь, и пошел на это без долгих размышлений и прикидок. Может, поэтому и принял самое верное решение.

— Я, пожалуй, засиделась? — говорит госпожа Скука.

— Не волнуйтесь, — отвечаю я. — Чувствуйте себя как дома.

Три удара, да. . . ничего удивительного, удары обычно следуют сериями, что не всегда является признаком успеха. Между первым и вторым, так же как между вторым и третьим моя голова не могла выдать ни одной мало-мальски стоящей мысли — просто времени не было, поскольку я не очень быстро соображаю. И лишь после третьего я вдруг вспомнил старого своего друга Петко, который обычно после третьей рюмки водки любит порассуждать:

— Сколько книг написано разными мудрецами на тему «Как добиться успеха в жизни». Но почему же никто из этих мудрых мудрецов не напишет книгу на другую тему — «Что делать, если мы не добились успеха?» У такого чтива, верно, нашлось бы побольше читателей. . .

— Эту тему они оставили для тебя.

— Выходит, так, если никому больше это не по плечу. А такое сочинение и в самом деле может написать только такой человек, как я. Достаточно опытный неудачник — полная голова идей.

— Так напиши!
— Напишу. Дай только ухватиться за путеводную нить.
Однако вместо того чтобы написать, он куда-то пропал. Интересная тема до сих пор остается неиспользованной: не иначе как оставлена мне в наследство.

Все началось, наверное, с той истории. Обычная редакционная история, а уж глупая — дальше некуда. В тот день я был дежурным по номеру, из номера выпала какая-то статья, надо было заменить ее другой. Главного не было на месте, вот я и позвонил по телефону заместителю; тот спросил, какие материалы у нас есть в загоне, я ему перечислил, а он мне в ответ: пусти это или пусти то — словом, пусти, что больше подходит по размеру, а раз «это» не подходит, я и дал «то».
Вот в чем заключалась та история или, во всяком случае, первая ее часть. Оказалось, что я дал в номере материал, который неделю назад был задержан Главным для тщательной проверки — из-за подобных непроверенных сигналов о непорядках бывают горы неприятностей. Так что на другой день, как только я пришел в редакцию, меня вызвали к шефу.
Он был взбешен. Когда он мечется, фыркает, ничего опасного нет, но если стоит перед тобой в таком вот оцепенении — значит, взбешен.
— Эту корреспонденцию — «Безответственность» — ты пустил?
Я подтвердил.
— Значит, безответственность вдвойне, — мрачно кивает он. — С одной стороны — корреспондента, а с другой — твоя.
Я молчал. В подобных случаях всегда лучше промолчать.
— Этот материал я лично задержал, — сказал Главный, свирепо подчеркнув слово «лично».
— Этого мне не сказали. Материал был набран.
— Внизу, в типографии, лежит целый вагон набранных материалов! И наших, и иностранных — кулинар-

ные рецепты, советы по опрыскиванию винограда... Ну что тебе стоило пустить какой-нибудь кулинарный рецепт. В кулинарных рецептах по крайней мере не бывает клеветы,

Я снова промолчал.

— Тебе неизвестно, что давать такой материал без моего разрешения ты не имеешь права?

— Вы были на пленуме...

— А ты что, новичок в редакции? Не знаешь, какие материалы пускать с легким сердцем, а какие требуют осторожного обращения? Почему ты ухватился именно за эту корреспонденцию?

Наступил подходящий момент объяснить, что я за него «ухватился» по указанию заместителя Главного. Но зачем это было делать? Получится, что я кляузничаю, чтобы оправдаться. Пусть ему об этом скажет сам заместитель.

— В самом деле, почему именно эта корреспонденция тебе приглянулась? — повторил шеф, едва сдерживая ярость. И, поскольку я продолжал молчать, добавил: — Сказать почему? Ты действовал по принципу: шила в мешке не утаишь. А тебя ведь так и тянет к скандалам, к сенсациям... А у нас печать не сенсационная! И для тех, кто падок на сенсацию, в ней нет места.

Наступила пауза. Ему надо было успокоиться. Врач, наверное, внушал ему: не курить, не нервничать. Курить он недавно бросил, а вот с нервами пока что не справляется.

— Ты свободен.

Уволят меня или обойдется? — размышлял я. На всякий случай решил заглянуть к заместителю. Его не оказалось на месте. Может, он и в самом деле был болен, как утверждала секретарша, а может, сказался больным на то время, покуда шеф не придет в себя?

Уволят меня или все постепенно уляжется? — размышлял я, все больше надеясь на второе. Ведь на меня ложилась лишь часть вины, самая малая. Больше был повинен в случившемся этот зануда Янков, допустивший, чтобы гранки сомнительной статьи лежали среди материалов, готовых к печати. Но больше всех виноват был заместитель Главного — я действовал

сообразно его указанию. Пусти «это», пусти «то»!.. Я и пустил «то». В соответствии с указанием и безо всякого умысла произвести сенсацию (хотя, честно говоря, всегда предпочитаю сенсацию банальности).

Уволить меня не уволили, но в тот же день был издан приказ о моем понижении. Правда, развенчание прошло тихо — ни барабанной дроби не было, ни погоны срывать не стали. Мне пришлось тут же освободить отдельный кабинет, который я занимал как заведующий отделом культуры, и перебраться в отдел писем, где когда-то начиналась моя карьера. Только тут я уже не заведовал отделом: заведующим был Янков.

Без лишних слов я сменил рабочее место. Заместитель продолжал болеть. Этот трус так и будет молчать, думал я. Ну и пусть молчит. Я тоже не собираюсь говорить. Главный защищает этих двоих, а они оберегают его. С какой стати я должен ловить их за руку? Учинили мерзость — значит, так тому и быть. Одной иллюзией у меня стало меньше — одной из тех иллюзий, которые мне так упорно внушал отец. Без иллюзий куда как проще.

Так кончилась эта история. Если не считать небольшого продолжения, которое ничего не изменило.

Несколько дней спустя меня снова вызвали к Главному. Теперь он не был взбешен, на его круглом лице даже проступала тень неловкости. Говоря между нами, это выражение неловкости никак ему не подходило. Римский император не может испытывать неловкость. А наш Главный (с его полными бритыми щеками, с мешками под глазами и с двойным подбородком) несколько напоминал толстых римских императоров, которые нам знакомы по учебникам истории.

— Как же это ты не сказал мне, что пустил материал с разрешения Калева?..

Не «с разрешения», а «по указанию», поправил я его про себя. А вслух тихо сказал:

— Я думал, он сам вам скажет.

— Хм-м... Сказать-то сказал, да вот только сегодня. Болел человек.

— Бывает, — так же тихо бросил я с ноткой участия.

— Ты же пришел объясняться! — заметил шеф, обо-

зленный моим бормотанием. Я понимающе кивнул. — Это, естественно, уменьшает твою вину, — несколько неохотно признал Главный, однако тут же добавил: — Но не снимает ее. Калев не мог по заголовкам, в телефонном разговоре решить, какой материал можно пускать, а какой нельзя.

«Безответственность», — напомнил я ему, но только в уме. До чего безобидный заголовок!

— Между прочим, в этом замешан и Янков из отдела писем, — снова заговорил шеф.

Спасибо, что вспомнил, поощрил я его, опять же в уме.

— Но оказывается, Янков тоже не виноват! Оказывается, он распорядился ссыпать гранки, но паренек, его помощник, забыл об этом. . .

К чему мне эти подробности? Говорит, лишь бы не молчать. Несет чепуху, чтобы как-то оттянуть разговор по существу. Но никуда не денешься, допустил ошибку — придется исправлять.

— Мне кажется, нет надобности говорить о моем отношении к тебе. С твоим покойным отцом мы сдружились еще в тюрьме. Мне было не легко тебя наказывать. Но случившегося — по крайней мере сейчас — не изменить. На твое место уже принят новый человек. Так что временно тебе придется поработать в отделе писем. Я думаю, это тебе не повредит. Ближе к читателям — ближе к земле. Как древний Антей.

— Вам лучше знать, — вставил я без восторга, но и без горечи.

— Знаю, знаю. Я все знаю. И то, что ты меня ругаешь в душе, тоже знаю. Но знал бы ты, как мне досталось за этот ваш проклятый материал!. .

Выходит, он оказался пострадавшим, а не я. По существу, я тоже не был пострадавшим. Я даже испытывал некоторую радость, точнее, злорадство, когда видел, каким он был жалким в своих попытках замазать этот случай. Замазать таким нехитрым способом, несправедливость — наглостью, и все в порядке. Друг моего отца. И мой, разумеется.

Я упивался злорадством, не отдавая себе отчета в том, что причина всего этого кроется во мне. Не потому,

что я выпустил материал, а потому, что, когда следовало говорить, я молчал.

Позднее, несколько отрезвев, я хоть и неохотно, но признал, что полученная оплеуха была не из легких. . . Оставим в стороне пост (которым ты вроде бы и не особенно дорожишь, но который дает определенную уверенность). Оставим в стороне и то соображение, что, будучи заведующим отдела культуры, ты пользовался известным авторитетом в учреждениях, где можно было сбывать собственную литературную продукцию. Но ведь существовала еще Бистра. Бистра, которая обязательно закатит скандал. . .

Она не стала устраивать скандала. Она даже соблаговолила сказать:

— Можно только удивляться, зачем ты вообще гробишь время в этой редакции. Деньги, которые тебе там платят, ты бы мог в три дня выстучать на машинке, если бы у тебя хватало терпения.

— Человек работает не только ради денег. . .

Эту рискованную реплику моя жена тут же истолковала по-своему:

— Верно! Как же нам теперь быть?. . Значит, теперь никаких больше приглашений на премьеры, кинопросмотры, выставки?. .

В голосе ее улавливалось уныние, но только поначалу — просто ей надо было распеться. Уже через минуту в ее арии зазвучали нотки глубокого трагизма:

— И все это обрушилось на мою голову! Я должна за все страдать!

Было бы невежливо подсказывать ей сейчас, что эти слова произносить гораздо более уместно мне, чем ей.

— Ты и без того никуда меня не водишь, — продолжала Бистра. — Сижу в четырех стенах, точно монахиня. А теперь вдобавок поставлен крест на всех этих жалких приглашениях. . .

Голос ее постепенно обретал силу. Подошло время испаряться. Надо сказать, что Бистра мало чем отличается от моего шефа. Взбеленится — надо просто выждать какое-то время, терпеливо выждать. Лучше, если выждать где-нибудь подальше от нее.

Однако Бистра вовремя догадалась, что я навострил лыжи.

— И ты собираешься оставить меня в таком состоянии? Именно сейчас?. .

— Ну хорошо, куда бы ты хотела пойти? В клуб? К Бебе?

Бистра выбрала свой обычный маршрут, который повторялся по меньшей мере раз в неделю. Мы побывали в клубе, затем в ночном ресторане отеля «София», а когда поздно ночью возвратились домой, с нами притащились еще три парочки плюс неизбежный Жорж, который по обыкновению был без дамы (дам он принимал через день у себя дома, а вечерами предпочитал одиночество, потому что только оно, по его словам, дает человеку полную свободу действий).

Большинство членов компании находилось в изрядном подпитии, а трезвые получили возможность наверстать упущенное у нас дома. Я вовсе не собирался напиваться — этот вид безволия мне противен, — но, когда случайно заметил, что Жорж под столом гладит бедро моей жены, а она так на него смотрит, словно отдается ему, я тоже стал наливаться. Оба они были пьяны сверх всякой меры и не отдавали себе отчета, что я могу это видеть. Наверное, вместо того чтоб наливаться, гораздо более естественно было дать Бистре пару пощечин, а Жоржа спустить с лестницы, однако я сдержался. Точно так же, как сдержался, когда случилась эта жалкая история в редакции. Может быть, с практической точки зрения и глупо сдерживаться в подобных ситуациях, но если принять во внимание иную точку зрения, то действовать еще более глупо. Ведь ничего не изменишь! Тебе будет казаться, что ты навел порядок, однако это ничего не изменит, ибо люди остаются такими, какими были. Если ты сейчас помешал им напакостить, значит, ты всего-навсего отложил это на завтра. У Бистры наступит нервный кризис, затем она разыграет сцену раскаяния, пустит слезу и, обронив что-нибудь вроде «я сама себя не помнила» или «я не соображала, что делаю!», помирится с тобою в постели. А двумя днями позже состоится новая встреча в постели, но уже не с тобой, а с бедным

Жоржем, которого ревнивый муж так грубо спустил с лестницы. . .

Вот почему я воздержался от каких-либо действий, точнее, мое действие сводилось к тому, что я сидел и пил. А месяц спустя я где-то столкнулся со знакомым — из тех, что всегда готовы вас проинформировать. Ты часом не развелся, спрашивает. Да пока нет, но дело идет к тому, что придется развестись, говорю в ответ, подозревая, что он мне скажет. Я и сам так думал, продолжает мой доброжелатель, второй раз вижу, как она выходит из дома Жоржа, я ведь живу с ним по соседству.

У меня и мысли не было о разводе. Я не прикидывался наивным простачком, напротив, старался дать Бистре понять, что я не наивный простачок и вовсе в ней не нуждаюсь. Допускаю, что последнее она давно уразумела — может быть, именно отсюда шла наклонная плоскость, которая вела к Жоржу, поскольку Бистра всегда и во всем была себе на уме.

Дело в том, что еще задолго до этого я мало-помалу перестал плясать под дудку жены, потому что у этой дудки был один-единственный мотив: «Дай денег». Она не просто тратила — она неистово транжирила деньги на туалеты и прочую дребедень, и первое время я действительно шел у нее на поводу, так как легко зарабатывал — писал радиопьески, рассказики, книжки для детей. Однако постепенно эта игра в «дай денежек» стала меня угнетать, и чем больше у меня в голове созревала идея романа, тем все более мизерной казалась мне моя весьма доходная ремесленническая продукция и тем слабее я жал на педали, покуда не превратился из дойной коровы в яловую. Это произошло не сразу, но произошло, сколько ни протестовала, сколько ни злилась Бистра.

— И на кой он тебе, этот роман? — спрашивала она вслух о том, о чем я не раз спрашивал себя в уме.—Какого черта берешься не за свое дело? Ты работяга, а не писатель. А что в этом плохого — быть работягой, деньгу зарабатывать?

Разумеется, она, как всегда, была права. И если бы я рискнул заметить ей: «Ничего плохого, но какой

смысл во всем этом» — уж тут бы она не стерпела: «Ты во всем ищешь смысл. Ты стакана воды не выпьешь, шага не сделаешь, если не видишь, в этом смысла».

Однако я молчал, молчала и она. Последнее время наше с нею молчание становилось все более частым и продолжительным. А после того памятного утра оно стало основой наших отношений.

В то утро я, кажется, еще спал. Счастливец, спишь как убитый, бывало, говорила жена. Но убитый вдруг проснулся, притом совсем не вовремя. Едва открыв глаза, я увидел у окна Бистру. Она вынула из моего пиджака бумажник и копалась в нем. Продолжая это занятие, она повернула голову и встретилась со мною взглядом. Мне захотелось сощуриться от стыда за нее, но получилось бы совсем глупо. Так что я неподвижным взглядом продолжал глядеть в окно, словно ничего не видел или то, что я видел, меня совершенно не касается.

Есть женщины, которые бесцеремонно шарят по карманам своих мужей, но Бистра никогда этим не занималась. Наши отношения сложились так, и существовала негласная договоренность, что никто из нас не будет копаться в вещах другого. А тут она просто-напросто стала красть.

Конечно, это был пустяк. Пустяк, которого оказалось достаточно, чтобы переполнилась чаша терпения и чтобы отключиться. При слишком ярком свете человек невольно щурит глаза — щурит глаза и отворачивается: пропади ты пропадом, с меня хватит. Позже, когда ко всему добавился еще и Жорж, это уже не имело существенного значения. Просто одной иллюзией стало меньше, а без иллюзий легче жить на свете.

Возможно, так быстро до развода бы не дошло, если бы я не ускорил развитие событий. Первое время я привычно делал вид, будто ничего не замечаю, решительно ничего, даже присутствия самого Жоржа, хотя он не был настолько незаметным, особенно если иметь в виду размах, с каким он опустошал мои запасы напитков.

— Ты вроде бы сердишься? — спросил он однажды с присущей ему наглостью.

— Как думаешь, может, на то есть причина?

— При желании ее нетрудно найти.

— А! Ты имеешь в виду это. . . — заметил я с безразличным видом. И повертел головой: — Нет, ошибаешься.

Он молча ждал, вероятно будучи не вполне уверенным, что я имею в виду. Надо было внести ясность.

— Я, конечно, не подарок, и невозможно было бы дожить до моих лет и не поскандалить из-за чего-нибудь. Но должен тебе признаться, я никогда не устраивал скандалов из-за женщины.

— Никогда-никогда?. .

Если в характере Жоржа что-то меня раздражало, так это его желание (совсем как у меня!) казаться наивным.

Я промолчал, и ему пришлось продолжать:

— А ведь когда-то из-за женщины люди вызывали друг друга на дуэль, Тони!

— Этикет, ничего не поделаешь. — Я пожал плечами. — Народные обычаи. Хороводные пляски, ручeница — так было когда-то. А теперь унизительно поднимать шум из-за женщины.

— Даже если это твоя жена?

— Жена — несколько иное дело. Это вроде того, что кто-то воспользовался твоей зубной щеткой. . . Но ведь не станешь поднимать бучу из-за какой-то щетки.

— Как же ты поступишь?

— Выброшу ее.

Жорж озадаченно молчал, и мне самому захотелось пояснить.

— Я ее уже выбросил, Жорж. Она полностью в твоем распоряжении. Тебя это не радует? — спросил я.

— Чему тут радоваться, если щетка уже не твоя.

Да, она уже не моя, если вообще когда-нибудь была моей, теперь она принадлежит Жоржу, он достиг своей цели. Хотя, если сказать откровенно, его целью была не щетка, а квартира.

Какой цинизм — сравнивать женщину с зубной щеткой, думал я. Но думал так гораздо позднее. А в то время мне хотелось сравнить ее не с зубной, а с половой щеткой. Может, даже с половой тряпкой.

Она и в самом деле напоминала когда-то замурзан-

ную тряпицу, но мне много позднее подумалось: а что я сделал, чтобы она не была такой? Если ничего не сумел сделать, то зачем же было расписываться с нею. А затем, что в ту пору я, как обычно, сказал себе: «А какой смысл бежать?» Она так прилипла ко мне, что единственным спасением было бы в самую темную ночь, под самым невинным предлогом (вроде у меня кончились сигареты) в одном пиджаке выскользнуть из дому, сесть в первый попавшийся поезд и укатить куда-нибудь на периферию. . . Да, но какой смысл?

Не валяй дурака, говорю я себе. Можешь валяться в постели, если ты до такой степени обленился, только не воображай себя мучеником. Все твои конфликты не стоят выеденного яйца, все твои драмы — сплошное кривлянье. Если ты лишился места, то только потому, что тебе не терпелось узнать, способен ли твой большой начальник совершить маленькую гадость. Если у тебя увели Бистру, то только потому, что ты ею нисколько не дорожил. Если твой роман не пошел в печать, то только потому, что ты не засучил рукава и не доработал его. Ты вполне мог выгрести из него всякий мусор, тебя не надо учить, как это делается, теперь твои знакомые поздравляли бы тебя при встрече — какой же ты молодец, целый роман накатал, — ты бы гулял с Бистрой под руку, водил бы ее на премьеры по приглашениям, которые тебе полагались как заведующему отделом. И если все же тут есть какая-то драма, то состоит она в том, что все эти мелочи есть не что иное, как псевдодрама. Тебе ни пост твой не нужен, ни жена, ни твой роман, все тебе безразлично, все безвкусно, от всего ты нос воротишь, и поташнивает тебя не потому, что ты Сократ, отведавший отравы, а потому что ты и сейчас, в который уже раз, налакался этого противного хлёбова, которым ты довольствуешься каждодневно. Верно, человека может поташнивать и от бурды, только бурда — отнюдь не отрава Сократа.

Я спускаюсь в Темное царство и стучусь в ближайшую дверь, ту, что слева от лестницы. Изнутри доносится приглушенное рычание, которое при наличии вооб-

ражения можно было бы истолковать как «войди».

Комната просторная, несколько больше моей, но не приветливей ее. Напротив двери два окна, глядящие во двор. Хозяин сидит между окнами на жестком кухонном стуле и, оторвав глаза от газеты, встречает меня то ли вопросительным, то ли недоверчивым взглядом.

Вопросительным или недоверчивым, установить не так просто, потому что, глядя на тебя, он щурит глаза, как при ярком свете.

— Я отниму у вас всего две минуты. . .

Он небрежно кивает на стул, такой же неудобный кухонный стул, стоящий у самой двери, чтобы в случае необходимости посетителя было легче выпроводить или чтобы помешать ему углубиться в комнату и ненароком проникнуть в домашние тайны хозяина. Не знаю, как насчет тайн, но обстановка у него крайне убогая. В правом углу стандартный платяной шкаф, рядом с ним такой же стандартный стол, используемый одновременно и как буфет, и как книжный шкаф: он завален посудой, книгами и всем чем угодно. В другой части комнаты — массивная двуспальная кровать, прикрытая солдатскими одеялами. И это все, если не считать портрета в старомодной раме под бронзу, висящего над кроватью. С большой фотографии тридцатых годов смотрит Сталин — волосы и усы у него еще темные.

Объясняя Несторову цель моего визита, я замечаю, что окна его комнаты, хотя и более светлые, еще непригляднее моих. Им не хватает ореха — дерево стоит гораздо левее.

— Интервью? Это не по моей части, — отвечает хозяин.

— Может быть, нечто вроде воспоминаний. . .

— Воспоминания — тоже.

Я всматриваюсь в унылую картину, открывающуюся из окна, и соображаю, с какого боку его поддеть, этого престарелого Борца. Неприбранный двор, лишенный растительности — если не считать бурьяна по углам, — и утрамбованный ногами местной детворы. А дальше громоздится тяжелый задний фасад жилого здания с балконами, завешанными бельем, и голыми кухонными окнами.

— Ведь все это принадлежит истории. . . — делаю я новую попытку.

— Историю делают одни, а пишут другие, — обрывает меня Несторов. — Мы ее делали, а вам писать. Каждому свое.

Хозяин приложил газету к животу (словно давая и животу возможность что-то прочесть!), глядя не на меня, а на дверь, явно намекая, что мне пора выметаться.

— Вроде бы пахнет горелым? — спрашиваю я задушевным тоном.

— Где-то пекут перец, — поясняет Борец, не отводя глаз от двери.

— Может, вы припомните хоть что-то, хоть какие-нибудь факты. . .

— Факты всем известны, — отвечает Несторов и, словно удивляясь моему нахальству, смотрит мне в лицо. — Факты известны, — повторяет хозяин, на этот раз более громко. — А что касается разговоров, то это не по моей части. Ступайте к Димову. Он краснобай. Профессия у него такая — адвокат.

— Но, насколько я знаю, Димов перед Девятым сидел в тюрьме.

— Если на то пошло, он и после Девятого сидел. Но раз теперь на свободе, то может и интервью давать.

И хозяин снова показывает мне взглядом, в каком именно месте находится дверь.

Не знаю, сколько раз Димов сидел в тюрьмах и за что, но держится он более по-людски, чем старый Борец. Едва я переступил порог, хозяин встал с кушетки, на которой лежал, и протянул мне руку.

— Вы — Павлов, верно? Я прочитал вашу карточку на двери. — Он поднес мне стул и добавил: — Когда-то я знал другого Павлова — Рашко Павлова, тоже журналиста. Но он был намного старше вас.

— Как же ему не быть старше? — отвечаю я. — Это мой отец.

Открытие, что я сын его старого знакомого, совершенно растрогало хозяина. Он тут же ныряет в проти-

воположный угол и начинает вынимать из старинного буфета какие-то лакомства. Наступившую тишину внезапно нарушает звон разбитого стекла. У моих ног грохается довольно большой камень.

— Это я виноват, — бормочет Димов, глядя на разбитое оконное стекло. — Забыл вам сказать, чтобы вы там не садились. Передвиньтесь вот сюда, пожалуйста.

Я пересаживаюсь. Оба окна, разбитое и целое, обращены к слепой стене, той самой, которая осеняет и мою комнату.

— Откуда он мог взяться, этот камень? — отваживаюсь я наконец спросить.

— Из рук террористов.

— Террористов?

— Да, — подтверждает хозяин. — Для меня это почти ежедневное явление. Вот, поглядите.

Он показывает на оконные стекла, приставленные к стене, — не меньше дюжины.

— Как видите, я изрядно запасся. Только тем и занимаюсь, что готовлю замазку да вставляю стекла.

Он приносит лакомства и расставляет их на низком столике у кушетки. Это клубничный конфитюр и две бутылки тоника, которые, боюсь, достаточно прогрелись.

— Пожалуйста, угощайтесь.

Пока я угощаюсь, хозяин знакомит меня с техникой терроризма. Оказывается, Димов имел неосторожность войти в конфликт с местными сорванцами, бесчинствующими во дворе.

— Просто вышел раз-другой во двор и сказал им, чтобы поменьше шумели и не употребляли бранных слов. И вот результат: они перешли к карательным акциям. Через день, через два выбивают у меня стекла.

Хотя Димову давно перевалило за шестьдесят, голос у него ясный, даже какой-то молодой. Он стоит возле кушетки, опершись спиной о стену, словно стесняется неподвижно сидеть на стуле. Высокий, худой, с сохранившимися седыми волосами, он чем-то похож на рыцаря печального образа с иллюстраций Доре. Может быть, не столько сухой фигурой, сколько этим

острым профилем и острым взглядом карих глаз, которые при его внешнем спокойствии порой приобретают лихорадочный блеск.

— Надо пожаловаться участковому, — советую я.

— Не могу, — мотает головой хозяин.

— Как то есть не можете?

— Очень просто, не могу. Когда-то сам имел дело с милицией. . . — Он замолкает на минуту, потом сообщает тихо, но резко: — Знаете, я во время культа был задержан. И продержали меня не день или два, а целый год.

— Ну что ж, то было другое время.

— Согласен. Но здоровья не вернешь: аллергия.

— И все же вас выпустили, — успокоительно бормочу я.

Мое невинное замечание производит такой эффект, что, если бы Димов сидел, он, вероятно, вскочил бы со стула. Теперь же он, наоборот, садится.

— Как это — «все же выпустили»? — Он повышает и без того звонкий голос. — Вам-то каково было бы, если бы вы отсидели год, а потом бы пришел я и сказал бы вам: «Вот здорово! Все-таки вас выпустили!»

— Наверно, я не точно выразился. Мне хотелось сказать: вас реабилитировали. . .

— Ну и что?! — продолжает злиться хозяин. — Сломают тебе хребет, а потом скажут: извини, мол, ошибка вышла. А я что — должен благодарить их за то, что они извинились? Я должен таять от умиления? Подумать только, какие милые люди: извинились передо мной!

— Так они сломали вам хребет?

— Не воспринимайте это буквально. Никто мне хребет не ломал. Но мне плюнули в душу, если это выражение вам больше нравится.

— Значит, вас не пытали? — продолжаю я все так же наивно.

— Конечно, нет, если иметь в виду физические пытки. . . Но, молодой человек, физические пытки — не самое страшное. Вот ежели тебя объявят предателем и станут принуждать, чтобы ты сам в это поверил. . . и так продолжается дни, недели, месяцы. . .

И пошло. Мой интерес к нему начисто испарился. Наивные расспросы дали свой результат, хотя, может быть, самый банальный. Все это нам уже знакомо по книгам.

У Димова только голос остается молодым. А во всем остальном он порядочно износился, хотя держится с достоинством. Речь свою подкрепляет жестами: то сожмет руки, то широко раскинет их, то вскинет правую, словно подает мне что-то, то обличительно «указует перстом». Его взгляд то скорбно угасает, то снова лихорадочно вспыхивает, а от тощей, завернутой в синий халат фигуры веет легким запахом мужского одеколона. Одеколона, не розового масла.

— И все же справедливость восторжествовала, — философски произношу я, улучив момент, чтобы приостановить монолог.

— Справедливость — не абстрактная величина, — сухо замечает хозяин. — Она в людях. Говорят, что справедливость — вещь упрямая, но для этого надо, чтобы люди, носители справедливости, были достаточно упорными. Мне пришлось выдерживать натиск целый год, день за днем, недели, месяцы. . .

И опять сначала.

Я терпеливо слушаю и, снова улучив момент, спрашиваю:

— А ведь не слишком приятно, что по соседству живет человек из МВД?

Димов пронзает меня острым взглядом. И этот думает, что я его разыгрываю?

— Бывший! — констатирует он. Затем добавляет: — В наше время лишь немногие пользуются привилегией выбирать себе соседей.

Надо было переходить к конкретной задаче. Рыцарь печального образа выслушивает меня, потом произносит с каким-то усталым видом:

— Я не тот человек, который вам нужен, Павлов!

— Почему же?

— А потому. Поищите себе образцового коммуниста.

— Кого, — например, Несторова?

— Да хотя бы Несторова. Ему и таким, как он, вовсе не трудно сойти за образцовых. Они образцовые

уже по своему покрою, который сами для себя придумали. Объявили себя эталоном и все свои черты включили в моральный кодекс как истинные добродетели.

— А вы что же — не соответствуете моральному кодексу?

— Во всяком случае — не ихнему. В том, что они считают достоинством, я могу усмотреть недостаток. Вы не допускаете? Они считают, что мы должны быть суровыми — то есть бессердечными, непоколебимыми — то есть не ведающими никаких сомнений, стойкими — не терпящими развития и прочее. А я не то и не другое, и не третье. . . Ну, а ежели так, то чем же я могу быть вам полезен?

Стыдливые увертки с его стороны предполагают соответствующее ухаживание — с моей. Так что мне приходится ухаживать до тех пор, пока не удается выудить робкое согласие.

Как это часто бывает, и не только у меня, отпуск близится к концу, а я вдруг соображаю, что еще не воспользовался им. Даже из дому не выходил, если не принимать в расчет короткие вылазки в булочную и в бакалею в те дни, когда приходит уборщица, чтобы мне досаждать.

Нельзя сказать, что меня перестал интересовать спорт, но занимаюсь я в основном туризмом: совершаю свои обычные походы от стены до стены и обратно. От стены до стены ровно двенадцать шагов — комната у меня достаточно большая, — а поход при желании может длиться часами.

Это зеркало, закрепленное на темной от копоти стене, — какой-то глухой полумрак или окно в потусторонний мир, серый, смутный, куда случается иногда заглянуть во сне. Совершенно безлюдный мир. Лишь время от времени, бессмысленно меряя комнату шагами, я замечаю, что там появляется какой-то высокий мужчина, поразительно знакомый и довольно-таки неприятный, и в голову закрадывается подозрение, что это я. Кто он, не столь важно, но в данный момент компаньон мне не нужен, так что я поворачиваюсь к нему спиной и направляюсь к противоположной стене комнаты.

Кислота времени разъела амальгаму, она, кажется, уже начала разъедать и меня самого, она проникает в меня все глубже, готовая и стереть навсегда. Время разъедает образы, поглощает образы, как поглощает все на свете.

Время, эта черная дыра.

Вначале мне приходила мысль поехать куда-нибудь — не на морской или горный курорт, боже упаси, а просто куда глаза глядят. Мало ли, к примеру, опустевших сел — пожить в заброшенном дворе, поваляться в зарослях бурьяна. Но потом я решил, что если уж валяться, то лучшего места, чем моя постель, не найти, а если иметь в виду природу, то может ли быть природа роскошнее этого ореха, который почти влезает ко мне в комнату.

Однако сейчас, в конце отпуска, явилась вдруг тоска, и в этот предвечерний час меня осеняет мысль пройтись до бульвара и выпить рюмку сорокаградусной — просто чтоб не забыть, какая она на вкус.

Надеваю белую рубашку, новый серый костюм и даже завязываю темно-красный галстук, хотя августовская температура совсем не для галстуков. Если каждый болван вроде Янкова начинает щеголять в джинсах, то это не может не отбить охоту одеваться предельно просто.

На террасе перед «Софией» один-два свободных столика, но я прохожу мимо, потому что меня не восхищают эти светские цыпочки, рассевшиеся здесь, — смотрите, вот мы какие, мы днюем и ночуем в «Софии»! .. Так что птичник я миную и останавливаюсь на углу перед заведением, которое уже столько раз меняло свою вывеску, что даже его директор едва ли скажет, как оно называется. Чистый разум внушает мне, что в такую погоду лучше всего сесть на воздухе, но из уважения к Канту я пробую подвергнуть чистый разум некоторому сомнению — вхожу внутрь и усаживаюсь ближе к витрине.

Сегодня я, видно, преисполнен благоговейного чувства — заказываю сто граммов водки из уважения к другому мыслителю, моему другу Петко. Внешне Петко казался королем безразличия, и в тех редких слу-

чаях, когда он нарушал этот обет, чтобы приобщиться к алкоголю, пил только водку, что тоже было своеобразным выражением безразличия. Когда я спросил однажды, чем объясняется его приверженность к водке, он поднял бокал двумя пальцами, словно производил эксперимент, и объяснил:

— Никаких отличительных примет. У нее нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха.

— Ну, насчет вкуса и запаха ты не прав.

— Когда пьешь спирт, по крайней мере знаешь, что это спирт. Принимаешь обезболивающее, а не вкушаешь деликатес.

Он был довольно-таки загадочный человек, а потому, естественно, и исчезновение его во многом загадочно. Петко исчез, он как сквозь землю провалился. Нетрудно предположить, что хулиганье избило его до смерти где-нибудь в темном закутке, но, возможно, он остался жив. Правда, будь он жив, мы бы уже что-нибудь услышали о нем.

У меня вошло в привычку выпивать свои сто граммов в четыре приема. Четыре глотка с тремя равными паузами — ожидание официантки не в счет, — это дает тебе достаточно времени поглазеть на улицу, восстановить контакт с миром.

Мир летних отпусков и каникул. На площади, вокруг памятника, снуют группки туристов, они то рассыпаются, чтобы оглядеть историческую достопримечательность, то сбиваются в кучку, чтобы их увековечил аппарат фотографа. Что касается прохожих, появляющихся перед витриной, то их можно разделить в основном на две категории: молодежь — эти еле тащатся, поскольку отправились на прогулку, — и серьезные горожане, которые вечно спешат, так как им надо сделать последние покупки, попасть на последний автобус и вернуться в свой микрорайон — в первую или вторую «Молодость».

Скучный мир. Наблюдая его рассеянно, я с некоторой тоской вспоминаю то время, когда лет мне было в два раза меньше, а улица кишмя кишела женщинами. Несметное количество женщин, и среди них один-единственный мужчина — то есть я. Порой все женщины

до одной были страхолюдки, а в другой раз голова кружилась от их красоты — зависело от того, с какой ноги я вставал, — с левой или с правой.

Мир действительно скучен, но терпим, если глядеть на него сквозь невидимую преграду витрины. Приверженцы человеческого общения воспримут подобное рассуждение с гневом. Да, общение, что за бесценный дар. Толкаемся на улице, обмениваемся грубостями в очередях и едва терпим друг друга на рабочих местах. Ну, разумеется, человек бывает и в семейном кругу, и в гости ходит. Хорошо, если у тебя есть семейный круг и если сплетни тебе по вкусу.

Я рассчитываюсь, пропускаю последний глоток, и этим кончается скромная панихида о пропавшем друге. О моем единственном друге. Затем я выхожу на площадь. Эта необдуманная поспешность сталкивает меня с Бебой.

— А, Тони! — восклицает она. — Ты что, с того света возвращаешься?

Восклицает без особых эмоций. Беба не из тех, что любят посентиментальничать, — она сторонница деловых связей.

В ответ на глупый вопрос я вполне могу ляпнуть такую же глупость.

— Говорят, ты стал настоящим отшельником? — продолжает она, краешком глаза наблюдая за тем, какое впечатление производит на окружающих ее летний костюм, щедро усыпанный цикламенами на зеленом фоне.

— Отшельники не ходят по питейным заведениям.

— Да, но ты ходишь один.

— А что делать, раз не с кем пойти, — роняю я, не давая себе отчета в том, какой опасный смысл таит эта фраза.

А может быть, весьма смутно я все же даю себе отчет и так же смутно испытываю какое-то легкое влечение к Бебе, к ее недурно изваянной и недурно подчеркнутой фигуре.

— Ты, видать, совсем не обращаешь внимания на мои угрозы? — произносит Беба, глядя на меня в упор.

— Что за угрозы?

— Рассеянным прикидываешься?

— Без приглашения я никуда не хожу, — поясняю я очень скромно. — И потом твой таинственный приятель. . .

— Его больше нет.

— Значит, есть другой.

— Никого, если не считать одного идиота, который преследует меня на расстоянии. Глупый пацан.

— Я бы мог наведаться к тебе домой, посмотреть, как ты там живешь. Сегодня или завтра. . .

— Сегодня или завтра не получится, — вертит головой Беба. — Как и в ближайшие десять дней. Уезжаю на море. Не ради моря. На Солнечном берегу, похоже, можно будет вдоволь покартежничать. Хочешь, поедем со мной.

— Никак не могу. Отпуск кончается.

— Значит, после моря. Обычно в это время ты можешь найти меня здесь, в «Софии», если заглянешь.

Я иду дальше со смешанным чувством, какое бывает, когда с одной стороны, получаешь кукиш с маслом, а с другой — говоришь себе: тем лучше. Конечно, тем лучше. Вот только на душе слишком тоскливо. Но где гарантия, что после визита к Бебе не будет тоскливо вдвойне?

Ты, говорит, стал отшельником. Если не стал, то пора бы уже стать, размышляю я, неторопливо двигаясь по улице царя Шишмана. Но разве с тобой случилось что-нибудь особенное? В том-то и дело, что ничего особенного не случилось. Земля не разверзлась у тебя под ногами, ты не провалился в тартарары, лавина тебя не унесла. Если бы ты тонул, тогда надо было бы закричать: помогите, тону! Но ведь ты не тонешь, ты просто плывешь по течению. Ничего серьезного. Все это похоже на заурядный грипп, из-за которого и врача не стоит беспокоить.

Затяжной, совершенно безобидный грипп, после которого отдаешь концы.

Глава третья

Переезд через границу, даже легальный, всегда неприятен. Когда пристально изучают твой паспорт, бросают на тебя подозрительный взгляд, начинает казаться, что ты везде и всегда находишься под наблюдением. Я поторапливаю старый «москвич», у моих ног с боку на бок перекатывается моя находка — портфель с деньгами, с целой кучей денег; пачек просто не перечесть. В какой-то мере это символ свободы. Верное средство забиться к чертям в какую-нибудь богом забытую дыру, где не надо ходить на службу и не досаждают знакомые, где не чувствуешь себя приколоченным к одному и тому же месту гвоздем повседневности.

Добыв швейцарский паспорт, я не спешу найти себе постоянное жилье. Живу в отелях — где сколько захочется. Чуть только начинает одолевать скука, снимаюсь с места. Берн, Лозанна, Монтрё, затем меня ждут Базель, Женева, Лугано, Локарно и масса других городов; а надоедят города — можно фуникулером подняться повыше, побывать на горных курортах.

Пока что города мне не надоели — может быть потому, что я не особенно к ним присматриваюсь. Исторические достопримечательности, всяческая древность и музеи не занимают меня. Брожу по улицам, иду куда глаза глядят, находя в этом тихое наслаждение. Бесцельно бродить по незнакомому городу, будучи абсолютно уверенным в том, что ни тебя никто не интересует, ни ты никого, — что может быть приятнее?

Глазею по сторонам. И не потому, что меня разбирает любопытство — просто время так течет более незаметно. Слоняюсь безо всякой цели. Хватит преследовать цели, довольно проектов. Даже самый идеальный проект, если такой вообще существует, имеет свою отрицательную сторону: он предполагает усилия, необходимые для того, чтобы превратить его в реальность. А мне осточертело прилагать усилия. В свое время, когда мне загорелось заняться гимнастикой, я узнал, что мускулы развиваются только в том случае, если преодолеваешь сопротивление. Не просто машешь руками под звуки радио — поднимаешь гири, растяги-

ваешь пружины, часами пинаешь твердый как камень мешок. Словом, занятия гимнастикой требовали немалых усилий, потому я их и бросил. На фига мне преодолевать сопротивление, если можно избежать усталости? И какой смысл поднимать гири? Что за надобность их поднимать? Чем они тебе мешают? Пускай себе лежат спокойно.

Пока ты мал, тебя заставляют ходить в школу. Когда становишься взрослым, тебя заставляют ходить на работу. Почему? А потому, что все так делают, так принято. Иначе наступит атрофия или там летаргия. Ну и пусть наступает. С каких пор я ее жду. Чем плохо погрузиться в летаргию? Все равно что тебя нет. Все равно что ты исчез с лица земли, не заплатив за это болью. В некотором роде тихое самоубийство в холодных объятиях Альп. А-ля-ля-ри-пи!. .

Август закончился, отпуск — тоже. Я снова вышел на работу, что не мешало мне по утрам отлеживаться в постели — рабочий день в редакции начинается после обеда.

Особенно сладко спится, когда надо вставать. А поскольку теперь не было необходимости вставать, то, проснувшись около шести, я обращал взгляд к ореху за окном, чтобы убедиться, что он на месте, слегка поднимал руку, как бы говоря: «Привет, дружище», и рассеянно вслушивался в приглушенные домашние шумы.

Внизу, на кухне, уже раздавались стуки; стучал, конечно, Несторов, он встает раньше всех. Стуки будут продолжаться, пока он не приготовит завтрак и не отнесет его к себе в комнату, а еще через полчаса хлопнет наружная дверь — значит, Несторов отправился в парк. Потом приходит очередь Илиева, который долго и шумно плещется в ванной, а в кухне особенно не задерживается: его завтрак, так же как и мой, состоит из чашки кофе и ломтика хлеба с сыром или с маслом.

Димов подает признаки жизни лишь к восьми. Не потому, что спит дольше Несторова. Он страдает бессонницей, словно и в постели продолжает диспут со своими противниками — с теми, что наплевали ему в душу, и с теми, что составили моральный кодекс по

собственной выкройке. Итак, Димов начинает громыхать в кухне посудой лишь после восьми, после того как захлопнется наружная дверь за Илиевым. Его хозяйничанье не столько шумно, сколько продолжительно. Кроме традиционного чая из мяты, Рыцарь готовит себе отвары из разных трав (скорее всего, от нервов), и густой запах этих снадобий распространяется в гостиной, беспрепятственно поднимается по лестнице и, проникая ко мне в комнату, напоминает, что и мне пора вставать.

К девяти часам, когда Димов уходит за газетой, которую он обычно читает в соседнем сквере, я также принимаюсь за кухонные дела. Пока варю кофе, пока завтракаю стоя, все идет вроде бы нормально. Но вот завтрак окончен, и наступает момент, когда спрашиваешь себя, чем же заняться дальше, а ответить не можешь, потому что никаких идей на этот счет у тебя нет. Еще не так давно я в это время работал над романом. Но роман уже написан, уже забракован. Валяться на кровати стало невмоготу, это занятие и без того длилось слишком долго. Можно было бы почитать, но к чтению у меня душа не лежит. Или пошляться по городу, но и шляться неохота. Все равно я роюсь в стопке книг или слоняюсь по улицам — надо же чем-то заниматься.

Вторая половина дня проходит легче, незаметнее, поскольку я провожу ее в редакции. Отдел, занимающий две с половиной комнаты, насчитывает три с половиной человека служащих. Большой комнатой пользуюсь я и один молодой репортер, который, к счастью, большую часть времени проводит вне редакции. Маленькая комната — это кабинет заведующего. А в самой маленькой (ее даже и комнатой не назовешь, так она мала, чуть больше телефонной кабины) ютится полчеловека, то есть наша секретарша. Я говорю «полчеловека» не из презрения к нежному полу, а потому что секретаршу делил с нами отдел внутренней информации, так что для нас у нее почти не оставалось времени и функции ее сводились к передаче корреспонденции и к тому, что она при необходимости могла отстучать на машинке какое-нибудь письмо.

В свое время кабинетом владел я, потом мне дали отдел культуры, а когда в порядке наказания меня вернули сюда, на капитанском мостике уже хозяйничал Янков. Я не жалею. Кабинет заведующего так тесен, что после двух выкуренных сигарет там можно устраивать охоту на лис. Но лис нет — если не считать, конечно, самого Янкова.

Ко мне он относится с виноватой доброжелательностью, поскольку по его милости я понес наказание, и со скрытым недоверием, так как опасается, что я могу его вытеснить. Нельзя сказать, что я его ненавижу, но и любить его у меня нет причин. Он из числа тех людей, которых и любить не за что, и презирать грех. Не потому, что он лиса, а потому что, оставаясь лисой, никаких других примет не имеет. Он старается всегда держать нос по ветру, и его заботит только одно: что скажут люди. Люди — это в первую очередь те, кто рангом выше, а также и все ранги по нисходящей линии вплоть до вахтера на проходной.

Отдел писем. Под этой незначительной вывеской кроется масса хлопот. Особенно для меня. В ходе изучения писем я сортирую их по категориям: одни должны быть опубликованы, другие нуждаются в проверке, третьи вовсе не могут быть использованы. Затем я вношу соответствующие предложения начальству, и вот тогда начинается волынка.

Янков не склонен брать на себя какую-либо ответственность. С более сложными вопросами все обстоит просто — он обращается к Главному, и делу конец. Что касается прочих вопросов, то тут положение деликатное. Во всех случаях соваться к Главному нельзя, чего доброго он скажет: если ты пристаешь ко мне по пустякам, какого черта ты мне нужен в редакции? А не обращаться к нему — значит, надо самому решать, то есть брать на себя ответственность. Вот и думай и гадай, что скажут люди и как все обернется. В конце концов Янков прибегает к единственно возможному, испытанному средству — перекладывает ответственность на меня, конечно, предупреждая при этом: только смотри в оба, не завари какую-нибудь кашу.

Я стараюсь быть осторожным, что-то проверяю, зво-

ню куда надо, иногда делаю письменные запросы, чтобы не заварить кашу, то и дело гоняю своего единственного подчиненного, так что жаловаться на отсутствие работы ему не приходится. В силу этого я часто остаюсь в комнате один и у меня есть время для окончательной обработки материалов.

Если вы полагаете, что читательские письма публикуются в таком виде, в каком их опускают в почтовый ящик, то вы глубоко заблуждаетесь. Прежде чем письмо опубликовать, необходимо в первую очередь выжать из него воду, потому что есть немало людей, которые, желая сообщить о непорядках в мясном магазине, начинают с того, что соседка по квартире выколачивает ковер, когда ей вздумается, а сосед купил себе «москвич», дескать, можете ли вы, товарищ редактор, объяснить, на какие деньги мог купить «москвич» завскладом, ежели у него зарплата сто двадцать, — сколько лет ему надо копить, чтоб набралась такая сумма, ведь не камнями же он питается.

Так что обычно без выжимания воды не обходится, но это далеко не все. Бывает, авторы иных писем, сказав «а», не говорят «б» — невозможно понять, в чем соль письма. Тогда приходится основательно попотеть, прежде чем доберешься до сути дела. Единственное мое утешение состоит в том, что, раскрыв в один прекрасный день газету, я представляю себе, как какой-нибудь гражданин долго ломает голову, решая, его это письмо или не его.

«Пока оставайся на своем месте», — сказал Главный. Это «пока» сулит мне лучшее будущее если не в ближайшие дни, то по крайней мере в ближайшие месяцы. В том случае, конечно, когда не знаешь Главного. Но я-то знаю его достаточно хорошо, и это «пока» воспринимаю как шутку. Он и сам отлично знает, что предложить мне «лучшее место» не так просто: едва ли оно освободится в течение ближайших лет.

Скорее всего, Главному хотелось бы другого: чтобы я не мозолил глаза, не напоминал ему своим присутствием, что он совершил несправедливость. Эта история ставила под сомнение его реноме строгого, но справедливого начальника. Тем более что о ней со всеми

подробностями знают все, даже работники типографии. И симпатии, если они есть, — на моей стороне. Поэтому неудивительно, что он ждет не дождется, что я избавлю его от своего присутствия. Он ведь знает, что я прирабатываю понемногу то тут, то там и не особенно дорожу своим местом. После такой обиды почему бы мне не убраться.

Но у меня нет ни малейшего желания убираться отсюда. Не потому, что мне так уж приятно кому-то мозолить глаза, — просто мне противно потворствовать кому бы то ни было, а ему тем более. Пускай бесится.

Уже перед самым концом рабочего дня меня вызывает Янков. Есть у него такая привычка — вызывать, когда ты уже собрался уходить. Чтобы не остаться в долгу (я не люблю даже мелких долгов), я вхожу к нему с дымящейся сигаретой. Янков не выносит табачного дыма, его раздражает, если в его кабинете курят даже при открытом окне.

— Слушай-ка, Антон, как же нам поступить с этой детской историей?

— Как ты скажешь.

— В данном случае я тебя спрашиваю.

— Давай тиснем. Вопрос важный.

— Но, дорогой мой, там такие факты!. .

— Тогда не надо.

— Вот и я того же мнения. . . Только письмо все-таки не от частного лица — от целого квартала. Завтра поднимут шум на весь город: вот как вы относитесь к сигналам общественности!

— Тогда давай тиснем, — говорю я спокойно. И, видя, что так он будет мурыжить меня еще часа два, добавляю: — Третьего дня в «Деле» была напечатана передовица насчет заботы о детях.

— Верно, — оживляется Янков. — Наш материал прозвучит сверхактуально. — Но потом его снова начинают одолевать сомнения: — Только уж больно вопиющие факты. . . — После этих слов его вдруг осеняет счастливая идея: — А ты подскочи туда да и проверь! Можешь даже сегодня вечерком. Это же в двух шагах от твоего дома.

Я киваю согласно, хотя охотно выдал бы ему все, что о нем думаю. Дело не в том, что я чем-то буду занят, но именно на сегодняшний вечер я наметил прогулку в «Софию», посмотреть, нет ли там Бебы.

Я уже повернулся к двери, когда Янков спросил:

— Видел в сегодняшнем номере интервью Димова?

— Да, только там глазу не за что зацепиться.

Он окидывает меня недовольным взглядом, беспомощно разводит руками:

— Что поделаешь. Говорит с тобой, словно чулок вяжет. Никакого запоминающегося факта, никакой живинки, сплошь голые рассуждения. Пустой человек.

— Не пустой. Не его это тема, — возражаю я. — У него тема другая.

Янков вопросительно пялится на меня, но я отворачиваюсь и ухожу. Не в моем характере ставить точки над «i».

Перед тем как уйти, я достаю папку текущих дел, чтобы восстановить в памяти подробности. Читаю, как у нас принято, по диагонали, пропуская рассуждения и возмущения нравственного порядка и задерживаясь лишь на строках, которые сам подчеркнул:

«. . . Мать бросила семью, уехала с любовником, и больше о ней ни слуху, ни духу. . .»

«. . . Отец работает на заводе. . . Вечерами пропадает в корчме. . . Возвращается поздно ночью. Дома остаются взаперти двое малых детей — мальчик 4 лет и девочка 7 лет. . .»

«. . . Он не столько заботится о детях, сколько бьет их. . . Соседи часто слышат плач и крики. . .»

И прочее в этом же роде.

Давно стемнело, когда я прихожу по указанному адресу. Звоню в первую попавшуюся дверь, и мне говорят, что интересующий меня субъект проживает в чердачной квартире. Когда занимаешься подобными проверками, приходится изрядно побегать вверх-вниз по лестницам.

Дома одни дети. Они открывают по первому стуку, впускают меня, не проявляя ни малейшего любопытства. Как будто к ним забрел ненадолго соседский котенок.

Во всяком случае, одна деталь уже прояснилась: дети сидят не взаперти. Что еще прояснится?

Вид этого помещения убеждает меня, что мое собственное жилище — поистине дворец. Свет, на редкость тусклый, как бы специально призван не выставлять напоказ убогую обстановку комнаты. Висящая под потолком голая лампочка освещает главным образом самое себя.

Девочка, уведомив меня, что папы нет дома, возвращается к роли хозяйки. Она крошит хлеб в глиняную миску, морща при этом лоб от напряжения — хлеб, видно, слишком черствый и плохо поддается ее слабым пальцам. Веснушчатое лицо девочки поражает бледностью и апатией. Длинные светлые волосы спускаются в беспорядке на плечи, окружая это бледное лицо каким-то золотистым ореолом. На электрической плитке греется вода в алюминиевом кувшинчике. За действиями девочки внимательно следит четырехлетний мальчуган. На гостя — ноль внимания. Дети, наверное, уже привыкли к посещениям и всевозможным проверкам.

На девочке выцветшее ситцевое платье в голубую полоску. Оно ей велико — вероятно, подарок какой-нибудь сердобольной соседки. Мальчик в байковой пижаме, настолько грязной, что ребенок похож на жалкого бездомного котенка. У него круглое, такое же бледное лицо и черные глаза. Под одним глазом синяк, под другим — длинная царапина.

— Что ты там готовишь? — обращаюсь я к девочке, лишь бы начать разговор.

— Тюрю, — тихо отвечает она, продолжая крошить хлеб.

— На чем?

— На воде.

— На воде — с чем?

— С водой! — произносит девочка, на сей раз громче, как бы недоумевая: взрослый человек, а не понимает.

— А папа где?

— На работе.

— Он что, в ночную смену работает?

— Нет, не в ночную.

— Папка в корчме, — слышится тонкий голосок мальчика.

Девочка смотрит на него с укором, но молчит.

— А когда возвращается, он вам приносит что-нибудь?

— Приносит.

— Что же он приносит?

— Да хлеб. Если не забудет.

— Дядя, а мама вернется? — снова звенит голосок малыша.

Он глядит на меня испуганными глазами, как будто только сейчас по-настоящему обратил на меня внимание.

— Ну конечно, а как же иначе! Разве может человек куда-то убежать и не вернуться, — отвечаю я.

— Мама не вернется! — возражает девочка, словно упрекая меня: к чему зря врать?

— Тебя кошка поцарапала? — обращаюсь я к мальчику, чтобы переменить разговор.

— Папка меня побил, — произносит он жалобно.

— Все время его колотит! — подтверждает девочка. — Весь в синяках, бедняга.

— Дай-ка я на тебя погляжу! — тихо говорю я и, притянув к себе ребенка, поднимаю край его грязной пижамы.

Хилое тельце сплошь в ссадинах и синяках.

— Зачем это вы раздеваете ребенка? — слышится вдруг низкий хрипловатый голос.

Незаметно для нас вошел отец. Захлопнув дверь, он опирается на нее в несколько вызывающей позе, как бы в ожидании моего ответа. Козырек кепки, низко надвинутой на глаза, бросает тень на его лицо.

Я сухо говорю, что пришел справиться, как живут его дети.

— Опять из домоуправления?

— Из более высокой инстанции.

— Велика важность — инстанция! — презрительно бормочет хозяин. Затем он сует дочке хлеб, который держал под мышкой, и рычит: — На, держи! Брось эту сухую горбушку!

Девочка покорно принимает хлеб и кладет его на

стол. Мальчик жадно смотрит на раздавленную буханку белого хлеба, робко протягивает руку, но тут же отдергивает ее.

— И с какой это стати вы раздеваете ребенка? — повторяет отец.

Теперь он стоит ближе к свету, его худое нахмуренное лицо очень смугло — то ли от работы на открытом воздухе, то ли у него печень больная. Руки устало опущены, словно большие кисти непомерно тяжелы. Распахнутый ворот серой рубашки обнажает загорелую мохнатую грудь. От него веет враждебностью и запахом кабака.

— Говорите же, зачем раздевали малое дитя?

— Я посмотрел, как вы его разукрасили.

— Попробовал бы сам справиться с таким! Кричишь ему: «Замолчи!» — а он орет пуще прежнего. — Хозяин, сняв кепку, сердито швыряет ее в темный угол, где, вероятно, находится кровать. — Эта стерва бросила их, а сама подалась к чертям собачьим! — ворчит он как бы про себя. — Жена! Мать!. .

— Если вы и о ней так заботились. . .

— Стал бы я с ней цацкаться! При такой зарплате, как моя, только оплеухами и могу угощать. . .

— А она что, не работала?

— Работала. Втихаря. Только поздно я сообразил.

— И когда же она уехала?

Когда уехала, с кем уехала, не давала ли о себе знать, почему не кормите детей, есть ли у них другая одежда — автоматически, словно по бумажке, задаю я свои вопросы. Отец по-прежнему груб, злобен, рычит, но отвечает. Он, кажется, понемногу привыкает давать интервью.

— Что вы собираетесь делать? — спрашиваю я под конец.

— А чего мне делать? Делайте сами, вы ученые! Забирайте их у меня, этих детей, и не морочьте мне башку.

— Пожалуй, так и придется сделать. Мы их заберем.

— Дядя, ты сейчас нас возьмешь? — спрашивает вдруг малыш.

Ребенок вцепился в мой рукав и напряженно смот-

рит мне в глаза испуганными черными глазами. Девочка тоже следит за мной. Но без видимого оживления. Ей уже известно, что чудес на свете не бывает.

Лично я не собираюсь их брать ни сейчас, ни позже. Я не домоуправление и не детский сад. И потому с некоторым удивлением слышу собственный голос:

— Ну-ка, собирайтесь.

Одну неделю в доме царило веселье. В самом начале было трудновато, в конце — тоже, но в целом неделя была веселая.

Началось с купания, и малыш задал реву — такая игра оказалась для него непривычной, мыло щипало глаза и особенно ссадины от побоев. Но когда я сполоснул его водой и дал ему возможность одному поплескаться в ванне, слезы тут же высохли, и его удалось вытащить на сушу лишь после того, как я объявил, что пора ужинать.

Ужин был для них настоящим пиршеством, так как я извлек все свои запасы, весьма скромные, говоря между нами,—колбасу, брынзу, помидоры и конфитюр, но дети, похоже, давно не видели такой роскоши, они так жадно набросились на еду, что я стал беспокоиться, как бы им не стало плохо. Пришлось объяснять, что и завтра тоже будет день.

Следующее утро ушло на покупку одежды, самой необходимой, недорогой, но малыши радовались любому пустяку и были на седьмом небе (тогда как я втайне наслаждался своеобразным эгоизмом, который мы величаем заботой о ближнем).

После обеда возникли затруднения — мне надо было идти в редакцию, а тащить с собой детей в качестве вещественного доказательства того, что моя миссия выполнена, я не мог. Пришлось отвести их в ближайший парк, дать им ключ от квартиры, мелочь на мороженое и наказ вести себя хорошо.

— Ну как, проверил? — спросил Янков.

Я рассказал ему в нескольких словах, что и как, не упоминая о том, как я поступил с детьми. Это едва ли было бы ему интересно.

— Гадкая история, слов нет, — замечает мой шеф. — Это совсем не для печати. Но вот что я решил: мы перешлем письмо в соответствующую инстанцию с предложением заняться этим вопросом районной детской комнате. Тогда никто не сможет обвинить нас в том, что мы оставили сигнал без внимания.

— Раз ты решил. . .

Наскоро покончив с текущими делами, я попросил разрешения уйти пораньше. На душе у меня скребли кошки — а вдруг на детей напало хулиганье, а вдруг их забрали в милицию или задавила машина?

Они оказались там, где я их оставил. Сидели на скамейке, держась за руки, словно боялись потеряться, и наблюдали, как неподалеку ребята постарше поочередно катались на велосипеде.

— Вы почему не играете? — спросил я.

— А как? — спросила в свою очередь девочка.

— Мы не знаем никакой игры, — уточнил малыш.

— Тогда купите себе по бублику, — велел я, заметив, что в палатке у входа в парк продают только что привезенные бублики.

Получив от меня необходимые средства, дети бросились к палатке. В этот момент я заметил, что за мной наблюдает поверх очков Димов, устроившийся на противоположной скамейке. Он усмехнулся и кивком подозвал меня к себе.

— Ваши дети? — спросил сосед, когда я подошел.

— Не бойтесь, они у меня временно, — ответил я.

— А чего мне бояться. — Он поднял седые угловатые брови, выражающие легкое недоумение всегда, даже когда они не были подняты.

— Шума, — пояснил я, вспомнив историю с дворовыми мальчишками.

— Шума, говорите? Шум — пустяк, с детьми другие заботы, но пускай об этом думают родители.

— У вас были дети?

— Бог миловал! — решительно отрубил Рыцарь. — Жена у меня была. Жена или не жена — это отдельный вопрос. А что касается детей — бог миловал!

— Но ведь дети, говорят, наше будущее.

— Да. Если верить газетам. Или если у вас есть

время и вы можете посвятить себя их воспитанию. Только вот у кого в наши дни есть время?

— Тогда давайте поступать как царь Ирод.

— Ну зачем же так-то! Можно и по-другому. Если это вас интересует.

— Почему же не интересует? — говорю я, убедившись, что дети вернулись на свою скамейку и грызут бублики.

— Что такое, по-вашему, родительская любовь? — спрашивает Димов, глядя на меня поверх очков.

— Известно. . . родительская любовь.

— Мелкособственническое чувство! — поправляет меня Димов.

И он начал втолковывать мне, что современные родители, как правило, не в состоянии дать детям воспитание. Следовательно, эту функцию должно взять на себя государство. Димов толковал обо всех этих элементарных вещах с таким гордым видом, словно сам их придумал.

— Понимаю, вы за нивелирование индивида, — отважился я заметить.

Он пронзает меня острым взглядом и бормочет себе под нос:

— Ничего не скажешь, хорошо же вы меня поняли!

Сосед явно сожалеет, что связался с таким тупицей, как я, но и я теперь тоже сожалею, ибо Димов развел такую многословную апологию общественного воспитания, что сил нет слушать. Подлинное воспитание, воспитание будущего, которое должно обеспечить полный простор для развития индивидуальных способностей и дарований. . .

Мне приходится выслушать его до конца. Ничего не поделаешь — сосед. Потом я любезно благодарю его за беседу и веду детей домой.

У меня было опасение, что особенно тягостно будет вечерами — ведь я не знал, чем и как занимать своих питомцев, — но тут на помощь прише лтелевизор. Сначала я совсем забыл о нем, к тому же я был почти уверен, что он не работает, так как достался мне в наследство от Жоржа, но оказалось, что он вполне исправен, и это просто осчастливило детей, да отчасти

и меня самого, поскольку избавляло от непосильной задачи изобретать для них забавы.

Все постепенно наладилось, все было даже лучше, чем я ожидал, за исключением, может быть, спанья: спать приходилось на одной кровати, и, как бы ни была она просторна, втроем нам было тесновато; к тому же малыш в отличие от сестры спал довольно-таки беспокойно, без конца ворочался, пинался и хныкал во сне, вероятно все еще переживая проявления теплой отцовской заботы.

А неделю спустя явилась какая-то женщина и сообщила, что пришла забрать детей в интернат. Выходит, посланное редакцией письмо не осталось без отклика, и у меня не было никаких оснований возражать. Такой был конец. Он, как и начало, не обошелся без слез.

— Я не хочу уходить! — жалобно захныкал мальчуган, размазывая слезы по круглому, уже пополневшему личику.

— Дядя, а зачем нас забирают? — с недоумением спрашивала девочка дрожащим голосом. — Ты же нас не прогоняешь?

— Как я могу вас прогонять! Да только это не от меня зависит, такой уж порядок.

— Такой порядок, детки, — подтверждает женщина. — Там вы будете с другими детьми, будете вместе учиться, вместе играть. . . Давайте-ка теперь собирайте свои вещички. . .

Однако их нисколько не интересовали ни другие дети, ни учение, им явно хотелось остаться здесь, в этой сумрачной комнате, где их никто не обижал, где можно было смотреть телевизор, и малыш продолжал хныкать. Голубые глаза его сестренки тоже стали наполняться слезами, и я пытался поочередно успокаивать то одного, то другого, повторяя, что такой порядок и что они будут часто приходить ко мне в гости, хотя сам в это не верил.

Так что все закончилось слезами и неловкими объятиями, и топот детских ножек послышался мне с лестницы, потом из Темного царства, хлопнула наружная дверь, и все затихло, я снова оказался один в опустев-

шей комнате, сказав себе, что с моей стороны это была сентиментальная глупость, что после веселого беспорядка в моей квартире детям будет еще труднее привыкать к порядку, который их ожидает. Но ничего не поделаешь, рано или поздно им придется смириться с мыслью, что существует порядок. Хорошо это или плохо? О них будут заботиться, но в строгом соответствии с порядком, и никто не станет их баловать. А как приятно, когда тебя балуют.

С каждым днем все раньше спускаются сумерки. Когда я ухожу из редакции, уже совсем темно, и, проходя по городскому саду, я улавливаю легкий запах влажной земли и хризантем, который напоминает мне об осени и кладбище. И мне приходит в голову, что надо бы сотворить скромную панихиду о покойном друге, после чего я невольно сворачиваю в сторону площади с памятником.

Обычный прием — прикрывать низменный порыв пологом чего-то возвышенного. . . Дело в том, что я направляюсь к «Софии» не ради усопшего друга, а ради все еще живой, к счастью, Бебы.

Беба, да. Вам знаком этот тип женщины — тонкое лицо и пышная плоть? Я скроена по двум разным журналам, как-то сказала она о себе. Физиономия мадонны и фигура красотки из кабаре — дисгармония, вызывающая повышенный интерес у некоторых мужчин. Ибо сколько бы мы ни воспевали гармонию, нам все чаще приходится убеждаться, что в ней есть и нечто довольно скучное.

Окружение, быт, круг интересов Бебы — все пункты ее характеристики вполне можно было бы переписать из личного дела моей жены. Однако есть все же и различие между ними, и оно в пользу Бебы. Бистра — изящное, тонкое создание с тяжелым нравом, тогда как у Бебы при тяжеловатой фигуре легкий характер. Может быть, потому, что она ничего не воспринимает всерьез, включая и невезение в карты, когда ей приходится раскошеливаться, — такое иной раз даже с нею случается. Трудно поверить, чтобы у нее были какие-либо се-

рьезные планы, а если и были, то она махнула на них рукой и давным-давно пустила свою жизнь на самотек, мол, какие бы планы человек ни строил, что на роду написано, то и будешь хлебать. Поэтому она пробует заглянуть в тайны своей судьбы, гадая на кофейной гуще и раскладывая пасьянс, но ей и в голову не приходит самой стать творцом своей собственной судьбы. Такие громкие фразы кажутся фаталисту смешными, а Беба, как всякий солидный игрок, — фаталист по призванию. Используй свои карты как умеешь, но не забывай, что не ты и не кто-нибудь — сама судьба их тасует.

Еще что? Профессия. Но у Бебы нет профессии. Можно было бы сказать, что она — рантье, но в наших формулярах такая графа не предусмотрена. Бебе ежемесячно присылает определенную сумму ее тетушка, переселившаяся в Штаты. Тетушка имела счастье выйти замуж за богатого заокеанского глупца, который безвременно, а может, и вовремя отдал богу душу. А Беба оказалась единственной родней счастливой старушки.

Словом, тема счастья весьма расплывчата, и, если бы непременно понадобилось развивать ее дальше, пришлось бы упомянуть и Жоржа, который покупает у Бебы чеки для Корекома[1], приобретает импортные товары, а затем сбывает их по завышенным ценам. А судьба — она такая, она как начнет подтасовывать хорошую карту, только успевай ловить счастье, которое может продолжаться довольно долго.

Но в данный момент я отправился искать не Жоржа, а Бебу. Не потому, что я особенно симпатизирую этой даме, а по тем соображениям, что мне неохота возвращаться в пустую квартиру. Кроме того, если ты провел немало времени в холостяцком одиночестве, воображение неизбежно начнет занимать какая-нибудь Беба.

В жизни всегда так: чем ты не дорожишь, то само плывет тебе в руки. Подобным же образом и Беба очутилась в моих руках, точнее, мы, словно по уговору,

---

[1] Имеется в виду магазин, где отпускаются товары за иностранную валюту. — *Прим. переводчика.*

столкнулись с нею перед кафе, как в прошлый раз.

— Я подозреваю, что ты меня ищешь, — бросает она без лишней скромности.

— Естественно.

— В таком случае ты, наверное, уже решил, куда меня повести.

— Знаешь что, — говорю я, — Бистру мы будем дразнить в другой раз. Сегодня я бы не хотел идти в ресторан.

— А куда?

— Хотя бы ко мне.

— Ни за что на свете, — отвечает Беба. — Терпеть не могу холостяцких квартир.

— Я полагал, что ты более романтична.

— Я не романтична и презираю грязь, простыни сомнительной чистоты и вообще весь этот мужицкий быт.

— Тогда пойдем к тебе.

Она окидывает меня суровым взглядом, готовая послать меня ко всем чертям, и твердо заявляет:

— Ладно. Уступаю на сей раз, тем более что ты у меня запрограммирован. Только имей в виду: я иду на это в порядке исключения.

Убранство Бебиной квартиры для меня не новость, но теперь, когда я покинул свою квартиру, до меня доходит, что Бистра обставила ее точно по образцу этого интерьера. Это была поистине героическая амбиция моей бывшей супруги, если принять во внимание, что у Бебы все заграничное.

Хозяйка бросила в сторону лиловую курточку своего джинсового костюма и, оставшись в такой же лиловой рубашке, занялась бутылками и орешками.

Опустившись в мягкое кресло, я курю и стараюсь не заглядывать за слегка раздвинутые кулисы рубашки. Еще рано.

— Тут довольно-таки уютно, — рассуждаю вслух. — В сто раз уютней, чем в любом ресторане.

— Только мне уже становится не по себе от этих домашних рандеву, — возражает Беба, ставя поднос с бокалами на низкий столик. — Не знаю, что у меня за доля такая, — везет мне на женатых ослов. И этот, таинственный, как ты его назвал, — его я тоже за это

отшила. Он будет разъезжать с женой туда-сюда, а я должна ждать его дома и служить для него чем-то вроде тайного гарема. Ненавижу прелюбодеев!

Высказав эти соображения, Беба удаляется, чтобы принести лед. Но вот и с этим покончено, хозяйка усаживается в кресло напротив меня, и снова звучит ее нежный голосок:

— Так что имей в виду: если я тебе понадоблюсь еще когда-нибудь, не вздумай явиться ко мне в шлепанцах.

— Послушай, — предлагаю я, — почему бы нам не сократить процедуру? Все ведь идет к этому.

— Еще чего! Тони, не прикидывайся дурачком, я тебе не Бистра. Если начать «сокращать процедуру», то нам уже пора переселяться на кладбище. Процедура, дорогой мой, тем и хороша, что она тянется. Ты настраиваешься, заводишься, воображаешь. А после остального ты повернешься ко мне спиной и захрапишь.

— Я не храплю.

— Все так говорят. . . Наливай же!

Я наливаю. Мы выпиваем по два бокала в течение двух часов. Беба любит пить неторопливо. В общем, пускай тянется. . . процедура. Она выражается главным образом в беседе, содержание которой — сплетни. Я давно ничего не слышал о наших общих знакомых, что, по мнению моей дамы, просто неприлично. Однако есть в этом и плюс: какой был бы смысл заниматься пересудами, если бы мне все было известно?

Информация обильная, хотя и однообразная. Кто с кем встречается да кто кому наставляет рога. Вечные страсти.

— Бистра потирает руки, представляя, как ты переживаешь, — ввернула Беба, исчерпав свой репертуар.

— Наоборот, я счастлив.

— Уж прямо-таки счастлив!

— А почему нет? Сделал добро двум людям, не считая себя.

— Ты в этом уверен?

— Человек ни в чем не может быть уверен. У меня опасение, что Жорж не очень-то доволен.

— Почему? — спрашивает она, остановив на мне испытующий взгляд.

— Да потому, что он не столько к Бистре льнет, сколько к тебе.

— А ты хитрец! — Беба грозит мне пальцем. — Прикидываешься рассеянным, а сам все видишь.

— Если б видел, мне было бы ясно, почему ты его отшила. Ты ведь женщина не меркантильная.

— Я не меркантильная, Тони, но у меня принцип: не путать удовольствие с делом. И потом, от Жоржа удовольствие. . .

— Ужас как тебе идет эта лиловая блузочка, — замечаю я безо всякой связи. — Одного не могу понять. . .

— Опять что-нибудь выдашь?

— Тебе в ней действительно тесно или это всего лишь обман зрения?

— Я не иллюзионистка, мой мальчик. У меня все настоящее, — отвечает Беба с присущей ей скромностью.

«Повернешься ко мне спиной и захрапишь. . .» Это не совсем так. Если на то пошло, Беба засыпает первая. Еще одно очко в ее пользу: она не из чересчур горячих. Вроде Бистры. Первое время они еще держат себя в узде, но потом страшно утомляют, совсем как в жаркий день, когда с утра ты говоришь, какой славный день, но жара усиливается, и к середине дня уже понимаешь, что все хорошее имеет свою плохую сторону. Когда путь долог, зной переносить труднее.

Антоний и Клеопатра. . . Тони и Беба. . . Нет, такой опасности не существует. Достоинство этой женщины именно в том, что она не висит над тобой точно дамоклов меч. Она слишком занята, чтобы дорожить чем бы то ни было. И когда утром, угостив чашкой кофе, она провожает меня, то не спрашивает, когда мы увидимся, она говорит только: будет время — звони. Словом, здравствуйте и до свидания, как принято у воспитанных людей.

Вернувшись домой, я вдруг понимаю, что моя уединенная квартира начинает меня угнетать. И дело тут

не в том, что у меня нет ни богатых штор, ни импортных обоев, как у Бебы. Свою орешину я не променял бы ни на какие обои и драпри, хотя чувствую, что темная ее зелень говорит о близости осеннего заката. Меня гнетет отсутствие детей. Я будто вижу их стоящими на нумерованных местах, вижу весь этот казенно налаженный быт и испытываю угрызения совести. Смутное чувство вины, знакомое с детских лет.

Бывает, иной раз я оборачиваюсь назад, в прошлое, и пытаюсь подытожить его — просто так, чтобы посмотреть, что получится в результате, и выходит, что ничего не получается. Какой-то винегрет из мелочей. Горстка случайностей, беспорядочно всплывающих в памяти. Надо еще больше углубиться в прошлое, убеждаю я себя, надо вернуться к самому-самому раннему, откуда берет начало все последующее. Может быть, именно самое раннее способно дать объяснение всему.

Однако самое раннее ничего не объясняет, потому что это всего-навсего хаос. Я вижу себя в каком-то темном, тесном и низком помещении согнутым вчетверо, словно сжатым со всех сторон, как будто воспоминание вернуло меня в утробу матери, но я не в утробе матери, а в ее объятиях, — бомбоубежище, все вокруг нас сотрясается, а где-то над головами рвутся бомбы. Охваченный страхом, я готов в диком порыве бежать куда глаза глядят, но бежать некуда, и все вокруг так давит меня, что, пытаясь спастись, я зарываюсь глубже в материнские объятия. Меня охватывает страх, но не потому, что где-то снаружи рвутся бомбы, а потому, что в меня вселился страх матери, бессвязно повторяющей вполголоса: «Пришел конец. Господи спаси. . .» Она повторяла это до тех пор, пока вдруг почти у самого моего уха не послышался шепелявый шепот: «Не учи господа, что ему надо делать! Лучше скажи: господи, да будет воля твоя!. .»

Всего какой-то миг, не связанный ни с предыдущим, ни с последующим, — таким кажется мне то далекое воспоминание о хаосе. Потом я вспоминаю хаос более позднего времени. Я вижу себя на руках у отца — наверное, мы с ним были на матче. Люди хлынули к выходу, мы находимся в самом центре необъятной толпы,

которая сжимает нас с такой ужасающей силой, что мне кажется, будто слышен хруст человеческих костей. Отец старается держать меня как можно выше, но он низкорослый и худощавый, и руки у него, видимо, совсем ослабли, потому что он все время кричит беспомощно: «Граждане, осторожней! Загубите ребенка!» Однако никто ничего не слышит, никто ничего не в состоянии сделать — каждого толкают, на каждого наваливаются идущие сзади, и я чувствую, как держащие меня руки дрожат в изнеможении и вот-вот уронят в это жуткое человеческое море, где от меня останется лишь мокрое место, но вдруг меня подхватывают какие-то другие руки, длинные и могучие, — руки парня, настоящего богатыря, и он спокойно и уверенно несет меня к выходу.

За этого молодого богатыря я иногда молился перед сном — когда я был маленьким, тетка тайком учила меня молитвам, а позже, когда я подрос и больше не молился, мне случалось и проклинать его: ведь, не подхвати он меня на руки, моя жизнь тогда кончилась бы в один миг и ничего случившегося потом просто бы не было.

Убежище — хаос далекого прошлого, толпа — хаос внешнего мира, но в доме существует порядок. Этот порядок создан взрослыми людьми, и он не всегда мне понятен. Однако даже при всей его строгости и незыблемости случается, что и в него проникают микробы хаоса. Так, много лет назад у моей матери стал расти живот; поначалу это не бросалось в глаза — она всегда была грузной, вес ее был намного выше нормального, — но потом живот сделался таким огромным, что я начал задавать неприличные вопросы, на которые моя тетушка отвечала: ты еще маленький, тебе этого не понять, но ты должен радоваться — скоро аист принесет тебе братика.

Эта новость вызвала у меня целую лавину новых вопросов, на которые взрослые не склонны были отвечать, и я зажил с мыслью о скором появлении некоего улыбающегося человечка, который представлялся мне в виде живой куклы; воображение мое уже рисовало, как я вожу улыбающегося человечка за руку, как по-

казываю ему наш двор, и тайный лаз в соседский сад, и свои маленькие сокровища.

Потом мама вдруг исчезла, и пришло сообщение, что аист и в самом деле принес мне братика — точнее, сестренку: в последний момент (вероятно, в спешке) вместо братика мне послали сестренку. Для меня это не имело значения, но, когда меня пустили наконец в спальню, где снова появилась мама, и мне было позволено приблизиться к люльке, чтобы я мог увидеть красивого маленького человечка, единственное, что я смог сделать, — это заплакать:

— Но она страшная!

Она и в самом деле была неимоверно страшная, эта долгожданная сестренка, лицо ее было все в морщинах, как у старухи, неприятное, с лиловыми губами и лиловыми веками. Да, у ребенка были лиловые губы и веки, дышал он трудно, с какими-то едва уловимыми хрипами, он не прожил и месяца, но, когда я узнал, что его уже нет, я воспринял это как еще одно проявление хаоса в условиях строгого домашнего порядка.

— Почему она умерла? — спросил я у тети.

— Из-за тебя. . . Ты не хотел, чтобы она у нас была.

Так к моему разочарованию прибавилось и чувство вины. Увидеть безобразное — это, наверное, большая вина. Вина и страдание.

Вопреки отдельным вспышкам хаоса домашний мир оставался миром порядка, который всячески поддерживала святая троица — мама, папа и тетя. Мне все кажется, что мама с тетей существовали с незапамятных времен, а вот отец появился значительно позже, потому что, как до меня потом дошло, он сидел в тюрьме и вышел из нее только Девятого, и я довольно отчетливо вспоминаю его появление: меня позвали со двора, а в кресле-качалке сидел какой-то незнакомый и не очень приветливый человек, я даже не обратил на него внимания, приняв за случайного гостя, и, верно, никогда не стал бы обращать на него внимания, если бы мама не сказала:

— Ну подойди же к отцу! Разве ты не видишь, что это твой отец?

Гость смотрел на меня и слегка улыбался, но я упер-

ся, не желая к нему идти, так что улыбка на его худом лице постепенно угасла и больше не появилась — даже когда маме все-таки удалось подтащить меня к креслу-качалке.

Мне не повезло с отцом с самого начала: то ли я вообще был стеснительным, то ли он казался мне совершенно чужим, ничуть не похожим на того, что мне показывали на фотографии, — красивый мужчина держит под руку красивую улыбающуюся девушку, мою мать.

Моя мать с ее полным лицом и грузной фигурой тоже была мало похожа на ретушированный образ, увиденный на фотографии, но к ней я привык. А этот неожиданно появившийся человек был совсем чужой, и мне было непонятно, почему я должен его любить, такого молчаливого, холодного, нахмуренного, — казалось, он страдает от зубной боли, не очень сильной, но не унимающейся.

В ранние годы мною занимались мать и тетка. Мать была доброй феей, а тетка — злой. К сожалению, заботы матери были сосредоточены не столько на мне, сколько на кухонных кастрюлях. Может быть, она внушила себе, что единственное ее дарование — кулинарное искусство, и ей хотелось убедить в этом отца и тетку. Свою возню на кухне мама начинала, как только прислуга возвращалась с базара; охая и вздыхая, бралась она за кастрюли и сковороды, но, поскольку кулинарные таланты были чистейшей ее иллюзией, ей приходилось маскировать их отсутствие, и она чересчур щедро сдабривала кушанья всевозможными приправами, главным образом пряностями и лавровым листом. Их одуряющий запах действовал так, что можно было съесть целую порцию, не подозревая, какую ты поглощаешь бурду.

Толстая добрая фея была слаба здоровьем — она страдала нарушением обмена веществ (или, как она сама деликатно выражалась, у нее было «нервное сердце»), вечно глотала всевозможные таблетки, сосредоточенно отсчитывала валерьяновые капли, а после тяжелой операции утренней стряпни и не менее утомительной процедуры поглощения ее укладывалась на

кушетку в гостиной, не способная больше ни на какую другую работу до следующего утра.

И все же она оставалась доброй феей, потому что вопреки строгому запрету отца иногда совала мне какую-то мелочь, а если я был чем-то обижен или огорчен, я находил убежище в ее мягких объятиях.

Моя тетушка тоже была женщина одаренная. У нее были хорошие данные истерички (врожденные или приобретенные — не имеет значения), но по крайней мере она это сознавала и изо всех сил старалась держаться на грани спокойствия, потому как стоило ей потерять равновесие, она запросто могла сорваться в бездну; однажды в подобных обстоятельствах тетка перебила весь семейный сервиз китайского фарфора, того старинного китайского фарфора, который производится в Вене и стоит баснословных денег.

В пору моего безмятежного детства, сам того не понимая, я был для моей тетушки главным источником раздражения, поскольку в основном именно ей приходилось мной заниматься. Она без конца досаждала мне своими командами: «Ногти постриги», «Смени носки», «Садись заниматься»; если же я вел себя хорошо, она вознаграждала меня не менее «приятными» ласками: крепко прижимала меня к себе, гладила своей тощей нервной рукой, от которой противно пахло валерьянкой. Таким образом, трудно было решить, как мне выгодней — вести себя хорошо или вести себя плохо. Одно я твердо усвоил: нельзя безобразничать сверх меры, чтобы не вывести тетушку из терпения, потому что, когда такое случалось, она приближалась ко мне с тем напряженным выражением, которое появляется у каждого из нас, когда мы повторяем про себя: «Спокойно, спокойно. . .» Впрочем, она повторяла это не про себя, а вслух, обращаясь, конечно же, к матери: «Спокойно, Веса, не надо расстраиваться», хотя мать, пребывая в обычном своем летаргическом состоянии, и не думала расстраиваться. «Не надо расстраиваться, Веса», — повторяла тетушка, привлекая меня к себе, чтобы оградить от материнского гнева, и улыбаясь мне, хотя это больше походило на оскал, нежели на улыбку. «Зачем расстраиваться?» — говорила тетушка,

и в это мгновение как бы невзначай щипала меня (ей было решительно все равно куда), и щипала так зверски, что у меня темнело в глазах. Я издавал истошный крик и, отбиваясь кулаками, вырывался из ее объятий, рискуя оставить кусок своего тела в этих безжалостных костлявых пальцах, похожих на клещи.

Впрочем, на людях тетушка твердо отстаивала мнение, что детей не следует наказывать, ибо проказы их — пустяки, из-за которых не стоит расстраиваться; на что я, при всей свой наивности, возражал плачущим голосом: «А зачем же ты меня щиплешь?», не подозревая, конечно, о том, что с ее стороны это были вовсе не щипки, а отчаянные попытки ухватиться за что-нибудь, лишь бы не рухнуть в разверзающуюся перед ней бездну истерии.

Было бы уместно спросить, почему домашние тяготы в нашей семье были распределены так, а не иначе — то есть почему бы тетушке не заниматься кастрюлями, а матери — мною. Но это был бы риторический вопрос, поскольку мать нуждалась именно в кастрюлях, а тетушка — во мне. Эта старая дева видела во мне единственное средство для самоутверждения — как-никак она распоряжалась мужчиной, пусть малолетним, командовала им как хотела, тиранила его и таким образом доказывала и себе самой, и всему свету, что ее женский инстинкт, так же как и материнский, не пропал втуне.

Несколько позже на педагогическую вахту встал отец. Не потому, что ему некуда было девать время, — его, вероятно, раздражало то, что тетушка, по его словам, начиняла мне голову всевозможными глупостями, в том числе религиозными. Вмешательство отца пошло мне на пользу, поскольку до некоторой степени ограждало меня от тетушкиных истерик, но и во вред, потому что именно с этой поры я начал ощущать порядок со всей его неумолимостью. Порядок, установленный отцом, должен был стать законом и для меня, обретенные им привычки должны были стать и моими привычками, идеи, принципы — все мне давалось в готовом виде, чтобы я не ломал над ними голову или не свернул, упаси бог, с прямого пути.

Помнится, как однажды после классного сочинения по литературе я осмелился сказать учителю:

— Вы мне поставили тройку. . .

— А ты чего ожидал? — Он смерил меня недовольным взглядом. — Я тут в лепешку расшибаюсь, доказывая, что надо, а ты пишешь, что тебе заблагорассудится.

— Я пытаюсь думать самостоятельно. . .

— Не похоже.

— Дать свою оценку. . .

— Если на алгебре ты ответишь не по учебнику, что тебе поставят? Решений может быть сколько угодно, но правильное — только одно.

— Да это ведь литература, не алгебра!

— Ну и что? Неужто литература — сплошной произвол?

Дома, за обедом, я рассказал о случившемся.

— Вечно ты делаешь все наоборот, Тони, — добродушно заметила мама.

Отец молчал, и можно было бы предположить, что он едва ли согласен с учителем. Но он сухо заметил:

— Пока ты в школе, придется делать, как тебе велят. Вот закончишь учение — тогда поступай по своему усмотрению.

Было видно, что отец не согласен с учителем, хотя сам без конца пичкал меня готовыми решениями — все равно что заставлял донашивать свою старую одежду. Удобно, конечно, но порой от этого «удобства» я готов был кричать благим матом. Так бывает с детьми, которые начинают ненавидеть еду, если их пичкают насильно.

Я ловил себя на том, что чем настойчивее вдалбливают что-то мне в голову, тем сильнее мое желание сделать все наоборот. И не потому, что это «наоборот» мне больше нравится, а просто потому, что «наоборот». Вечно у тебя все «шиворот-навыворот», говорила мама.

Так получилось и с чтением. После обеда отец имел обыкновение запирать меня в комнатенке, которую мама величала «папиным кабинетом». Запирал, чтобы тетушка не могла решать за меня задачи, — и вообще, чтобы приучить меня наконец к самостоятельности.

Я адски скучал, с нетерпением ожидая его ухода в редакцию, а поскольку ждать иногда приходилось долго, брал с полки первую попавшуюся книгу и читал, лишь бы убить время. В результате я не приучился самостоятельно готовить уроки, зато пристрастился к чтению.

Не любил я учиться, ничего не любил делать, когда меня заставляли только потому, что все так делают, что так принято. Мне нравилось бездельничать, но не по воскресеньям, когда это в порядке вещей, а именно в будни. К сожалению, будни начинались с принуждения — звенел будильник — и кончались принуждением: «А ну-ка в постель!»

Это искушение — делать все наоборот — иной раз до такой степени овладевало мною, что я спрашивал себя, в своем ли я уме. Случалось, в классе, на уроке, я слушал учителя, как всегда, но вдруг меня охватывало желание встать, неторопливо подойти к учителю и потянуть его за ухо, совсем легонько, просто так. Подчас это совершенно дикое желание мучило меня с такой силой, что, казалось, вот-вот я совершу эту глупость.

И совершил однажды, только не эту, другую. В канун праздника Кирилла и Мефодия мы готовились к демонстрации, маршируя по городским улицам. Наш учитель физкультуры выкрикивал громкие команды, рисовался перед уличными зеваками как только мог, вообразив вероятно, что все от него в неописуемом восторге. И вот во время маршировки я вдруг почувствовал тот самый зуд делать все наоборот, а так как все целеустремленно вышагивали вдоль улицы, «наоборот» представилось мне в виде возможности сесть на мостовую, и пускай остальные маршируют вокруг меня. Самое скверное, что так я и сделал. Только мы вышли на Русский бульвар, у меня подкосились ноги, и я плюхнулся на желтую брусчатку — идущие сзади чуть не попадали на меня. (Кажется, я упал именно на бульваре, потому что брусчатка чище асфальта.)

— В чем дело? Что там происходит? — услышал я как во сне громкий окрик учителя.

Пока я прикидывал, как же мне теперь выпутаться, один из тех ребят, что едва не споткнулись о меня, помогая мне подняться, крикнул учителю:

— Антон упал!

— Мне плохо. . . — простонал я, поднимаясь.

Вид у меня был такой, что меня даже отпустили домой.

Во всяком случае, этот «обморок» излечил меня от некоторых диких выходок. Но лишь от некоторых. Я заменил их: стал задавать людям нелепые вопросы, нелепые и неожиданные, задаваемые ради того только, чтобы посмотреть, какая будет реакция. Мне хотелось сбить с толку кого-нибудь, огорошить: ведь когда человек в растерянности, он сбрасывает маску. Подойти к учителю и потянуть его за ухо — такое удовольствие может дорого обойтись. А задавать идиотские вопросы можно вполне безнаказанно.

— Ты индивидуалист, — говорил мне Петко.

— А ты нет? — спрашивал я.

— Так только кажется, — спокойно пояснил он. — Я уединяюсь, чтобы быть ближе к людям, теснее общаться с миром.

Довольно странное объяснение, но для Петко вполне нормальное, если учесть, что за ним водились и другие странности. Что касается меня — конечно же, никакой я не индивидуалист. Моя жена, наверное, была ближе к истине, когда называла меня упрямым ослом. Я действительно упрямый, тут возражать не приходится, но вовсе не индивидуалист. Я вполне бы мог состоять в каком-нибудь обществе, пусть даже в обществе противников обществ, но я не люблю состоять где бы то ни было.

Правда, я состоял в комсомоле, но поступил в него по воле отца (отец и этот вопрос решил за меня).

— Почему? Ты не согласен с его идеями? — спросил отец и посмотрел на меня, слегка прищурившись.

Прищуренные глаза означали для него испытующий взгляд.

— Почему же не согласен?

— Тогда в чем дело?

— Просто неохота. У меня и так ни на что нет времени.

— Для другого у тебя есть время. С избытком. На все хватает, кроме самого главного.

— Ну, если ты считаешь, что это самое главное. . .

— А как же иначе?

Я не стал возражать. Попытаться переспорить отца было так же тщетно, как тщетно полагать, что идущий навстречу поезд свернет в сторону, чтобы тебя не задеть. И потом, какая в этом надобность? Мне в известном смысле даже повезло: он избавил меня от необходимости поразмыслить над этим вопросом. Тем более что я действительно не имел ничего против комсомола. Я просто не думал над этой проблемой.

Кто-то сказал: если движешься вместе со всеми, тебе никогда никого не обогнать. Меня, однако, волновало другое: как бы так ухитриться, чтобы не двигаться вместе со всеми, чтобы не было надобности их обгонять? Ответ на первый взгляд предельно прост: тащиться позади. Да, но это лишь на первый взгляд. Ведь позади тоже тащится немало народу, — и за ним — тоже. В общем, позади гораздо многолюдней, чем впереди.

Над этим вопросом я задумывался часто, вертел его и так и этак. И вот к какому выводу пришел: надо юркнуть в сторону, завалиться в бурьян да отлежаться хорошенько в тиши. Пускай обгоняют друг друга кому охота или топчутся на месте, создавая видимость, что и у них по части километража дела обстоят неплохо.

Инженер, последняя птица в этой клетке, все еще не показывается. Уходит намного раньше, чем я, и возвращается задолго до того, как я прихожу домой. Окна его комнаты смотрят на улицу и вечерами всегда светятся. Может быть, он печатает фальшивые деньги, а может, решает кроссворды — только он совсем не высовывает носа из своей берлоги, а если высовывает, то в мое отсутствие.

И вот однажды в субботу мы с ним столкнулись у входа.

— Вы товарищ Павлов?

— А вы — товарищ Илиев?

Я почему-то представлял, что он старик, как и два других моих соседа, а он оказался моложе меня. Он был без пиджака, в одной рубашке и в брюках из жел-

то-зеленой ткани военного образца, хотя погода стояла прохладная. Смуглое мужественное лицо, открытый взгляд, волосы каштановые, роста среднего, особые приметы — никаких особых примет.

— Вы ведь журналист, — сказал Илиев. — Мне хотелось бы поговорить с вами.

— Заходите, когда вам удобно, — пробормотал я, надеясь, что это будет не скоро.

Однако он нагрянул ко мне в тот же вечер.

— Выпьете кофе? — спросил я, надеясь услышать: «Нет-нет, я после кофе не смогу уснуть. . .»

— С удовольствием.

Так что мы пили кофе, курили, а тем временем Илиев рассказывал мне о том, что недавно советские ученые разработали способ использования дыма, выбрасываемого из заводских труб, для получения из него азота.

— До настоящего времени предложение о фильтрации дыма у нас отклонялось — она требует очень дорогого оборудования. Но сама по себе очистка — очень прибыльное дело. Можно получить на миллионы левов азота, понимаете?

Что тут сложного, чтобы не понимать. Единственное, что мне непонятно, — почему своим дымом он забивает голову именно мне. Однако скоро и это прояснилось.

— Вопрос, как видите, интересен с двух точек зрения: с экономической и гуманной. И поскольку сегодня проблема загрязнения среды стоит очень остро, я хотел бы кое-что написать для вашей газеты.

Мне следовало бы сказать, что газета не моя и что упомянутая проблема, при всей ее остроте, меня не касается, так как я работаю в другом отделе, но вместо этого я отвечаю: да, разумеется, почему бы не написать, это же так интересно и прочее в этом роде. Словом, я всячески стараюсь его поддержать, только бы он поскорее ушел, но Илиев не обнаруживает такого желания, и мне приходится задавать свои идиотские вопросы:

— Ваши затеи, как видно, причинили вам неприятности? Я слышал, вам крупно не повезло.

Илиев смущенно смотрит мне в глаза. Его загорелые щеки слегка покраснели.

— Уволили. Но не только из-за моих «затей». — Он тянется к моим сигаретам, закуривает и говорит более непринужденно: — В сущности, мера была вполне уместна.

— Хотите сказать — заслужили наказание?

— Конечно. Видно, слишком уж круто я пошел вверх: инженер, главный инженер, директор комбината. Только вот когда я оказался на посту директора, на меня посыпалась такая пропасть вопросов, что я просто не знал за что хвататься. Наверно, так я устроен — не могу думать о многих вещах одновременно. Пока моя голова занята чем-то одним, другого я касаться не должен.

— У вас ведь были помощники. . .

— Они-то меня и погубили. Особенно постарался заместитель по экономической части.

— И вас сняли.

— Да. Может, знаний у меня как у специалиста достаточно, но что касается организации и управления. . . Уже после первой проверки все стало ясно.

— Вы, похоже, не склонны драматизировать события, — констатирую я с некоторым разочарованием.

— Драматизировать события? Это случается от нехватки воображения. Или когда человек находится в болезненном состоянии.

— Одним словом, «по мне, хоть трава не расти»?

Он окидывает меня быстрым взглядом, словно желая удостовериться, не разыгрываю ли я его.

— Я не то хотел сказать. Но раз уж вы упомянули о траве, должен заметить, что трава бывает разная: одна растет, другая — нет. Чахлая гибнет, здоровая идет в рост — что же тут драматизировать?

— Гибнет не только чахлая, — замечаю я просто так. — К примеру, той, что попадает под колеса, не позавидуешь, а та, что в укромном местечке, растет себе и растет.

— Ну, уж вы слишком углубляетесь в философскую сторону вопроса!

— А почему бы нет?

— Мы всегда чересчур углубляемся, и в этом наша беда. А после начинаем драматизировать: попал под колеса, стал жертвой. Это порождает фаталистов, нытиков, отсюда же начинается мания преследования.

— А вы, кажется, тоже немало над этим размышляли?

— Как, вероятно и вы.

— Вероятно. Но мне не свойствен ваш сугубо научный подход.

— Научный подход вас не должен раздражать. Без него не обойтись. Вся эта гамма, именуемая драматическими переживаниями, — душевные муки, печаль, апатия, страх, отчаяние — не что иное, как самые обычные, элементарные ненормальности происходящих в человеке физиологических процессов. Вы слышали про невромедиаторы?

— Нет.

— Все проще простого. Небольшой избыток или нехватка адреналина, норадреналина, дофамина, серотонина — и ваше самочувствие улучшается или, наоборот, возникает стресс, наступает депрессия.

— Пессимизм объясняется биологическими отклонениями. . .

— Именно. Как бы это ни казалось смешно.

— И все же ненормальности возникают не на пустом месте, а порождаются какими-то объективными факторами.

Он смотрит на меня с едва заметной усмешкой, словно потешаясь над моим невежеством.

— Простуду тоже порождает объективный фактор. Но вы же не станете доказывать, что это душевная драма, а поскорее примете аспирин.

— А существует аспирин от страха или апатии, или печали, например?

— Кое-что существует, кое-что — на стадии эксперимента. Придумают. . . Ученые для того и существуют, чтобы придумывать.

— Должно быть, и вы собираетесь чем-то таким нас порадовать? Уходите рано, возвращаетесь поздно. . .

Наверное, сам того не желая, я попал в точку, потому что он вдруг смутился, словно девица.

— Если вы полагаете, что я изобретаю аспирин от душевной боли, то должен вас разочаровать. Но кое-что я действительно делаю. Бьюсь над одной проблемой, которую пришлось было отложить. Хорошо, что уволили — это позволило мне снова к ней вернуться.

И он рассказал, что его интересует использование руд, более полное извлечение содержащихся в них компонентов, особенно тех, на которые до сих пор вообще не обращали внимания, например барита. (Будь он неладен, этот барит: из-за него Илиев может проторчать у меня еще целый час. . .)

— У вас, наверное, не очень много друзей? — спрашиваю я ни с того ни с сего.

— Почему вы так решили? — усмехается он. — У меня немало друзей. — И добавляет: — Бывших.

— По прежней работе?

— Да. И по прежней должности. . .

— И вас не мучает одиночество?

Он вроде бы колеблется, стоит отвечать на такой вопрос или не стоит. Потом произносит с безучастным видом:

— Бывают моменты, когда одиночество на пользу.

— Помогает вам уйти с головой в работу? Или работа помогает забыть одиночество?

— Не знаю, — сухо отвечает инженер. — Я над этим особенно не задумываюсь.

Судя по всему, я все же испортил ему настроение: он еще говорит о чем-то невнятно — кажется, о том, что ему необходимо собрать огромное количество материала, касающегося дыма, и вдруг исчезает, как тот самый дым.

Будь я завистливым, я позавидовал бы этому парню во всем. Кроме одиночества, потому как одиночеству я и сам не могу нарадоваться. Любить работу, настолько верить в себя. . . Хорошо, что я не завистлив.

Строго говоря, мне тоже не приходится жаловаться на свою работу. Во всяком случае, едва ли я способен заниматься чем-нибудь другим. Профессия мне досталась по родительской линии. Это не значит, что отец

силой навязал мне ее, нет. Я имел полную возможность, при моем упрямстве, остановиться на чем-нибудь другом. Однако мое упрямство проявилось в иной форме. Втайне я вознамерился посвятить себя не тому, чем занимался мой отец, а совсем другому, хотя и в рамках той же профессии.

Отец был журналист — известный журналист, по мнению матери. В действительности же, как я потом понял, ничего особенного он собою не представлял. Отец мог стать писателем, говорила мама, мог утереть нос многим бумагомаракам, но, вместо того чтобы сочинять всякие небылицы, предпочел служить людям. В данном случае она перефразировала отца, который однажды сказал как бы в шутку, что писатель занимается тем, что выдумывает историю, а журналист, будучи более скромным, всего лишь служит ей.

Он служил истории главным образом по линии экономической информации. В соответствии с квартальным, полугодовым и годовым планом в его обязанность входило подготовить определенное количество передовиц по определенным проблемам, а также написать определенное число очерков на соответствующие темы. Темы были известны заранее, но он этим не пользовался, вечно колесил по стране, радовался успехам, возмущался безобразиями и, когда рассказывал за обеденным столом, как он схлестнулся с таким-то руководителем такого-то предприятия, до того распалялся, что мать спешила его унять:

— Ну ладно, ты уже раз с ним поцапался! Зачем же снова кипятиться — чтобы остыл твой суп?

Дома, в семейном кругу, слова его звучали более просто и человечно, нежели в очерках. О чем бы ни шла в них речь — о порочной практике хозяйствования или, наоборот, о блестящих успехах, — перед глазами читателя мелькали захватанные фразы, шаблонные выражения, превращаясь в некое холодное, безвкусное желе. Эти очерки всегда начинались с общих установок и заканчивались призывами к трудовым подвигам, и, хотя речь в них шла о различных объектах, ни работающие на них люди, ни сами объекты не обретали зримых очертаний.

Рассказы отца были куда интереснее; они велись, как правило, за обедом или ужином, мать делала вид, что прилежно слушает, но на самом деле ждала удобного случая, чтобы вставить свое:

— Цеца нынче воротилась из Австрии. Такая нарядная, такая нарядная. . .

Отец машинально кивал головой. Цеца с ее нарядами едва ли его интересовала. Терпеливо выслушав и другие столь же волнующие местные новости, он продолжал рассказ о своих газетных делах, явно не интересующих мать. И если кто-нибудь слушал с одинаковым интересом и того и другого, так это я. Слушал и иногда даже включался в разговор:

— Нарядная!. . А дома ходит в таком замызганном халате, что смотреть тошно.

— А наш-то, оказывается, все мотает на ус. Любой огрех замечает, — говорит мама.

— Чужие огрехи все мы умеем замечать, — холодно отвечает отец.

Со мной он всегда бывал холоден. Я не хочу сказать, что он не любил меня. Скорее дело было в принципе. Отец весь был соткан из принципов.

— У некоторых моих друзей сыновья стали шалопаями только потому, что их баловали, — не раз говорил он, если мать почему-либо заступалась за меня. — Когда-то мой отец меня воспитывал подзатыльниками.

— За чем же дело стало? Давай и ты начинай с подзатыльников!

— Подзатыльники раздавать я не собираюсь, но и баловства не потерплю.

Он был суров со мной, но и я не оставался в долгу. Бывали моменты — во всяком случае, пока я был ребенком, — когда отец пытался со мной пошутить, протягивал руку, чтобы похлопать меня по плечу или погладить по голове, но это редко ему удавалось: я всегда старался увильнуть, и, хотя делал это так, чтобы не обидеть его, он со временем понял, что его заигрывания мне неприятны, и постепенно совсем замкнулся.

Я никогда не испытывал к нему ненависти. Чего не было, того не было. Мои чувства к отцу были чем-то средним между легкой неприязнью и холодной симпа-

тией. Симпатия возникла гораздо позже неприязни и длилась недолго. Потому что не успела она возникнуть, как он ушел навсегда.

Для меня у отца почти не оставалось времени, он всего себя подчинил служению истории, видимо довольный своим призванием и положением. Ему удалось дотянуться до кресла заведующего отделом, что вполне его устраивало, хотя мать прочила ему пост главного редактора. Это был весьма скромный человек, во всем любивший порядок. Он никак не мог привыкнуть носить галстук, и в тех случаях, когда появляться без галстука было нельзя, отец завязывал его таким невообразимым манером, что, казалось, из-под воротничка свисает какая-то веревка. . . Навыки соблюдения порядка он приобрел, вероятно, еще в молодые годы (немаловажную роль тут сыграл и хорошо разграфленный тюремный быт) и основательно закрепил их на поприще журналистики, сообразуясь с напряженным ритмом редакционной работы да и с расписанием поездов, если иметь в виду его постоянные разъезды.

Вечная зависимость от расписания поездов наложила свой отпечаток на весь наш семейный быт, где все, начиная с завтрака и кончая ужином, устанавливалось строго по часам. Порядок властвовал в доме и после смерти отца. Умер он рановато — я хочу сказать, незадолго до того, как я стал пожинать свои первые успехи, которые он встретил бы, наверное, с холодным одобрением. Умер совершенно неожиданно, схватив воспаление легких во время очередной командировки.

В дальнейшем, когда мне случалось вспоминать об отце, что, признаюсь, бывало не каждый день, я испытывал легкие угрызения, оттого что судил его слишком строго — прежде всего за его непомерную страсть к порядку и трафаретный стиль его газетных статей.

Кто-то сказал, что стиль — это человек, и, наверное, так оно и есть, но с годами начинаешь спрашивать себя, что же все-таки надо понимать под словом «стиль». Во всяком случае, едва ли только манеру выражать себя в письменной форме. Спору нет, моему отцу не хватало воображения — каждому из нас чего-то не

хватает, — зато у него в избытке было другое: сознание долга. Дали ему участок работы — и отец трудился на нем в меру своих сил вплоть до самой смерти. Это ведь тоже стиль.

Что же касается стиля изложения, то тут он действительно не отличался чрезмерной оригинальностью. Сам он, впрочем, этого не замечал, да и едва ли кто-нибудь другой говорил ему об этом. Один-единственный раз он позволил себе быть оригинальным, дав статью без обычной ретуши о каких-то безобразиях, и его наказали.

— Не понимаю, — говорил отец, как всегда во время обеда. — Все, что я написал, верно от первого до последнего слова. Я действительно не понимаю. . .

Оказывается, может быть что-то такое, чего и он не понимает. Он, которому все ясно.

В том, что ему все было ясно, тоже коренилась одна из причин моей неприязни к отцу. Я испытывал желание подловить его на ошибке, на противоречии самому себе. Это желание побуждало меня пристально следить за его рассуждениями, хотя сами по себе они были совсем не интересны.

Когда я учился в старших классах гимназии, отец, не сумев установить со мной более теплых отношений, явно поставил своей целью основать между нами нерушимый союз на почве интеллектуального общения: он не упускал случая поговорить о том, как обстоят дела здесь, на нашей планете, и несколько дальше — в космосе. Пока в один прекрасный день. . .

Как ни странно, память о случившемся не может выветриться из головы еще и потому, что тот день был насквозь пропитан пряными запахами перца и лаврового листа — мать готовила к обеду тушеную телятину.

— Ты сам себе противоречишь, — сказал я, с трудом подавляя ликующую дрожь в голосе. — Ты постоянно себе противоречишь.

— В чем я себе противоречу? — Отец изумленно смотрел на меня.

Возможно, его изумление вызвали не столько мои слова, сколько тон, каким они были сказаны.

— Ты ведь только что доказывал, что человеческий

разум — высший дар природы, вершина эволюции. . . Но, будь он на самом деле этой вершиной, ты бы уже лишился работы. Все те безобразия, о которых ты пишешь, — их же люди творят! Или вот в прошлом году, когда ты был наказан, — это ведь люди тебя наказали!

Отец продолжал глядеть в мою сторону, однако изумление уступило место какой-то кисловатой усмешке — ему вообще не свойственно было усмехаться, лишь правый уголок губ иногда чуть опускался вниз, но усмотреть в этом усмешку можно было лишь в том случае, если вы были «в курсе дела».

— Ну хорошо, — кивнул он. — Если человек не вершина, что же в таком случае представляешь собой ты? Третьего дня ты безо всяких причин разругался с теткой. Позавчера схватил двойку по алгебре. Деньги, которые мы дали тебе на плащ, потратил на транзистор. Надеюсь, ты не станешь возражать, если на основании всех этих фактов я назову тебя скандалистом, лентяем, лжецом и вообще ничтожеством? Разве можно из-за тех или иных безобразий, с которыми приходится сталкиваться, объявлять человечество безобразным?

Я возразил, конечно. Но и он возразил. Потом опять я. Затем он. Известно, что кошки и родители с любой высоты на спину не падают. . .

Уже по окончании гимназии я вторично уличил отца в непоследовательности. Только на сей раз мое воспоминание связано не с перцем и лавровым листом, а с ароматом ванили.

— Вы настолько уверены в своем оптимизме, что даже не пытаетесь его обосновать, — заметил я, погружая ложечку в лимонно-зеленый крем.

Разговор об оптимизме зашел, когда на стол подали третье, — другими словами, у меня появилась возможность наслаждаться сразу двумя десертами, интеллектуальным и кулинарным. Я все же надеялся, что первый окажется вкуснее второго, потому что мать и на этот раз положила в крем такое количество ванилина, что трудно было понять: лакомство перед тобой или лекарственный препарат.

— А какие обоснования тебе нужны? — спросил отец с добродушием, свойственным кошке, когда она затевает игру с мышонком.

— Всякие. Наше мировоззрение, если на то пошло, не оптимистично, а пессимистично в своей основе.

— Вот оно что? — все так же добродушно произнес отец. — И как же ты пришел к такому открытию?

— Зачем мне делать открытия! Это само собой разумеется: все, что имеет начало, имеет и конец. Люди, Земля, Солнечная система — все обречено на гибель.

— По прошествии миллионов лет. . .

— Сроки — это уже детали.

— Миллионов и миллиардов. . . Ничего себе детали!

— С философской точки зрения — это детали, — настаивал я. — Ты ведь речь ведешь об эволюции космоса, а не о годовых планах.

Он взглянул на меня с некоторым удивлением, точно так же, как бывало года два назад, когда я бросался в поединок с каким-то остервенением. Затем невозмутимо сказал:

— Представь себе, что ты входишь в неудобную, грязную, запущенную квартиру. «Я снял ее на время, — говоришь ты себе. — Какой мне резон убирать здесь, производить ремонт, создавать уют, если я через десять-двадцать лет перееду в другую. Так и быть, поживу в этом свинарнике!» Наш оптимизм покоится на убеждении, что человек может жить лучше на этой планете, ведь она — его дом в космосе. Что же тут несостоятельного?

— Опять мы не понимаем друг друга, — возражаю я, с трудом скрывая раздражение. — Ты рассуждаешь с практической точки зрения, а я пытаюсь взглянуть на вещи философски. Материализм как философия звучит пессимистично.

— Тогда почему же ты его принимаешь? — спросил отец.

— Откуда я знаю почему. . . Может быть, именно потому, что он пессимистичен. Когда тебе говорят что-то такое, в чем звучит пессимизм, ты меньше склонен думать, что тебя обманывают.

Не знаю, в какой мере я это сознавал в ту пору, но мне явно не терпелось превзойти своего отца. Мало сказать превзойти (в моем представлении он был слишком незначительной величиной, чтобы мериться с ним силами) — я стремился стать совершенно непохожим на этого человека с его скучными очерками. Я хотел доказать, что придумывать истории — это вовсе не значит «сочинять всякие небылицы», как выражалась моя мать, что истории могут быть правдивыми или звучать как правдивые, особенно если вести рассказ, не пользуясь словарем отца.

Конечно, поначалу я было задумал написать роман. Только роман — штука объемистая, не успеешь закончить первую главу, а весь твой азарт уже испарился. Так что я не спешил браться за перо. Но вот однажды я наткнулся в редакционной библиотеке на какой-то сборник киносценариев. Надо сказать, библиотека наша была основательно разворована, оставались в ней только книги, которые никому бы не приглянулись, среди них я и обнаружил этот сборник. Читая его просто ради того, чтобы понять, что же представляет собой эта великая тайна — сценарий, я установил нечто довольно любопытное. Неужели целый кинофильм можно создать на основе текста всего в пятьдесят-шестьдесят страниц? И при этом еще находятся чудаки, способные годами корпеть над романом? Нет, дудки, решил я, это не про меня.

Свой сценарий я посвятил одной стройке. Воспользовавшись командировкой, постарался собрать необходимый материал, чтобы получился впечатляющий фон, на котором будет развертываться действие. В диком ущелье руками строителей создается водохранилище. Ведущая идея, естественно, — борьба нового со старым, глубокие перемены в быту и в морали. Как под действием взрывчатки вздымаются и оползают земные пласты, так отторгаются и сходят на нет старые наслоения в сознании людей. Словом, процесс строительства должен стать наглядной иллюстрацией процесса перестройки в душах героев.

Что касается самого сюжета, я его выносил еще до командировки. В работницу столовой влюбляется мо-

лодой инженер. Но в нее влюблен и руководитель одной из бригад. Вначале она вроде бы склонна отдать предпочтение бригадиру, но постепенно ее очаровывает инженер. Он так чуднò выражается, рассказывает такие диковинные истории, и, кроме того, он не так груб в обращении, как рабочий. Девушка ведет себя не очень определенно, и в обстановке этой неопределенности между двумя соперниками вспыхивает ссора, а затем и драка.

Девушка внезапно исчезает, а через два дня снова появляется на стройке — но не одна, а с сынишкой. Оказывается, она была замужем, развелась и осталась с ребенком.

Красавица, ничего не скажешь, однако с ребенком. . . Территория вокруг красавицы пустеет. Каждый из соперников борется со своими предрассудками. С пережитками прошлого.

Боролся и я. Но не с пережитками, а с возможными вариантами драмы. История могла закончиться так: территория опустела и судьба героини решится когда-нибудь потом, в будущем. Но это значило бы, что победило старое. Могло быть и такое: оба соперника справляются наконец со своими колебаниями, однако молодая женщина, разочаровавшись в их мещанской психологии, отворачивается от обоих. Можно было сделать и так: к ней возвращается один из них. Но кто?

Лично я предпочел бы, чтоб это был инженер. Мне он нравился, был в чем-то близок, характер его был для меня более ясным. Но тогда получилось бы, что интеллигента я ставлю выше рабочего. Да и фальши не избежать: ведь простой человек скорее плюнет на предрассудки, чем интеллигент.

Так что побеждает все-таки рабочий, и победа эта счастливо совпадает с завершением строительства объекта. Все складывается прекрасно. Настолько прекрасно, что меня сразу стали одолевать сомнения, не слишком ли шаблонно я это сделал. Однако закравшееся было сомнение оттеснила простая мысль, что остальное — дело режиссера, он и позаботится о том, чтобы найти решение пооригинальней, используя визуальные решения — краны там и все прочее.

Я отнес свое детище в сценарную комиссию, полагая, что редактор усадит меня в кресло, предложит кофе и тут же погрузится в чтение рукописи. Чтобы ознакомиться с ней, потребовалось бы менее двух часов.

Вместо этого встретившая меня секретарша бросила безразличный взгляд на аккуратно подписанную канцелярскую папку, потребовала, чтобы я написал сверху свой адрес и номер телефона, и уведомила меня, что при необходимости со мной свяжутся.

Разумеется, связываться со мной никто не стал. Я сам решил связаться. Позвонил раз-другой, и мне было сказано, что ответ пока не готов — до моего сценария не дошла очередь. Много месяцев спустя, когда в каком-то разговоре с замглавного я упомянул об истории с моим сценарием, он вдруг захохотал:

— Жди у моря погоды! Да они по горло завалены рукописями. Ты должен родить шедевр, чтобы тебя стали разыскивать. А кто начинает с шедевров?

— В таком случае вообще невозможно пробиться. . .

— Все возможно, только надо знать как.

Он поднял трубку, набрал номер. Затем последовали дружеские восклицания типа: где ты пропадал, тезка, почему не даешь о себе знать, — после чего было упомянуто мое имя и название сценария, о котором замглавного справился у меня при помощи выразительной мимики.

— «Новые горизонты». . . — прошептал я.

— «Новые горизонты». Словом, проверь, будь добр, куда они его засунули, надо помочь человеку. . . Наш самый крепкий очеркист. . .

При этих словах он хитро подмигнул мне, что могло означать: «Видал, как я его охмуряю, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки».

Когда двумя днями позже редактор принял меня в своем маленьком кабинете, я смог убедиться, что кресла там нет и кофе не предлагают. Во всяком случае, мне не поднесли.

У редактора, сидящего за обшарпанным столом, был добродушный вид. А может, такой вид придавала ему полнота — толстяки, как вы могли заметить, зачастую кажутся добродушными, вероятно потому, что у них не

заметны морщины. Было, однако, заметно, что редактор только что подстригся — об этом свидетельствовал тяжелый дух парикмахерского одеколона, наполнявший комнату.

— Сценарий написан вполне сносно, — сказал редактор, постукивая толстыми пальцами по моей папке со сценарием. — Я хочу сказать, вполне сносно для начинающего.

После этого он тут же перешел к критическим замечаниям. Их набралось много, и каждое в отдельности было достаточно веским, чтобы поставить на мне крест.

— И весь этот ваш конфликт настолько шаблонный, что просто скулы сводит

Я убито сидел на стуле, расшатанном сотнями других дебютантов, спрашивая себя, зачем я, в сущности, сижу здесь и выслушиваю такие неприятные оценки вместо того чтобы взять шляпу и уйти. Вероятно, я так бы и сделал, если бы редактор не сменил пластинку:

— Ваша ошибка в том, что вы сразу взвалили на себя непосильную задачу. Надо было попробовать свои силы на чем-то более простом. У вас есть чувство конкретности. Обстановка, фон даны прилично, они подсказывают визуальные решения. Почему бы для начала не попробовать себя на документалистике? Им там нужны молодые авторы, я тут как-то даже упомянул о вас. и, надо полагать, они что-нибудь вам предложат.

Он устремил на меня вопросительный взгляд, но я не был готов к ответу: в столь стремительном падении с высоты художественной кинематографии я временно утратил ориентацию

Не сумев ничего прочесть на моем лице, редактор перенес взгляд на свои часы, которые, видимо, напомнили ему, что зря он теряет драгоценное время с каким-то непонятным типом.

— «Новые горизонты». . . — бормотал он с нескрываемым чувством досады. — Уже само название звучит достаточно знакомо. Да и все остальное бесконечно знакомо. Конфликты-схемы, люди-схемы. . . Одним сло-

вом, вариации читанного и слышанного. Ну ладно, оставим это, но как вам удалось отобрать все самое безликое, самое пошлое?. .

Теперь он, похоже, обращался не только ко мне, но и к целой толпе бездарностей, осаждавших его, отравлявших ему жизнь. Он словно забыл о том, что эти бездарности обеспечивали ему пропитание; ведь если бы в редакцию поступали только шедевры, наверняка можно было бы обходиться без редакторов.

— Обратитесь к живой жизни, оттолкнитесь от конкретных фактов, — развивал он генеральную мысль. — Словом, начните с документалистики.

Он опять воззрился на меня, и я только теперь сообразил, что до сих пор не сказал ни единого слова и что ради приличия полагалось бы сказать хоть что-то.

— Может, и начну. . . — неуверенно промямлил я.

— О, вот это другое дело, — довольно кивнул редактор, которому я предоставлял наконец возможность распрощаться со мной.

Он встал, в три шага пересек кабинет и открыл дверь чуланчика, где помещалась секретарша.

— Мария, узнай, пожалуйста, на месте ли Гаврилов.

Так что пять минут спустя я шагал к студии документальных фильмов, к упомянутому Гаврилову. Путь был неблизкий, и если бы на улице стояла жара или было слишком холодно, я бы поленился его преодолеть. Но было не холодно и не жарко, а так, прохладно, после табачного дыма и тяжелого духа парикмахерского одеколона осенний ветерок действовал на меня, словно бодрящий напиток, и я потащился к документалистике, от которой ничего особенного не ждал. Да и она не ждала меня.

— Вы уже второй, кого наш общий друг сегодня ко мне присылает, — досадливо вздохнул Гаврилов, когда я ему объяснил, откуда я. — А ведь он отлично знает, что план у нас еще не утрясен.

Даже не успев присесть, я хотел повернуться и уйти, но сидящий за столом все с тем же выражением досады сделал мне знак остаться.

— Да вы садитесь. . . Раз уж пришли. . .

Почему бы не сесть. От него по крайней мере не разит парикмахерской.

— Тем у нас навалом. Значит, нужны и авторы. Но беда в том, что, как я уже сказал, еще не уточнен наш план. Вы вроде бы по строительной тематике?

Я кивнул, хотя и не был особенно уверен, что могу специализироваться на строительной тематике.

— Подберу для вас что-нибудь, но не сейчас. После одобрения плана.

Я снова кивнул и стал подниматься со стула.

Он опять досадливо махнул рукой: погодите.

— Прежде чем поручить вам что-то самостоятельное, я должен проверить ваши возможности. Мог бы предложить вам принять участие в одной коллективной работе. Ваш соавтор, если не ошибаюсь, где-то в тех комнатах.

Прежде чем я успел согласиться или отказаться, Гаврилов велел секретарше связать меня с упомянутым соавтором. Он сидел в пустой канцелярии, с сигаретой во рту, уставившись хмурым взглядом в вечернюю газету.

— Когда я получу аванс? — спрашивает соавтор у секретарши.

— Пока не представите рукопись, не получите аванс, — отвечает она. И добавляет: — Вот вам подкрепление.

Лишь после этих слов он рассеянно смотрит на меня и, проводив взглядом бедра удаляющейся секретарши, бормочет:

— Ну и хрен с вами. . .

— Что-что? — обернулась секретарша.

— Ты читала Кафку?

— Я Кафку не читаю.

— Чему удивляться, — кивает он, почти довольный. — Зачем тебе его читать, если у вас совсем как у Кафки. Можно обивать пороги до посинения. . .

Но женщина, похоже, привыкла к его сетованию, потому что, не слушая его, исчезает за дверью.

— У вас есть какие-нибудь идеи? — спросил соавтор, когда мы остались одни.

— Не имею понятия, о чем, собственно, идет речь.

Не обратив внимания на мой ответ, он пустился в рассуждения, беседуя как бы сам с собой.

— Я привык обходиться малостью. Но для этих бюрократов что малость, что ноль — все едино. А за комнату платить надо, даже если ты ее делишь с другим. И похлебка в столовке, как бы ни была невкусна, стоит денег. — Он снова вспоминает о моем присутствии. — А вы читали Кафку?

— Боюсь, что нет.

— Чего бояться? Я и сам его не читал. Понимаете, у меня какая беда: не могу читать. Если это дрянь, зачем читать? Если попадется что-нибудь умное, то первый же абзац заставляет меня задуматься. А как задумаюсь, забываю про книгу.

Я и сам, задумавшись, начинаю понимать, что с этим чокнутым ничего у меня не получится. Однако он тут же поймал мою мысль. Потом я понял, что у него особый дар — улавливать твою мысль, если он вообще обратит на тебя внимание.

— Значит, вы даже понятия не имеете, о чем речь?

— Понятия не имею.

— Что ж, ладно. Речь пойдет о никотине. Надо сделать фильм о вреде курения — может, перепадет лев-другой на сигареты.

При этих словах он бросил на пол окурок и небрежно растоптал его. Потом снова поднял глаза:

— Ну, теперь у вас родились идеи?

— Я ничего не смыслю в вопросах воздержания.

— Я тоже. Более того, воздержание и я — вещи несовместимые. Но мне это вовсе не мешает иметь в голове идеи. Миллион идей.

После этого соавтор позволил себе перевести разговор в несколько иную плоскость. Раз у меня отсутствуют какие-либо идеи, то не располагаю ли я хотя бы малостью того, что начисто у него самого отсутствует. Я сообщил ему, что у меня есть двадцать левов, и он заметил, что этого вполне достаточно, чтобы перенести нашу беседу в другое место.

С наступлением темноты мы очутились в забегаловке на бульваре Дондукова. В заведении было шумно и страшно накурено, что для моего соавтора послу-

жило поводом уже после второй рюмки вернуться к затронутой теме:

— Вот видите — все курят напропалую. Некоторые делают две затяжки подряд, чтобы покрепче забрало. Другие так затягиваются, что до самых пяток пронимает. Курят и здесь, и на улице, и в парках, куда идут подышать свежим воздухом. Курильщики, вот они — мужчины и женщины, парни и девушки, даже дети по подворотням дымят: вот вам серия кадров, которые должны озадачить зрителя.

Мой соавтор показал официанту жестом: «еще по одной», смачно затянулся сигаретой и стал мне разъяснять:

— В кино все говорит кадр, картина. Таким образом, показывая картины, вы внушаете человеку, сидящему в зрительном зале, что масса народу курит. А по скольку сигарет выкуривают в день? Много. Страшно много. Но и это надо втолковать, показывая картины. Каким образом?

Он смотрит на меня, словно ждет ответа.

Официант принес водку. Прежде чем притронуться к рюмке соавтор вынимает из коробка сигарету и, показывая ее мне, спрашивает:

— Какова длина?

— Вероятно, сантиметров пять.

— Семь. Ровно. Я измерял. А сколько сигарет курильщик выкуривает в день?

— Я — около тридцати.

— Прекрасно. Тридцать сигарет по семь сантиметров умножить на тридцать дней, потом — на двенадцать месяцев, а потом на тридцать лет. . . Вы представляете, сколько метров все это даст? Сделайте этот простой подсчет перед зрителем. Покажите все это в движении: пусть стремительно движется экспресс, пусть навстречу нам летят стальные рельсы, пока вы подсчитываете в метрах и километрах длину фантастической сигареты, которую курильщик выкуривает за тридцать лет жизни.

При этих словах он подносит к новой сигарете догорающий окурок, затем растаптывает его под столом и с мрачным видом пропускает глоток водки.

— А в объеме? Покажите, как машина выстреливает сигареты пачку за пачкой. Покажите, как пачки укладывают в ящики, как ящики громоздят один на другой, все выше и выше — целая гора ящиков, миллион сигарет, тридцатилетняя норма курильщика.

Он смотрит на меня все с тем же мрачным видом и предлагает новый вопрос:

— А какова цена этого удовольствия? Автомашина «москвич» плюс полная обстановка квартиры. Покажите эту цену предметно. На обывателя это производит впечатление. Пусть люди видят, какие красивые вещи курильщик превращает в дым. А цена в другом смысле? Пускай об этом скажет врач-специалист. Возьмите у него небольшое интервью о раке легких. . .

Он отпивает еще глоток и вдруг срашивает:

— Вы лично почему курите?

— Так ведь. . . — запнулся я.

— Не знаете? Вы над этим не задумывались. У вас нет готового ответа. Покажите, что так обстоит дело и с другими глупцами, которые курят вокруг. Импровизированное интервью на улице, на вокзале, где угодно. Почему вы курите? — Откуда я знаю. . . потому что другие курят, говорит один. Вам курение доставляет удовольствие? — Нет, но если я не покурю, я места себе не нахожу, отвечает другой. Что вам принесло курение? — Бронхиальную астму, признается третий.

Соавтор продолжает развивать свою идею вплоть до четвертой рюмки:

— У меня принято строго предостерегать об опасностях: крутой поворот, высокое напряжение, огнеопасно. . . А сигареты рекламируются. Покажите поток броской западной рекламы: красотки щурятся от удовольствия, потягивая «Пелл-мелл», супермены в ковбойских костюмах раскуривают «Уинстон». А затем продемонстрируйте, как должно быть — на коробке сигарет надпись: «Внимание, яд!»

— Ваш сценарий готов, — объявляю я. — Мне непонятно, чем я могу быть вам полезен.

— Как чем? Его же надо написать. — И, не дав мне возразить, он продолжает: — Не то, что я совсем

не могу излагать свои мысли на бумаге. Делал это не раз, но получается не блестяще. Набор мыслей. Если даешь набор слов, это почему-то никого не раздражает, но если набор мыслей, люди морщатся. К чему такое нагромождение мыслей, удивляются они. Почему отсутствует путеводная нить? Мысли! На фига им разрозненные мысли! Им подавай текст, да чтоб он был как можно более ясным и непременно в виде стандартных страниц: на каждой столько-то строк и столько-то знаков в строке. . .

Так что пришлось мне писать сценарий, хотя и по его подсказкам. Когда же сценарий был готов, соавтор даже не стал его смотреть.

— Меня он уже не интересует. Сейчас я думаю о другом.

Получив деньги, я отсчитал ему половину, но он завертел головой:

— Нет, столько я не возьму.

— Да тебе больше полагается, — сказал я.

— Глупости. Идеи в этом мире не оплачиваются. Платят за машинописный текст, при условии, что страницы стандартные: на каждой столько-то строк и столько-то знаков в строке.

— Если идея не выражена в письменной форме, какой от нее прок?

— Вот именно. А потому возьми себе три четверти.

В конце концов после долгих увещаний он соглашается принять от меня треть суммы. Потом говорит:

— Кстати, что касается письменной формы, ты читал книги Диогена и Антистена?

— Нет.

— И не сможешь прочитать. Потому что их не существует. А вот идеи их помнят и сегодня.

Тут-то я и сообразил, что мыслитель Петко Пеев принадлежит к древней школе циников. Но потребовалось немало времени, чтобы я понял, что с этим человеком все обстоит не так просто.

Глава четвертая

Ночь темна и всеобъемлюща, и в луче света от неонового фонаря видно не много: слева — таможня, справа — будка пограничного контроля, а посередине — старый «москвич».

Картина, четко вырисовывающаяся в моей памяти, ясна и достоверна, словно фотография. Как и последующие кадры: движение по шоссе между двумя пограничными шлагбаумами, внезапно возникший незнакомый город, банк, призрачно-белый в свете неона бар и желтый блеск пограничных указателей.

А затем чередуются картины менее ясные, размытые — будто лента основательно стерлась от долгого употребления: стремительно несущийся «порше», три незнакомца, метнувшиеся в проход, портфель, брошенный в темные кусты. . .

Разные снимки, разная четкость изображения. И все потому, что история, якобы произошедшая на границе, вобрала в себя две другие, действительно имевшие место. Два случая соединились, образовав правдоподобную небылицу.

Один — это моя первая и единственная поездка «за рубеж», когда Главный решил отправиться в Вену на какую-то конференцию не иначе как на машине и великодушно согласился взять меня в качестве шофера и мальчика на побегушках.

Надо сказать, что зрительные мои впечатления от этой поездки вполне достоверны, и единственное, что я вымарал, — это присутствие шефа, маячившего на переднем сиденье справа от меня. Да и как не вымарать — совершенно не интересный человек, совершенно неуместный при новом развитии событий, возникшем у меня в голове.

Мне не довелось быть свидетелем другого случая, но и он вполне достоверен, если верить газетам. Бросившееся в глаза коротенькое сообщение: бандиты ограбили какой-то австрийский банк, но были задержаны у самой границы, — задержали их не потому, что они ограбили банк, а потому, что в документах на машину обнаружилась какая-то неточность. Гангстеры

попытались бежать, завязалась перестрелка и лишь на следующий день были обнаружены деньги в портфеле, брошенном в придорожном кустарнике. Пустяковая заметка, которую я бегло просмотрел и тут же забыл.

Но мне только казалось, что я забыл, — на самом деле где-то она все-таки задержалась в моей памяти вместе с воспоминаниями о той давнишней поездке. И вот из двух реальных историй образовалась небылица — аспирин от душевной боли, как сказал бы мой сосед-инженер, безобидное лекарство, к которому я прибегал, когда мною овладевало неукротимое желание исчезнуть, потонуть в неизвестности, провалиться в тартарары.

Это была не мечта, а некое подобие мечты. Подлинная мечта — это что-то сильное, подразумевающее напряжение воли: в моей же «мечте» можно было обнаружить всего лишь желание. В ней не ощущалось властного «я хочу» или «я жажду», в ней слышалось лениво «хорошо бы. . .»

Сложившуюся небылицу я некоторое время довольно старательно обрабатывал. Чуть только Бистра, испытывая денежные затруднения, начинала есть меня поедом или Главный устраивал мне выволочку, как я уже мчался в машине по дорогам Австрии и в ногах у меня переваливался с боку на бок портфель с долларами. Я вплетал в историю новые подробности, придумывал детали, чтобы она казалась реальной. Словом, продолжал работать над нею.

И чем больше я работал, тем более четким становилось ощущение, что небылица как бы растворяется, становится размытой и туманной. Все представлялось мне достаточно ярко и живо до тех пор, пока я обзаводился иностранным паспортом, но в дальнейшем, когда только и оставалось что наслаждаться достигнутым успехом, картины делались вялыми, неинтересными.

И все потому, что никакой мечты во все этом не было. Это было всего лишь зрительное преображение порыва бежать. От кого? От себя, естественно. В конечном счете мы всегда бежим сами от себя. И если я испытывал желание сбежать от занудства Бистры или

кого-нибудь другого, вряд ли надо было забираться так далеко, в Альпы. Достаточно было разлечься в каком-нибудь заросшем бурьяном сельском дворе, уставиться взглядом в высокую синюю бездну и думать над тем, что бы случилось, если бы вдруг исчезло земное притяжение и я начал падать, падать, падать в эту беспредельную лазурь.

Когда-то, в то хаотичное время, когда я был подростком, меня жутко пугали мечты — казалось, от них можно свихнуться. Потом я стал относиться к ним с некоторой долей презрения, ибо понял, что даже самому последнему дураку свойственно мечтать. И наконец мечты перестали меня занимать, я больше не мечтаю даже просто так, чтобы убить время, и лишь изредка, как бывший курильщик видит себя с сигаретой в зубах, я вижу себя таким — мчащимся в своем старом, давно проданном «москвиче» по дорогам Австрии, с портфелем, набитым долларами, и с чувством облегчения: наконец-то я избавился от всего, исчез, испарился.

— Очень мило, что вспомнил обо мне, — слышу я голос Бебы в телефонной трубке. — Только сегодня и завтра я не могу. Мы тут договорились покартежничать, и мне не хотелось бы подвести остальных. Что ты скажешь насчет послезавтра?

— Ну что ж, отлично.

— Только не так, как прошлый раз. Ты возьмешь билеты на концерт.

— А может, лучше пойти в ресторан?

Тут Беба спешит обрадовать меня: оказывается, одно не исключает другого, она жаждет попасть на этот концерт — должна исполняться какая-то там симфония Моцарта, кажется соль минор, — и мне остается уступить: не все ли равно, где маяться, на концерте или где-нибудь еще.

Послезавтра — пятница, я уже позаботился о билетах, и около пяти звоню из редакции Бебе, как условились. Но вместо одобрительного возгласа слышу вдруг:

— Мне не верилось, что ты возьмешь билеты. И лучше бы ты их не брал. . .

— В чем дело? Что еще стряслось? — спрашиваю с некоторым раздражением, потому что в этот момент появляется Янков с какой-то женщиной и настойчиво делает мне знаки, словно не замечает, что я говорю по телефону.

— На минуту, Антон. . . — произносит Янков.

А тем временем в трубке стрекочет голос Бебы:

— Тут ко мне гости нагрянули, не тащить же их с собой, так что. . .

— Так что мне одному идти на концерт? — заключаю я и оборачиваюсь к Янкову: — Что такое?

— С кем ты там? — слышится голос Бебы.

— Я же тут не один, из редакции звоню, — отвечаю я и снова смотрю на Янкова.

— Ты хоть назови номер, — просит он.

— Какой еще номер?

— Ну, твой адрес. Номер дома.

— Тридцать шесть, разве не помнишь. . .

— В такую игру я не играла, — тут же отзывается Беба. — В двадцать одно — изволь, это и дети знают, но в тридцать шесть. . .

— Значит, оставила меня с носом? — спрашиваю я, когда Янков наконец убрался.

— Наоборот, облегчила тебе жизнь. Приходи прямо домой.

— Приду, — коротко отвечаю я и кладу трубку.

В конце концов, не жена она мне, чтобы отчитываться перед ней. Удивила меня своими гостями. Их, конечно же, трое. Чтобы составить партию в покер. А когда Беба стоит перед выбором, такой вот квартет или какая-то там симфония. . . Бедный Моцарт.

И бедный Тони. Потому что на концерт придется идти одному, никуда не денешься. Если уж я впрягаюсь в какое-то дело, тяну лямку до конца, как бы ни было неприятно. И тем лучше. Нарушить самоизоляцию даже на короткое время — после этого она становится еще более желанной.

Обстановка в зале «Болгария» хорошо знакома. Уж если ты был женат на Бистре, ты не можешь не знать

все эти места, куда люди стекаются наслаждаться искусством или закалять свою скуку. Вопреки моим ожиданиям от любителей серьезной музыки стены ломятся, и я вдруг испытываю знакомый еще с детства смутный страх перед многочисленной толпой и атавистическое желание вскочить и, расчищая себе путь локтями, броситься к спасительному выходу.

К счастью, мое место у самого прохода, а кресло справа не занято, так как оно предназначалось для Бебы. Так легче дышится. Вот я и дышу в меру своих возможностей и в меру возможностей стараюсь не двигаться, не кашлять и не столько слушать звуки оркестра, сколько лениво следить за отрывочными мыслями, проплывающими в тумане моей головы.

Иными словами, испытание вполне терпимое, по крайней мере до антракта. Но когда я возвращаюсь в зал после укрепляющей дозы табачного дыма, оказывается, что место рядом со мной заняла какая-то женщина, не Беба.

Эта «Беба» выше ростом и покрупней, одета более безвкусно и держится более бесцеремонно — она не только водрузила руку на подлокотник моего кресла, но, листая программу, то и дело непринужденно подталкивает меня локтем.

— Если я мешаю, вы не стесняйтесь, скажите, — советую я ей вполголоса.

Поначалу женщина смотрит на меня с улыбкой, полагая, что я шучу, но выражение лица ее тотчас меняется:

— Извините.

Незнакомка чуть отстраняет руку, совсем немного, и, очевидно, чтобы отступить достойно, бросает:

— Я тоже платила за место.

— Не за это.

— А вы откуда знаете?

Вместо ответа я достаю из кармана неиспользованный билет и небрежно показываю его.

— Хорошо, хорошо, я освобожу вам место, раз вы привыкли сидеть на двух стульях.

— Я не настаиваю, — бормочу я, видя, что она и в самом деле собралась уходить.

Собралась, однако после короткого колебания снова опускается в кресло, поскольку проход заполнила возвращающаяся из фойе публика.

Женщина больше не кажется бесцеремонной, она вся как-то сникла в кресле, и мне становится немного стыдно за свое поведение, я уже испытываю чувство жалости к этому грубоватому существу, которое явилось на концерт, конечно, не затем, чтобы блеснуть своим туалетом, потому что блистать ей просто нечем.

Дело не в том, что я привык сидеть на двух стульях, — просто у меня, как говорят, комплекс: я боюсь, что меня задавит толпа; с тех пор как начал посещать концерты, я брал билеты на три места — среднее для себя, а остальные два — для комплекса. И только потом сообразил, что для комплекса вполне достаточно одного кресла, если я буду сидеть у прохода.

Это объяснение я, естественно, произношу не вслух: пока я раздумывал, симфония началась. Неловко ведь переговариваться, когда с одной стороны тебя заглушает оркестр, а с другой на тебя шикают.

«Вы, конечно, подумаете: тоже мне, аристократ, привык, видите ли, сидеть одновременно на двух стульях — продолжаю я свой безмолвный монолог. — Но согласитесь, подобные привычки — не от хорошей жизни: очень скоро рискуешь оказаться между двумя стульями. Следовательно, я иду на риск, и уже одно это должно убедить вас, что тут никакой не аристократизм, а обыкновенный комплекс. Знаю я ваш комплекс, возразите вы, имя его — Беба. Пусть будет по-вашему, но согласитесь, что вы не Беба. И хотя ваша внешность тоже внушает уважение, может быть, даже более глубокое, все же между вами и Бебой существует определенная разница. . .»

Вот так, приплетая одну нелепицу к другой, я отвлекаюсь, отдаляюсь от грохота инструментов, а заодно и от своей соседки, хотя сей монолог, по крайней мере вначале, был обращен к ней.

Аплодисменты заставляют меня очнуться, и первая моя мысль — поскорее добраться до гардероба, а вторая — отправиться к Бебе, так как уже почти десять.

На исходе сентябрь, и ночи уже не только холодные,

но и мокрые. В ореолах уличных фонарей сеется мелкий дождик, подгоняемый порывами ветра, и я ускоряю шаг, но уже на углу какая-то неприятная мысль побуждает меня остановиться и зайти в первый попавшийся телефон-автомат.

— Я полагаю, гости все еще у тебя?

— Что поделаешь. . . — мнется Беба.

— Бистра, Жорж и кто еще?

— До чего же ты мнительный. . . Ну хорошо, приходи через час. К тому времени я их спроважу.

— Может, уж лучше завтра?

— Да ну тебя. . . Ладно, давай завтра. Прямо к восьми.

Ну конечно, Бистра с Жоржем. Надо было мне раньше сообразить. Я не имею ничего против своей бывшей жены, но после пяти лет созерцания ее физиономии мне вроде полагалось бы иметь какой-то роздых.

Конец сентября похож на зиму. Капризы природы, как гласит наша газетная рубрика. Ветер гонит по пустынной улице Раковского отдельных прохожих. Лишь у входа в ресторан «Будапешт», как обычно в этот час, царит оживление. Посетители закрывшихся окрестных кабачков жаждут войти, чтобы допить недопитое. Мыслимо ли вернуться домой, не надравшись как следует. . .

Приблизившись к дому, я вижу, что из парадного выходит какая-то женщина. Значит, у нас и женщины появились.

Незнакомка останавливается у самой двери, словно раздумывая, куда ей податься.

— Он меня прогнал, — сообщает она, когда я подхожу ближе.

— Кто? — коротко спрашиваю я и останавливаюсь: незнакомка — та самая женщина. что сидела со мной в концертном зале.

— Ваш сосед.

«Какой сосед?» — следовало бы спросить дальше, однако это меня совершенно не интересует, и я бормочу:

— Весьма сожалею, но за соседей я не отвечаю.

Я уже готов пройти мимо, но тут она произносит

совсем иным тоном, неожиданным для ее низкого хрипловатого голоса, почти просительно:

— Я бы хотела поговорить с вами. . .

— Так говорите. . . Я слушаю.

— Прямо здесь?

— А чем здесь плохо?

— Холодно. . .

Только теперь я замечаю, что женщина даже без плаща и туалет ее — если этот термин не воспринимать иронически, — никак не подходит для дождливой погоды.

— Вы не боитесь зайти к совершенно незнакомому мужчине? — спрашиваю я, доставая из кармана ключ.

— Мне сейчас не до страхов, — уныло отвечает она. Подумав, добавляет: — И обижаться на ваши шуточки тоже не приходится.

— Входите, — говорю я ей, открывая дверь. — И будьте осторожны, не сломайте себе ногу.

Теперь, когда она стоит посреди комнаты, в свете маленького абажура, я могу разглядеть ее получше.

Что касается абажура, то он достался мне в наследство от Жоржа: он очень напоминает верхнюю часть плевательницы, вероятно, украденной в каком-нибудь учреждении. Давно пора было заменить его чем-то более приличным, но Жорж запамятовал взять за плевательницу деньги, следовательно, это был как бы подарок, а подарки не принято выбрасывать.

Вид у женщины внушительный и в то же время жалкий, если эти понятия совместимы. Внушительной ее делает крупная фигура, а жалкой — мокрое летнее платье, неловкая поза и унылое выражение лица.

— Садитесь же.

Она нерешительно смотрит на предложенный стул и так же нерешительно садится. Стул слегка скрипит, но не разваливается. Можно было бы предложить ей другой, но тот еще менее надежен, так что я берегу его для себя.

Говорите же! — мысленно тороплю я, но женщина явно робеет, и я, в ожидании, пока она освоится, предлагаю ей сигареты.

— Я было решила не курить больше, — бормочет она, беря сигарету из пачки.

Чтобы не отощать, — думаю я и предупредительно щелкаю зажигалкой.

Нельзя сказать, что женщина толстая, но худоба ей уж никак не грозит.

— Для меня теперь и сигареты роскошь, — поясняет она равнодушно, сделав глубокую затяжку. — О квартире и говорить нечего. А тут он взял да и прогнал меня.

— Кто вас прогнал?

— Димов.

— А чем он вам обязан, Димов?

— Ничем. Не считая того, что он мой отец.

— Насколько мне известно, у него нет детей, — говорю я после короткой паузы.

— Выходит, так, — соглашается она. — Впрочем, история эта немного запутана. . .

— Только немного?

— Вы, верно, знаете — он сидел. И я родилась именно тогда, а моя мать отреклась от него и получила развод. Так что вообще-то я его никогда не видела, и он меня — тоже.

— И все же он знал о вас.

— Знал, но вот видите — прогнал.

Наступает новая пауза. И у меня есть возможность мысленно задать вопрос: ну хорошо, а какое я имею отношение ко всему этому?

— Грубый поступок, ничего не скажешь, — признаю я. — И не вполне объяснимый. После того как вы четверть века о нем не вспоминали. . .

— Больше чем четверть века, — уточняет она в порыве откровенности. — Но я ведь не подозревала, что он здесь, в этом городе. . . Мне говорили, он где-то исчез в провинции, а после умер. . . Да я так и думала, иначе ведь рано или поздно он бы меня разыскал. . .

— Это не обязательно. . . — бормочу я. — И как вы узнали, что он жив?

— Да по газете. Мне совершенно случайно попал в руки какой-то старый номер вашей газеты с его статьей. . .

— С интервью?

— Не знаю, но я вдруг увидела его имя: Радко Димов. Не какой-нибудь там Иван Драганов, а именно Радко Димов. И сразу же приехала в редакцию. Неужто вы меня не помните?

— Не приметил, — сознаюсь я, догадываясь, что это, должно быть, та самая женщина, которую таскал за собой Янков. — Хотя, конечно, неприметной вас не назовешь.

— Случайно я поняла по вашему разговору, что вы собираетесь на концерт. А когда я пришла сюда и узнала, что Димова нет дома, я сказала себе: эх, была не была, подамся к «Болгарии», а вдруг тот журналист мне поможет. Там у меня оказались знакомые, они ткнули меня в последний ряд, а когда я заметила свободное место около вас, то увидела в этом добрый знак и после антракта подсела к вам, а вы давай меня распекать.

Она даже не подозревает, как ей повезло, что я ее отчитал. Если бы не это, я бы не чувствовал себя виноватым. А не чувствуй я себя немного виноватым, я бы не пустил ее к себе, чтобы она тут мне досаждала.

— Виноват! — тихо сказал я. — Только чем же я могу вам помочь? Поговорить с Димовым?

— Да ни за что! — Она чуть не подпрыгнула на стуле.

Пускай себе подпрыгивает, только, боюсь, стул не выдержит.

— Тогда чем же?

Женщина сконфуженно молчит, словно собирается с духом.

— Я бы вас попросила. . . Позвольте мне у вас переночевать.

— А! — говорю я озадаченно.

— Я не буду вам мешать, — торопится она, опасаясь, что я могу отказать ей, — и пробуду у вас всего день или два.

— Но я вас не знаю. . . И вы меня тоже. И потом, где я вас положу, себе на голову?

— Где-нибудь. Тут, верно, есть какая-то прихожая?

— Какая прихожая? Там грязища, горы всякой рухляди. . .

— Вот я и приберу там немного, чтобы не остаться перед вами в долгу, — заключает женщина так, как будто все уже решено.

Однако, взглянув на меня, она, вероятно, понимает, что пока ничего не решено.

— Я ставлю в глупое положение и вас, и себя, — признается она. — Но поймите, у меня нет выбора. Или ночевать на улице в такой дождь. . .

У меня вырывается страдальческий вздох — я ловлю себя на том, что начинаю раскисать, хотя мысленно внушаю себе: только не вздумай размякнуть, не вздумай размякнуть! В конце концов я открываю дверь чуланчика, на которую женщина уже посматривала.

— Послушайте, здесь есть нечто вроде чулана, только не могу ручаться, что в нем чисто. В прихожей валяется какой-то пружинный матрац. Если это убожество вас устроит. . .

— Меня все устроит!

— И если вас не раздражает запах роз. . .

— Роз? — Она удивленно смотрит мне в глаза.

— Прежний жилец был убежден, что в чулане пахнет розами. Кто как воспринимает.

Она тоже встала и подошла к чулану, как бы желая убедиться, насколько уместно говорить о розах. Ее крепкое тело в двух пядях от меня, и я чувствую, что это для нее самый деликатный момент. Она определенно ждет, что я потребую плату за постой, плату натурой. Не знаю, что сопутствует этому ожиданию — симпатия или смирение, однако напряженность момента нарастает.

— Тогда мне остается притащить для вас пружинный матрац, и я могу ложиться, — говорю я ей. — А вы возьмите вон те одеяла и тоже устраивайтесь. И если утром вам понадобится ванная, постарайтесь воспользоваться ею до девяти, потому что после девяти моя очередь.

Мои прозаические наставления явно встречены с признательностью. На лице женщины проступает облегчение, смешанное с недоумением, а может быть, и

гримаска задетого самолюбия: хорошо, конечно, что этот тип не пристает, но чтобы уж совсем не обращать внимания. . .

Скажи спасибо, что ты женоненавистник, говорю я себе, когда женщина наконец оказывается в чулане, а я — в постели. Таков уж ты, ничего не поделаешь, сонно повторяю про себя, пока не засыпаю. А когда незаметно погружаюсь в сон, то, представьте, при всем своем женоненавистничестве начинаю искать во сне Бебу.

Должно быть, я пришел немного раньше назначенного часа, мне приходится дважды позвонить, но дверь и после этого не открывается, только слышится неприязненный вопрос:

— Кто там?

— Он самый.

Дверь чуть-чуть приоткрывается — настолько, сколько нужно, чтобы проскользнула кошка.

— Входи и закрывай!

Я попадаю в прихожую, отделанную полированными щитами. Венера выходит из волн, сиречь Беба — из ванной. Даже не одна, а две Бебы, если считать ту, что отражается в большом зеркале. Как и полагается Венере, она голая и мокрая.

— Воспитанные люди приходят минута в минуту, — недовольно ворчит Беба. — Заставил меня выбираться из ванны.

— Ничто тебе не мешает снова забраться в нее, — отвечаю я и, бросив на вешалку плащ, прохожу в гостиную.

Беба, вероятно, последовала моему совету, так как еще добрых десять минут я остаюсь в одиночестве среди бледно-голубых обоев и мебели с бледно-голубой обивкой. Что касается Бебы, то для нее точность — вопрос удобства, а вовсе не воспитания. Этакая королева удобства. Она знает свою рабочую программу на неделю вперед — в какие часы у нее покер, когда она в парикмахерской, у маникюрши, у портнихи. У нее заранее спланировано, кто и в какое время ее посетит,

и даже финансовые операции строго распределены в ее расписании.

«Я к тебе по срочному делу — деньги принес, а ты не благоволишь открыть!» — сказал однажды Жорж. «Не приходи, покуда тебя не позвали», — невозмутимо ответила Беба да еще сразу же после того как объявила, что удваивает ставку.

Ничего не попишешь — женщина с характером и потребностью порядка всегда и во всем, потребностью, присущей и мне с раннего детства.

— Куда мы сегодня идем? — слышу я за спиной голос Бебы.

Она стоит у двери в спальню — в нежно-голубом пеньюаре, как нельзя более соответствующем колориту гостиной, в пеньюаре очень тонкой работы — настолько тонкой, что он почти не скрывает наготы.

— Никуда, — кисло отвечаю я. — Уж если человек провинился, ему не пристало быть слишком требовательным.

— Я спрашиваю, чтобы знать, как одеваться.

— Как принято в интимной обстановке.

— И нечего прикидываться сиротой, — замечает Беба невозмутимо. — Если кто из нас провинился, так это ты.

— Несомненно.

Сказано это на ветер, потому что Беба уже скрылась в спальне, но скоро появляется снова — на сей раз в короткой эфирной тунике и в тонких чулках, плотно обтягивающих ноги. Конечно, она решила в наказание поиграть мне на нервах и потому садится напротив меня в кресло. Высоко закинув ногу на ногу, она дает мне возможность полюбоваться собою на расстоянии и понять наконец, что с такой секс-бомбой надо держаться полюбезней, если не хочешь остаться с носом.

— Да, Тони, ты сам во всем виноват, и нечего капризничать. Мы договорились было играть до шести, но мне шла невероятная карта, ты представить себе не можешь какая, и они все трое начали протестовать: это, мол, безобразие, и я, мол, вечно ускользаю самым подлейшим образом в самый ответственный момент, — словом, так на меня навалились, что пришлось мне

согласиться играть до девяти, только твой звонок все испортил — эти двое совсем обезумели. . .

— Бистра и Жорж.

— Конечно. Пошли грубые намеки, тебе ведь знаком их репертуар, и даже кончилась игра; они продолжали играть у меня на нервах, ну а потом у меня лопнуло терпение, и я сказала, не пора ли вам уходить, а Бистра: как же уходить в такой дождь, хотя он моросил чуть-чуть, и только после твоего второго звонка до них наконец дошло, что ты не придешь, и они стали собираться.

— Все вылакали?

— У меня все вылакать невозможно, — не без гордости заявляет она.

— Тогда принеси чего-нибудь, вместо того чтобы показывать мне эротические картинки.

— Они на тебя действуют? — наивно спрашивает Беба и идет к бару, старательно демонстрируя, как прекрасно обрисовывает ее туника.

— Водка у тебя есть? — кричу я вслед.

— Может, хочешь виски?

— Нет, стопку водки. В память одного покойного друга.

— Пожалуйста, не говори мне о покойниках! — предупреждает Беба. Но, когда возвращается с подносом, все-таки спрашивает: — А кто он был, твой друг?

— Да то же, что и я. Но в двух отношениях совсем на меня не был похож: дока по части идей и абсолютный ноль в сердечных делах. Он мог бы целый день созерцать твой балкон, но так и не пришел бы ни к какому конкретному решению.

— Значит, он был. . .

— Вовсе не значит, — перебил я. — Просто одни интересы забивали в нем другие — так они были сильны.

— Вы, образованные, все немножечко того. . . — Беба крутит у виска пальцем. Пальцы у нее красивые — белые, с розовым маникюром. — Был у меня один такой. . . знакомый. . . Кроссвордами на жизнь себе зарабатывал. Ну так вот, он признавался, что, когда он их придумывает, в голове у него все время вертятся неприличные слова, негодные, конечно, для кроссвор-

дов. А когда у нас с ним доходило до постели, было полное впечатление, что он в это время занят составлением очередного кроссворда и не в состоянии подумать о чем-то другом.

— Сложная ты натура. — Я потрясенно качаю головой. — Попробуй тебе угоди. Даже магистр тебе не угодил, что уж говорить обо мне или о Жорже, верно?

— Жорж — опасный тип, — отвечает она.

— В каком смысле?

— Жорж — опасный тип, — повторяет Беба, не обращая внимания на мои подначивания. — Он то и дело сует голову в петлю.

— Как же иначе пристраивать чеки?

— Чеки — ерунда. У него дела посерьезнее: валюта, золото, драгоценности. . .

— Значит, дельный партнер?

— Дельное харакири. Если провалится, то и меня за собой потянет.

— Ну и хитрец. . .

— Он дурак. Только дурак закручивает дело со столькими комбинаторами одновременно. Ведь первый же, кого накроют, выдаст его.

— Зачем-то ему это надо.

— Может, и так. Только все равно он глуп ужасно.

Моя собеседница замолкает, потому что меня планы Жоржа нисколько не интересуют. Мы выпиваем еще по одной, и тут Беба спохватывается:

— Ты голоден?

— Нет, но составлю тебе компанию.

— Тогда пошли на кухню.

Очутившись в помещении, сияющем кафелем и пластиком и оснащенном всевозможными техническими новинками, я замечаю почтительно:

— Тебе бы надо принимать здесь гостей, которых ты хотела бы потрясти.

— Сюда я никого не пускаю. Ты — исключение. Что поделаешь, если ты все еще у меня на счету.

У Бебы я прохлаждаюсь до середины следующего дня. И чтобы она не подумала, будто я начисто лишен рыцарских достоинств, веду ее в «Софию», где мы обедаем под звуки пианино, которого никто не слушает.

Едва допив кофе, моя дама вдруг говорит, взглянув на свои миниатюрные часики:

— Мне надо идти.

Не стоит спрашивать куда: Беба прекрасна именно тем, что всегда поглощена только собой и никому собой не досаждает. Проводив ее по адресу очередного покера, я иду домой — у меня сегодня выходной день.

Снова установилась хорошая погода, и небо такое синее, какое бывает только в пору самой ранней осени. Очутившись на бульваре, я внезапно вспоминаю о незнакомке, которая осталась у меня в квартире. Я даже не знаю, как ее зовут. Неужели она до сих пор там? Нет, надо будет установить ей какой-то срок и пускай сматывается, решаю я и сворачиваю в парк.

Неторопливо шагая по аллеям, где взад-вперед бегает ребятня, — я вдруг снова вспоминаю своего покойного друга. Мы с ним часто бродили по этим аллеям — не ради того, чтобы уменьшить объем живота, как это делает Несторов, и не для того, чтоб подышать по системе йогов, а чтобы без помех обдумать детали очередного сценария.

Петко по обыкновению называл меня «браток», но он не смотрел на меня свысока, просто он был старше меня года на три, на четыре, а что касается способности смотреть свысока, то тут мы с ним оказались два сапога пара — оба вымахали по метру восьмидесяти.

У него была атлетическая фигура, точнее, могла бы быть, если бы в каждом его движении не проглядывал некий сомнамбулизм, если бы его походка и жесты не были такими расслабленно-машинальными, словно действовало одно лишь тело, а дух витал где-то далеко.

Смуглое мужественное лицо его казалось мрачным, он всегда был серьезен, но, может быть, такое впечатление могли создавать и темные очки, которые он редко снимал — наверное, из соображений такта: говоря с ним, вы бы никогда не заметили, что он думает о чем-то своем.

Одевался он, как позволяло разнообразие его гардероба, состоявшего из пары техас, костюма — темного, в какую-то темно-красную искру — и темной рубашки.

— Ты всегда носишь темные рубашки, — однажды заметил я.

— А кто мне будет стирать?

Это, конечно, было сказано ради кокетства — Петко всегда был удивительно опрятен, хотя в вопросах быта оставался непритязательным, а к материальным благам относился с полным безразличием. Когда мы вместе выходили из редакции, он не интересовался, куда мы пойдем, в какой компании будем проводить время, что будем есть и будем ли есть вообще.

Мрачноватый облик Петко позволял предположить, что у него черные глаза. Я впервые вгляделся в них, когда мы сидели в кабаке и он снял очки, — темный, странно-сосредоточенный, даже одержимый взгляд, проникающий в вас не для исследования вашей души, а для того, чтобы, пронзив вас, устремиться дальше, куда-то в бесконечность.

Я вовсе не хочу сказать, что это был какой-то загадочный человек или человек не от мира сего. Держался он вполне нормально, порой несколько бесцеремонно, был в меру замкнут, если же начинал болтать, что с ним тоже случалось, то болтал непроизвольно и непринужденно, а ведь это не свойственно людям, старающимся казаться загадочными.

Его болтовня приобретала порой характер откровения — и тогда казалось, что ты созерцаешь какие-то темные воды (и не можешь постичь, как они глубоки) или какой-то созидающий хаос (не будучи в состоянии понять, что из него сотворится). Было в этом человеке нечто особенное.

Однажды он вдруг бросил с присущим ему мрачным видом:

— Это действительно смешно!

Фраза, сама по себе банальная, напомнила мне о том, что я никогда не видел его смеющимся или хотя бы улыбающимся. А если человеку не свойственно даже улыбаться, значит, у него не все в порядке. Я по себе это знаю.

Свое «Это действительно смешно!» он обронил по поводу того, в чем испокон веку видят отнюдь не смешное, а, наоборот, высокое, прекрасное, романтичное, —

по поводу любви. . . Но чтобы все было ясно, придется рассказать сначала о той поре, когда я волочился за одной студенткой, которую звали Катей, а поскольку у Кати была неразлучная подруга Елена, тоже студентка, мне приходилось провожать и ту и другую, что, к счастью, случалось не каждый день.

Елена была немного привлекательнее Кати и, вполне естественно, постепенно вытеснила ее в моей душе (напомню только, что среди любимиц Афродиты Катя не фигурировала, тогда как Елена была у капризной богини любви одной из первых фавориток). Но в то время, о котором идет речь, героиня «Илиады» только раздражала меня, а я по наивности не догадывался, что, если женщина тебя раздражает, надо держать с нею ухо востро. Раздражала она меня главным образом своими ультрамодными радикальными взглядами — она была медичка и, уж конечно, внушила себе, что все явления действительности надо рассматривать прежде всего с биологической точки зрения.

Наверное, Елена слышала от Кати о моей дружбе с Петко, а потом увидела меня как-то в компании с ним и начала ко мне приставать: «Когда же ты познакомишь меня со своим Петко?», так что однажды вечером пришлось мне устроить в «Русском клубе» небольшую пирушку после довольно долгой предварительной подготовки, поскольку Петко подобные сборища нисколько не привлекали.

— Имей в виду, Елена положила на тебя глаз, — предупредил я все-таки моего приятеля.

— Ничего страшного, — небрежно ответил Петко. — Она ведь меня не знает.

— Какое это имеет значение?

— Решающее, браток. Знай она меня, не было бы никаких шансов ее разочаровать.

Ужин начался довольно скованно, как это бывает, когда встречаются незнакомые люди, но очень скоро водка и болтовня Елены создали некоторую видимость оживления: не то, глядя на нас, таких молчаливых и отчужденных, окружающие вполне могли бы подумать, что мы собрались для раздела наследства.

То ли желая блеснуть эрудицией, то ли просто пы-

таясь вовлечь в разговор моего друга, Елена перескакивала с последних театральных премьер на последние фильмы, а потом на открытия в области генетики и даже на проблемы сексуальной революции, полагая, вероятно, что раз мы находимся в «Русском клубе», то и беседа наша должна быть такой же пестрой, как поданный нам салат.

Однако Петко не клевал на ее удочку. Клевал он главным образом маринованные грибочки со своей тарелки, время от времени лениво накалывая их на вилку, чтобы не пить без закуски. И только когда Елена, разгорячившись, неосторожно упомянула имя Кафки, мой приятель вопрошающе обратил на нее свои темные очки.

— А вы читали Кафку?

Нет надобности объяснять, что Елена его не читала, но тут же с присущей ей женской хитростью ответила вопросом на вопрос:

— А вы любите Феллини?

— Думаю, что да, — ответил Петко после короткого раздумья.

— А что вам у него нравится?

— Ничего. Я его фильмы не смотрел.

— Но ведь вы же сказали, что любите его!

— Я люблю всех людей, мадам. Люблю все человечество, в том числе и вашего Феллини.

Это объяснение не остановило Елену, она пустилась рассуждать о том, какая замечательная вещь «Сатирикон», ей посчастливилось увидеть его на каком-то просмотре, и как жаль, что его не показывали на наших экранах, да если бы и пустили, то непременно изуродовали бы глупыми сокращениями, а все мол, наши доморощенные пуритане. . . Петко между тем занимался своим бокалом, своими сигаретами, и тогда Елена решила перейти во фронтальную атаку.

— Вы, надеюсь, не пуританин?

— Ваша надежда вполне обоснована, — кивнул мой приятель. — Одного я не пойму: зачем делать фильмы только ради того, чтобы показать, что мы не пуритане?

— Как это? — удивилась Елена.

— А очень просто. Я, к примеру, не люблю свинину, приготовленную с луком-пореем. Она мне нравится только с кислой капустой. Но делать фильм на эту тему я бы не стал.

На сей раз реплика достигла цели.

— Страсть как люблю чудаков, — сказала Елена возмущенно. — Но мне кажется, вы заходите слишком далеко, ставя вашу свинину в один ряд с проблемой, которая веками занимает человечество.

— Вы имеете в виду любовь?

— Любовь, сексуальную проблему — называйте, как хотите.

— Имеется в виду половой вопрос, — догадался мой друг. — Ну что ж, вы медичка, и вам-то следовало бы знать, что он находит исчерпывающее освещение в брошюрах на тему, как уберечься от венерических заболеваний.

— Всего лишь?

— С разумной точки зрения — да. Все прочее — сказки. При мысли о том, сколько сказок наплели вокруг всего этого, становится стыдно за скудоумие человека-животного.

Петко отечески ласково шлепнул Елену по щеке, как бы давая понять, что пора оставить его в покое, однако это ее лишь подстегнуло.

— Но если вы не испытываете влечения к другому полу, — запальчиво сказала она, — то с какой стати вы приписываете этот порок всем остальным людям? Ваша личная. . . — наверное, она хотела сказать «импотенция», но сдержалась. — Ваша личная позиция не исключает того факта, что миллионы людей испытывают такое влечение.

— Влечение? — удивился Петко. — Уловка природы, ничего больше. Без этого немыслимо продолжение рода.

— Как хорошо, что не для всех сексуальные отношения лишь средство продолжения рода, — сказала Елена, на этот раз с нескрываемой враждебностью.

— Биологический зуд, — пожал плечами мой друг. — Я припоминаю кинокомедию времен немого кино — о том, как на светское общество напали бло-

хи. Вначале гости чешутся изредка и украдкой, но чем сильнее становится зуд, тем явственнее начинают чесаться благородные дамы и господа, в конце концов все превращается в какую-то бешеную вакханалию чесания. Такова и ваша сексуальная революция.

И, немного помолчав, он с мрачным видом произнес памятные мне слова:

— Но, согласитесь, это смешно. Это действительно смешно!

К сожалению, никто из нас не смеялся, и, чтобы ужин не закончился катастрофой, пришлось вме- і аться мне.

— Не понимаю, что ты стараешься? — спросил я Елену. — Разве не видишь, он тебя просто дразнит.

Петко поглядел на меня неодобрительно, насколько я мог судить, глядя в его темные очки, однако возражать не стал. А девушка вдруг совсем по-детски спросила:

— Что я ему сделала, чтобы меня дразнить?

Прежде чем мой друг успел ответить, я поведал обществу о нашумевшей истории, которая случилась с одной из наших звезд средней величины, а затем, кочуя от темы к теме, мы дождались конца вечера. Как будто, прыгая с камня на камень, перебрались наконец через бушующий горный поток.

— Ты мог и более тактично дать ей понять, что она тебе не нравится, — заметил я Петко на другой день.

— Больно нужно. Сказал, что думаю, — возразил он езразличным тоном.

— Мать честная, да ты это серьезно?. .

— Как всегда.

— И живешь как аскет?

— Я этого не утверждаю. Между идеалом и реальностью всегда существует разрыв. Но я не сторонник излишеств. Переедание вызывает расширение желудка, а расширение желудка способствует еще большему обжорству.

— Ну ладно, не будем говорить о сладострастии. Но у человека есть потребности вполне нормальные. . .

Мне следовало упомянуть о том, что мы вели этот разговор на городской площади, перед памятником.

На гранитных плитах лениво прохаживались в поисках пищи несколько кротких голубей, не подозревающих о том, что наш философ может использовать их в качестве примера.

— Потребности? — повторил Петко. — Взгляни-ка, браток, на мои ботинки: они очень нуждаются в чистке. Но что бы ты сказал, если бы я поймал голубя и вычистил им свои башмаки? А ведь женщина, я полагаю, стоит куда выше этой птицы. Дело дошло до того, что мы, люди, используем людей противоположного пола просто как предмет, как тряпку, потому что у нас, видите ли, потребность. И таким образом превращаем друг друга в тряпки.

— Ты настоящий сектант.

— Вовсе нет. Просто я не могу понять, почему какого-нибудь распутника объявляют новатором и героем. Говорят — сексуальный атлет. Никакой он не атлет. Он чернорабочий на этом поприще, вроде тех, что в былые времена в погоне за барышами доводили себя изнурительной работой до полного отупения. По мне, так лучше летаргия. Летаргия ведь не атрофия, а покой, сон. И если найдется такая, что тебя разбудит, — жалеть не стоит. Все зависит от женщины, но также и от сезона: на зиму лучше всего погрузиться в летаргию, это и медведи знают. А твоей подружке взбрело в голову будить меня с наступлением зимы.

— Может, предложить ей подождать до весны?

— Не обрекай ее на одиночество. Поверь, она не из тех, что ждут.

Он оказался прав, и я почувствовал это два месяца спустя, почувствовал на собственной шкуре. Но это особая история.

Во время нашего разговора у меня, как у всякого скептика, возникло подозрение, что Петко малость заливает. Однако потом я убедился, что у меня нет оснований для подобного заключения, так как мне никогда не приходилось видеть Петко в компании женщин. Его вообще не привлекали компании, все равно какие — женские, мужские, смешанные. Он не отличался общительностью, да и не с кем ему было общаться. Друзей у него не было, если не считать меня,

да и вряд ли стоит меня считать. Наша с ним дружба была не столько дружбой, сколько стечением обстоятельств. После фильма о вреде курения директор студии пришел к выводу, что мы с Петко неплохо сработались: «Когда вы порознь, от вас мало толку, а вместе вы молодцы», — и заказал нам несколько сценариев подряд, так что совместная наша работа длилась довольно долго.

Петко был не способен долгие часы высиживать в четырех стенах, поэтому творческий процесс развертывался у нас в основном за столиками кафе или в парке, где он буквально засыпал меня идеями и сюжетами, иногда очень дельными, а иной раз и довольно вздорными, а в мою задачу входило мысленно отобрать то, что могло быть использовано, и добавить тут и там что-нибудь от себя, если, конечно, мне удавалось что-то откопать в своей голове.

Труднее всего было привести весь этот винегрет в божеский вид, отстукать новорожденные творения на машинке и представить редактору, что тоже было моей заботой, поскольку Петко презирал эту сторону творческого процесса, считая ее канцелярщиной.

— У меня, брат, порядок, который насаждают буквоеды, начетчики и бюрократы, вызывает аллергию, потому что он противоестественный.

Подобные высказывания очень меня забавляли, но я старался, чтобы Петко этого не заметил.

— А я думаю, порядок существует всюду, в том числе и в природе, — заметил я, только чтобы подлить масла в огонь.

— Какой прок от твоей диалектики, если ты не замечаешь, что этот твой порядок то и дело взрывается, превращаясь в хаос?.. Да, в хаос, который тоже, может быть, есть некий неизвестный нам порядок, совсем не тот, что в учебниках. Космос озаряют сверхновые светила и гибнут в гигантских взрывах, зловеще зияющие черные дыры всасывают звезды, возвращая их в небытие, вокруг нас бушуют магнитные бури, гниет живое, даже камни разрушаются, не говоря уже о могилах... Порядок, да? А второй закон термодинамики?

— Какой это?

— Закон роста энтропии.

— Ясно, — киваю я, так как меня это не особенно волнует.

— Ничего тебе не ясно. Смысл второго закона заключается в том, что всякое изменение представляет собою нарушение установленного порядка. Словом, удар по установленному порядку и очко в пользу хаоса. Весь космос все больше приближается к хаосу.

— Значит, мы летим ко всем чертям. . .

— Да, если верить учебникам. Однако в хаосе имеется некая непонятная закономерность: любой хаос, достигнув какого-то предела, перерастает в новый порядок. Короче говоря: от хаоса — к новой организации материи и обратно. Вечная пульсация. Великая пульсация.

— Ясно, — повторяю я. — А в чем состоит первый закон?

— Первый в данном случае роли не играет.

— Да я так, ради самообразования.

— Бакалейный закон. Тепло превращается в работу или работа — в тепло, хоть так, хоть этак. Отдаешь работу в машинописной форме — и твой карман согревает сотенная бумажка. Затем используешь потенциальную энергию сотенной, чтобы отстучать на машинке следующий опус, и так может продолжаться до тех пор, пока в действие не вступит второй закон.

Петко забредал в трясину философии и астрофизики по любому поводу и совершенно неожиданно; это значительно замедляло работу над очередным сценарием, блуждание по парку и томление в «Болгарии». Но такого рода экскурсы он чаще всего производил в подпитии, что, к счастью, случалось не слишком часто. Пил он не столько для того, чтобы отвести душу в разговоре, сколько для того, чтобы, как он говорил, «распугать призраков».

Некоторые его странные идеи показали зубки еще в ту пору, когда мы корпели над нашим вторым сценарием — об окружающей среде. Мы сидели в «Болгарии» — уже наступила зима, обжигающий ветер гнал поземку вдоль оледенелого бульвара, и погода была

не для прогулок. Сидя напротив меня, Петко сосредоточенно курил и вместе с клубами дыма выдавал на-гора наметки визуальных решений. Он снял темные очки, и темные его глаза смотрели, как обычно, сквозь меня, куда-то в глубь зала, словно я был стеклянный.

Потом взгляд его сфокусировался; Петко, как видно устав от собственных рассуждений, растоптал на полу окурок, не обращая внимания на пепельницу, и сказал:

— Пока мы рассуждали, планета превратилась в помойную яму. Батюшки! Что же вокруг творится! Когда же мы наконец заметим, до какой степени окружающая среда загрязнена мыслями?

— Мозговые моторы тоже дают выхлопы?

— Не знаю, выхлопы это или другой смрад, но попробуй представить себе, что излучают в данный момент миллионы людей, какие мысли насыщают пространство. Сколько в них ненависти, злобы, жестокости, зависти, алчности, в лучшем случае страха, отчаяния и похоти. Какие эманации!

— А интересно, могут какие-нибудь устройства фиксировать все это? — продолжал я свои вопросы.

— Устройства! Когда-нибудь они появятся, но разве это так важно? Древние понимали силу молнии и без лейденской банки.

Петко машинально потянулся к измятой пачке, достал сигарету и закурил, как бы для того, чтобы у меня было время переварить только что услышанное.

— При вспышке молнии невидимое становится видимым, — сказал я. — А мысли, чтобы как-то проявиться, должны воплотиться в действие. Иначе они просто не имеют возможности проникнуть в окружающую среду.

— Ошибаешься, браток, — спокойно возразил Петко, послав мне в назидание струю дыма. — Электричество существует, оказывает действие и даже убивает, оставаясь невидимым. Видимое, невидимое — это вопрос второй. Любое однажды сказанное слово долго движется в пространстве в виде звуковой волны. Точно так же, как идет к нам свет далеких звезд, угасших миллионы лет тому назад. Но слово — всего лишь бледная тень человеческой мысли. Мы признаем существование тени, а того, что ее отбрасывает, не видим — в нас

должна шарахнуть молния, и уж только тогда мы признаем, что в природе есть электричество.

Это была его идефикс: излучаемые людьми мысли витают в пространстве, они окутывают нашу планету, постепенно все более сгущаясь и действуя словно отравляющий газ. . .

— Ну, а хорошие мысли? — спросил я. — Раз плохие загрязняют, то хорошие должны были бы очищать.

— Именно.

— Значит, одни нейтрализуют другие — и все в порядке.

— Точно так же, как с теми очистными сооружениями на предприятиях, о которых мы с тобой толковали. Уменьшат процентов на десять ядовитые вещества, сливаемые в реку, и говорят вроде тебя: теперь все в порядке, загрязняем, но и очищаем. А почему бы тебе не прикинуть, сколько их наберется, добрых-то мыслей, среди скверных?

— Откуда мне взять такие данные?

— Какие еще данные? Разве нельзя установить без подслушивающих аппаратов, о чем толкуют люди, сидящие, например, за соседними столиками? — Широкий жест Петко привлек внимание двух пенсионеров и группы молодых людей, расположившихся справа и слева от нас. — Разве трудно догадаться: они только тем и занимаются, что злословят по адресу близких и знакомых, или возводят хулу на своего начальника, или рассказывают пошлые анекдоты. . .

— Почему обязательно пошлые?

— Ну, если тебе никак не обойтись без данных, поищи их в собственной голове. Проверь, что выдает эта голова каждый божий день: сколько светлых мыслей, сколько серых и сколько черных.

— Есть люди и получше меня.

— А есть и похуже! Не обижайся, браток, но я склонен отнести тебя к средней категории людей, для статистики самой подходящей. По тебе спокойно можно судить, сколько мыслительной продукции падает на душу населения.

Сколько падает? Если судить о той поре, о днях

молодости, я не смогу ответить. Но если иметь в виду теперешнее время, то, пожалуй, ничего не падает на душу населения, разве только серость. Черных мыслей у меня нет, светлых и подавно. А так как совсем без мыслей обойтись невозможно, остаются одни серые. Нет в них ни ненависти, ни надежды, ни отчаяния. Серые. Серенькие как мышата. И почти такие же забавные.

Высказывание Петко о людях средней категории, должно быть, все же задело меня, потому что спустя два дня я ему говорю:

— Тебе бы тоже не помешало проверить свою голову.

— Что я и делаю. Это у меня стало даже какой-то манией, — отвечает Петко.

— Я имею в виду другую твою манию — о мыслях, которые снуют вокруг нас, как летучие мыши.

— И что?

— И заняться психоанализом: ухватившись за нить мании, ты идешь по ней назад, пока не отыщешь первопричину, породившую эту манию. А дальше все предельно просто: ты вникаешь в суть первопричины — и мании как не бывало.

— Никакой мании нет, — спокойно говорит Петко. — Есть факты. Ты вот в качестве сравнения привел летучих мышей — первое, что пришло тебе на ум, и сам не подозреваешь, до чего точное получилось сравнение. Я их вижу, этих летучих мышей, ощущаю их присутствие, они пикируют на меня со всех сторон, исчезая только затем, чтобы дать дорогу другим. Мысли приходят ко мне невесть откуда, хотя я их не жду, не ищу и даже не подозреваю об их существовании.

— Внезапные прозрения. Это у всех бывает.

— Сколько раз в сутки с тобой такое случается?

— Я не подсчитывал.

— Внезапные прозрения случаются не на пустом месте. Но это вещь редкая. А мои летучие мыши, все новые и новые, осаждают меня непрестанно.

— А ты сидишь и ждешь, пока голова треснет?

— Временами мне и в самом деле кажется, что она

вот-вот треснет. Но только временами. Мысли приходят неожиданно, но в точном соответствии с твоим настроением. Тут прямая зависимость.

— Ясно, — киваю я.

— Судя по всему, ничего тебе не ясно. А ведь это так просто. Взять, к примеру, радиоприемник. Если он настроен на Софию, то не надейся, что поймаешь Монте-Карло. То же происходит и с летучими мышами: на какую волну настроишься, такие мысли и поймаешь.

— Я никаких не ловлю.

— Ошибаешься. Ты ловишь их исподволь, сам того не замечая. Таков уж диапазон твоего приемника. И тем лучше для тебя. Потому что у меня порой и в самом деле голова начинает раскалываться. В такие моменты я стараюсь напиться. Идиотизм, конечно, но пока что другой терапии я не обнаружил. В этом есть какое-то сходство с глушением черных радиостанций.

— Алкоголь служил отдушиной для многих мыслителей, — успокаиваю я его.

— Я не мыслитель. Я — радиоприемник.

— Принимаешь то, что читал. Как бывает со всеми нами.

— Едва ли. Ты знаешь, читаю я мало. Я улавливаю из пространства.

— Ты бы хоть записывал.

— Зачем? Довольно того, что я обдумываю пойманное. На свете существует столько людей, которые пишут не думая, и это никого не удивляет. А если кто-то думает и не пишет, все начинают удивляться.

Он глядит на меня по-своему — смотрит не видя — и добавляет:

— Беда в том, что мыслей у меня непроворот, а рук только две. Как, по-твоему, должен я их записывать, все эти мысли? Только начну выражать одну, а она уже изменилась, или перевоплотилась в другую, или забежала вперед так далеко, что мне и не догнать ее со своей авторучкой. . .

Да, это была его идефикс, не только философского порядка, но и творческого.

— Меня одолевают самые разные идеи, а вот главная, которую я столько лет ищу, не приходит. Как

объединить все мысли в одну? Как выразить главное, чтобы оно как молния пронзило умы людей: чтобы люди не загрязняли пространство, и чтобы сами они стали чисты, и чтоб избавились от этой проклятой мигрени, которая их изводит. . . Если придет мне такая идея, может, тогда мне удастся ее изложить.

Однажды зимним днем, когда я заканчивал работу над фильмом об окружающей среде, ко мне подошел Гаврилов.

— Должен тебя предупредить, — сказал он, — что по милости твоего Петко, этого неисчерпаемого источника идей, на наши головы может свалиться уйма неприятностей.

Я молча ждал, пока от обобщения он перейдет к конкретным фактам.

— Придется браковать часть отснятого материала. В вашем фильме названы объекты, до такой степени загрязняющие среду, что это уже носит скандальный характер. А между тем каждый второй из них славится высокими производственными показателями, и было бы абсурдом ставить их сейчас под удар.

— Но разве Петко в этом виноват? — возразил я.

— Оставь! — Гаврилов с досадой махнул рукой. — Конечно, благородно с твоей стороны, что ты его защищаешь, но он уже сознался, что переборщил.

— Да врет он. Я сам отобрал эти объекты в соответствии с предоставленной нам документацией.

Гаврилов смерил меня недоверчивым взглядом, однако продолжать спор не счел нужным.

— Ладно, разбирайтесь сами. Только впредь не создавайте мне подобных ситуаций.

Когда я потом спросил у Петко, зачем ему понадобилось обманывать шефа, он, потупясь, ответил:

— Надо беречь твое имя, браток. Ты ведь только начинаешь свой путь. А я не пропаду.

— Не будь таким великодушным! — сказал я с обидой. — Мне ни к чему эта отеческая забота.

— Я знаю, ты уже не нуждаешься в особой заботе, — кивнул мой друг. — Больше того, я даже уверен, что у тебя все пойдет легко. Легко и гладко — до первого перекрестка.

— До какого перекрестка?

— До того самого, который только слепцам не виден. Очутившись на нем, ты невольно себя спросишь: а теперь куда?

Тогда я не обратил внимания на его слова — решил, что это обычные штучки Петко. И мне понадобилось достичь перекрестка, чтобы их вспомнить.

Мы встречались на протяжении года довольно часто, разговоры мало чем отличались один от другого, поэтому неудивительно, что эти встречи и разговоры перепутались в моей памяти. Но свою последнюю прогулку с Петко я вижу вполне отчетливо — потому что она была последней и потому что наша беседа напомнила мне совсем о другой, давнишней беседе с моим отцом.

Наши творческие сеансы становились все реже. Мой приятель утратил интерес к документалистике и иногда соглашался выступать в роли соавтора лишь ради заработка. Что касается меня, то я уже перерос роль подмастерья и вполне мог обходиться без соавтора.

Мы встречались от случая к случаю, так получилось и в тот последний вечер, когда мы нечаянно столкнулись перед зданием университета. Я предложил выпить по рюмочке, но Петко отрицательно покачал головой, и мы побрели вниз по бульвару, а если идешь по бульвару вниз и не завалишься в какой-нибудь кабак, то неизбежно окажешься в парке.

Был поздний летний вечер, тишина парка нарушалась только шипением забытого разбрызгивателя, от клумб струился запах увядших цветов и мокрой травы. Петко, должно быть, давно не имел возможности порассуждать вслух, и потому не умолкая говорил о самых разных вещах, а я почти не слушал его, пока моего слуха не коснулось нечто такое, что напомнило мне вдруг мой давний разговор с отцом.

— Говорят, человек — чудо природы. Но чудес не бывает, в природе действуют законы — бывают, правда, аномалии, лишь подтверждающие их. . . Бактерия человека появилась на Земле в силу того же принципа причинности, который вызвал к жизни и прочую бактериальную флору.

— Но человек, что ни говори, все-таки вершина эволюции, — возразил я.

— Это еще как сказать, — заметил Петко. — Может, вершина, а может, и опухоль. Может, предельное выражение и подтверждение закона, а может, аномалия.

— Ну и что из того, что аномалия?

— Ничего. Второй закон термодинамики. Энтропия. Эволюция дает задний ход и оборачивается инволюцией. Распад, возврат к первозданному хаосу. Опухоль, браток, убивает живой организм, но так как это опухоль, сиречь тупость, она не сознает, что автоматически убивает и самое себя. Наступает конец — и организма, и ее собственный. А галактики продолжают свой путь.

— Ты, как я погляжу, убежденный оптимист.

— Оптимизм предполагает наличие альтернативы в любой ситуации. Тут можно спорить без конца. А что касается космической бесконечности, то там не существует ни оптимизма, ни пессимизма. Там есть закон, и проявления его безграничны. Абсолютный нуль — и миллион градусов. Взрывы — и имплозии. Непроглядный мрак — и ослепительные свечения.

Остановившись, Петко показал рукой на ночное небо, на это замурованное нечистыми земными испарениями городское небо с редкими, тускло мерцающими звездочками.

— Обалдеть можно, — сказал я.

— От ужаса или от восхищения? — спросил Петко и снова зашагал по аллее. — Именно в этом нам полагалось бы видеть вечную красоту: в вечном движении, в вечном самовоссоздании, в музыке космических сфер. Но человеку привычнее иные мерки, грандиозная красота повергает его в ужас. Людей одинаково страшат и высота, и глубина. А в бесконечности только это нас и окружает — бескрайняя бездна и беспредельная высота. . .

— Остается постичь смысл всего этого, если он вообще существует.

Не глядя на меня, мой друг направляется к ближайшей скамейке, садится. Помолчав, отвечает:

— Смысл — это ведь не тарелка щей, которую мо-

жно выхлебать до дна. Ощутить наличие смысла — вот что важно. Хотя не каждому это дано. Один ощущает его, другой — нет.

— Те, которые ощущают, называют его богом, — сказал я, присев на край скамейки. — Вроде моей тетушки.

— Оставим в покое твою тетушку и мою бабушку. О боге толкуешь, а ты читал Библию?

— Если бы ты знал, сколько всего я не читал. . .

— Мне тоже не удалось прочесть ее от корки до корки. Но я по крайней мере заглядывал в нее, чтобы иметь представление, как на заре истории люди искали смысл всего сущего. «В начале бог сотворил небо и землю» — так начинается Библия. И каждый вправе спросить: а кто сотворил самого бога?

— Логично.

— Погоди! Иоанн начинает по-другому: «В начале было Слово». И лишь потом добавляет: «. . . и Слово было бог». Так какое же Слово, а? В этом заключается вся загадка, вся суть: какое Слово?

— Ну человек ведь ясно тебе говорит: бог.

— Ты просто не думаешь, что говоришь. Бог — не слово, а лишь его сущность. Именно это внушает нам Иоанн: то, что мы называем богом, по существу, есть Слово. Люди выдумали бога в силу своей неспособности определить неопределимое. И по простоте своей сотворили его по образу и подобию своему: в виде старца с белой бородой — как же ему не быть старцем, если его вселенная такая старая. Он обитатель рая — тоже понятно, иначе он остался бы без местожительства.

— А слово?

— Слово — это Логос, браток, сущность вселенского закона, который невозможно вывести ни из чего предыдущего. Так как он безначален и его невозможно объяснить ничем последующим, поскольку частью не объять целого. Это безначальная и бесконечная целесообразность, но целесообразность не с точки зрения твоей тетушки и моей бабушки, а с точки зрения самого Логоса.

Неоновый шар заливал аллею холодным зеленоватым светом, отчего небо казалось совершенно темным.

Окрестные деревья напоминали театральную декорацию, на которой художник по лености вычертил лишь ближайшие ветви. Дальше все размазывал мрак.

Из глубины аллеи послышались неясные возгласы и смех, они постепенно приближались: скоро можно было расслышать отдельные слова, особенно четко — бранные. Наконец в неоновый проявитель фонаря вступили три молодца в джинсах и спортивных рубашках в компании двух бутылок и одной женщины.

Как видно, наша скамейка показалась им приятной неожиданностью, потому что они не спеша, небрежно раскачиваясь, направились к нам.

— А тут занято, — удивленно сказала женщина, будто только что нас обнаружила.

— Товарищи потеснятся, — ответил ей парень.

Мы потеснились. Двое кавалеров сели рядом, между ними втиснулась их приятельница.

— Да потеснитесь еще малость! Гостеприимство называется! — изрек третий с развязной фамильярностью, хотя было вполне очевидно, что тесниться нам больше некуда, разве что взобраться друг на друга.

А так как взбираться друг на друга мы не стали, верзила просто-напросто вклинился между Петко и его соседом, налегая главным образом на Петко, явно намереваясь выжить его.

Мой друг, до этого наблюдавший за развитием событий как бы со стороны, вдруг схватил нахала за руку и так резко скрутил ее у него за спиной, что тот, с искаженным от боли лицом, сполз на дорожку. Сосед Петко слева вскинул бутылку, но в тот же миг выронил ее, потому что, как выяснилось, мой друг не худо владеет и левой рукой. Отпустив скорчившегося у него под ногами правого соседа, Петко развернулся и почти незаметным быстрым ударом расквасил физиономию левому.

При виде крови красотка истошно закричала.

— Без паники, — пробормотал Петко и так же небрежно воткнул кулак в живот третьего, но, пока он корчился, согнувшись до земли, первые двое снова попытались действовать. Это вынудило Петко поработать еще более споро, и немного погодя удальцы в

сопровождении своей подружки побрели прочь по аллее, еле волоча ноги.

— Значит, ты способен приходить в бешенство, — сказал я, не особенно восхищаясь его действиями.

Всегда приятно видеть, как рушится хорошая теория, опровергнутая ее же создателем.

— Я не прихожу в бешенство. Наоборот, мне жаль этих ребят. Решили повеселиться, потом им взбрело в голову показать свою удаль, а в итоге изволь считать синяки. Печально.

В его голосе не было иронии, и вообще он сказал все это совсем не так, как сказал бы я. Немного погодя Петко добавил:

— В такие моменты кажется, что я не участвую в действии, а лишь наблюдаю со стороны. Лишний раз убеждаешься, до чего мы жалки. Вот оно, чудо природы. Человек — это звучит гордо. . . Только о ком это, о каком человеке? О тебе, обо мне, о человекоподобной обезьяне или об Эйнштейне?

— А если бы они взяли верх? — спросил я.

Но Петко продолжал, как бы не слыша меня:

— Я не толстовец, на зло нельзя не реагировать. Но не стоит излишне заострять на нем внимание. Не проходи мимо, но и не задерживайся.

— А если зло все-таки возьмет верх?

— Может и такое случиться. Но не бежать же от него. Скверно приходить в бешенство, однако обращаться в бегство еще хуже.

— Благородное правило для человека с могучей конституцией.

— Дело не в конституции. Если бы только в ней, разумнее всего было бы беречь ее, хорошая она или плохая. Дело в психике. Тебя могут избить пять, ну десять раз, так ведь не всю жизнь бить будут. Но окажись трусом один-единственный раз — и этого хватит тебе на всю жизнь. Душа травмируется раз и навсегда, и вечно будешь жить в страхе и унижении.

Мы пошли вниз. У самого выхода из парка Петко вскинул руку в прощальном приветствии:

— Я должен с тобой расстаться.

— Почему? Куда ты?

— Погуляю еще немного. Надо кое-что обдумать. Многое надо обдумать, браток.

И оставил меня. Навсегда.

Два дня спустя после драки в городском саду мне позвонила секретарша с киностудии, чтобы справиться о Петко.

— Не знаю, где он есть. Ищите его дома.

— Мы не записали его адрес. . .

Через несколько дней я сам звонил на студию, разыскивая его. Никаких следов.

Пропал человек.

У меня даже возникло подозрение, что те парни в джинсах расквитались с ним. Следили за нами, а когда Петко, расставшись со мною, отошел подальше, напали. Потом я сообразил, что в таком случае какие-то вести поступили бы либо из больницы, либо из милиции. Значит, жив-здоров. Успокоившись, я на какое-то время забыл о моем друге. Уплыл по волнам любви.

Я брожу по парку, а вместе с тем по своему прошлому дольше, чем было предусмотрено; наверное, потому, что мне все равно, где находиться, в парке или где-нибудь еще. А может, и потому, что я уже вступил в тот возраст, когда все чаще обращаешься к прошлому, поскольку от будущего уже ничего не ждешь. От прошлого, конечно, тоже, но там хоть есть какие-то шансы объяснить многое. Только чтобы найти эти объяснения, надо основательно покопать. Вот и копаешь. В море яму.

Сгущающиеся сумерки возвращают меня к действительности, напоминают о том, что завтра воскресенье, а в доме нечего есть. Я покидаю царство старых деревьев с уже пожелтевшими кронами, напоенное влагой и ароматом осенней листвы, чтобы вернуться к живой жизни с ее улицами, протравленными бензинным перегаром, и с магазинами, где вечно толпится народ. Покупаю, что есть и сколько могу унести, не переставая думать о том, что, если бы дома меня кто-то ждал — скажем, дети, хождение по магазинам имело бы больший смысл.

Я задержусь у вас только на день-два, сказала она. Если будете уходить из дому, опустите ключ в почтовый ящик, ответил я.

Окна Илиева светятся, и это наводит меня на мысль, что на худой конец я могу побеспокоить его. Звоню четыре раза. Илиев открывает, добродушно выслушивая мои извинения и объяснение, что я забыл ключ. Открыв ящик, закрепленный на внутренней стороне парадной двери, я нахожу ключ на дне.

Поднявшись к себе, я прямо-таки опешил: старая мебель Жоржа аккуратно составлена в глубине коридора, сияющего чистотой. Должно быть, сегодня приходила уборщица. Пришла, позвонила, и незнакомка впустила ее, так что в понедельник моя жена получит богатую информацию о моей новой жизни. Совсем потонул в разврате этот прохиндей. Мало ему Бебы, так он завел еще одну — для домашнего пользования.

Моя комната тоже прибрана — так, что лучше и быть не может. Но прежде чем прикоснуться к выключателю, я замечаю одну деталь: под дверью чулана видна тоненькая полоска света. Может быть, она забыла погасить лампу? Гораздо хуже, если она забыла избавить меня от своего присутствия, думаю я и стучу в дверь.

Так оно и есть. Она говорит: «Войдите», но, поскольку я не вхожу, выходит сама. Мне не трудно заметить, как напряженно она держится — совсем как в первый вечер, но теперь это напряжение иного характера.

— Как видите, я все еще здесь, — тихо произносит женщина и неловко усмехается.

— А ключ был внизу. . .

— Да, я бросила его в ящик — я больше не могла оставаться, особенно после того, как вы не пришли вчера домой. Я поняла, вы дали мне этим понять: вот что получается, из-за тебя и домой неохота возвращаться. . . В общем, я ушла, чтобы поискать какой-то другой выход, но всюду натыкалась на каменную стену, и пришлось вернуться, позвонила — никто не отвечает, а тут как раз возвращался домой ваш сосед. . .

— Кто?
— Такой пожилой, солидный. . .
— А уборщица приходила?
— Приходила.
— И что же?
— Спросила, кто я такая. Пришлось сказать, что я новая уборщица. И она ушла.

Я молчу. Она сама догадывается, что я об этом думаю.

— Ничего другого мне не пришло на ум, — виновато говорит женщина. — Я решила, это единственный способ избавить вас от неприятностей.

— Единственный способ не этот.

— Знаю, но поймите, я в совершенно безвыходном положении. Как только представится малейшая возможность, я тут же уйду, обещаю. — Не дождавшись ответа и видя мою хмурую физиономию, женщина спрашивает: — Неужто он вам так нужен, этот чулан?

— Видите ли, этот чулан мне ни к чему. И будь у меня возможность вынуть его отсюда, я бы охотно отдал его вам в вечное пользование — кладите его на плечи и несите куда угодно. Только вы сами видите, что его не вынести отсюда, потому что он часть квартиры, и, поселившись в нем, вы добавляете мне забот, которых у меня и без того хватает. То одно, то другое, теперь вот отправили уборщицу — час от часу не легче! Как вам еще объяснить? Словом, чулан мне не нужен, но покой просто необходим.

Незнакомка слушает меня с полуоткрытым ртом, будто не ожидала, что я способен выдать столько фраз в один прием.

— Знаю, — повторяет она с тоской в голосе, затем поворачивается, забирает из чулана свою сумку и медленно идет к выходу.

В этой неторопливой, слишком неторопливой походке, кроме неподдельного уныния, видно что-то нарочитое. Маленькая сценка отчаяния, последняя попытка вызвать сочувствие. Мол, пойду куда глаза глядят.

Иди куда хочешь.

— Постойте, — бормочу я, видя, что она уже взялась за ручку двери. — К чему эти сценки?

— Сценки?

— Ну да. Нечего тут изображать отчаяние.

— Легко вам шутить, — говорит она, отпуская ручку.

— Не стойте там. Садитесь куда-нибудь.

Женщина берет стул, который кажется ей понадежней, а я усаживаюсь на кровать и закуриваю. Только теперь я сообразил, что следовало бы и ей предложить сигарету.

— Я было решила бросить курить, — неуверенно произносит она, но закуривает.

— Допустим, вы останетесь здесь еще на день-другой. Но у меня есть соседи. . . Может нагрянуть милиция. . . Я все же должен знать, кто вы и откуда?

— Я никого не ограбила и не убила. По части этого вы можете быть спокойны.

Она смотрит в упор своими черными глазами, словно желая убедить меня в своей искренности.

— И все же у меня такое чувство, что вы от кого-то или от чего-то скрываетесь. Неужто вам уж совсем не найти пристанища? Ведь жили же вы где-то до сих пор?

— Я жила у матери.

Она по-прежнему не спускает с меня прямого, откровенного взгляда.

— И что же? Может быть, ваша мать умерла?

— Для меня — да, хотя она жива и здорова. Я больше не могу к ней вернуться. И больше мне некуда идти. Но это только пока. Я уверена: в ближайшее время найдется какой-то выход.

— Будем надеяться. Но я даже не знаю, как вас зовут. . .

— Лиза. Полное имя у меня довольно длинное и ужасно старомодное: Елизавета.

— Это хорошо.

— Что хорошо?

— Что у вас длинное имя. Пока ваша матушка, разозлившись, произнесет его, у нее и гнев, верно, проходит.

— Как бы не так! Она, когда злится, хватается за сердце, кричит: «Умираю!» — и падает в обморок. Нет, я туда не вернусь.

Я не настаиваю. Женщина переводит взгляд — над кроватью висит вырезанная из «Плейбоя» картинка, на которой изображена пышногрудая девица. Это также наследство Жоржа, я до сих пор не догадался снять картинку со стены.

— Когда я увидела эту кошку. . .

— Это осталось от прежнего жильца, — поясняю я. — Меня кошки не интересуют.

Лиза молчит, смотрит по сторонам. Абажур-плевательница освещает лишь половину ее лица, белого и ничего не выражающего, другая же сторона остается темной и загадочной.

— Я готова все рассказать вам о своем житье-бытье, — неожиданно оповещает она безучастным тоном,— только не знаю, с чего начать.

— Лучше не начинайте.

— Вы сами спросили. . . — бормочет она, задетая моим равнодушием.

— Мне казалось, вы что-то скрываете. А если ничего не скрываете, зачем тогда и рассказывать?

И, чтобы дать понять, что разговор окончен, я встаю, беру оставленный у входа пакет с продуктами и начинаю выкладывать их на стол.

— Спасибо. Вы добрый, — слышу я у себя за спиной.

— Смотрите не перехвалите, — бормочу я.

Лиза уже удалилась в чулан, когда я спохватываюсь. Обычно меня не так просто расшевелить, но потом я становлюсь догадливей. Постучавшись и услышав тихое «да», я просовываю в дверь голову. Лиза достала из сумки кусочек сдобы, основательно примятый и, вероятно, по твердости не уступающий слоновой кости.

— Это ваш ужин? — любопытствую я.

— При такой фигуре много есть вредно, — смущенно отвечает Лиза.

— Оставьте свой сухарь, — приказываю я. — Пойдемте поужинаем, как нормальные люди.

Глава пятая

— Но ведь она ваша дочь!. .

— В известном смысле — да, — отвечает Димов с каким-то надрывом.

Надрыв вызван не душевными муками, а физическим напряжением, поскольку в данный момент Димов силится сковырнуть ножом старую замазку с оконной рамы.

Эта операция производится не на том окне, что было разбито во время моего прежнего посещения, а уже на другом.

Застав Рыцаря за таким хлопотным делом, я предложил ему свою помощь, но он ответил: «Не беспокойтесь, мне не привыкать: ведь приходится вставлять новое стекло каждые два-три дня».

Я думал, Димов поинтересуется, с чем я к нему пожаловал, но он так увлекся работой, что пришлось мне самому объяснять. Лиза все еще оставалась у меня, соседи это знали, и назрела необходимость как-то легализовать ее пребывание в этом доме.

Удаление старой замазки довольно-таки муторная процедура. Высокий тощий старик стоит ко мне спиной, он весь сгорбился и, орудуя ножом, напряженно пыхтит.

— Я говорю, она же ваша дочь, — повторяю я.

— В известном смысле — да, — повторяет и Димов.

— По-моему, это понятие имеет только один смысл.

— Ошибаетесь, — отвечает хозяин.

Он отрывается от работы, разгибает спину, чтобы перевести дух, снимает очки и только тогда обращает взгляд в мою сторону.

— Вам бы следовало знать, что иногда самые простые вещи становятся очень сложными. . . Через три месяца после моего ареста моя жена отреклась от меня.

— Но дочь ведь не отрекалась.

— Не такая уж большая заслуга с ее стороны, если принять во внимание, что к тому времени ее еще не было на свете. Она родилась в самом конце установленного природой срока, так что, может быть, она моя дочь, а может, и нет.

— Она похожа на вас! — категорично заявляю я, как это бывает, когда мы не очень в чем-то убеждены.

— Вы первый обнаружили сходство. Ее внешность вряд ли может служить подтверждением. . . А что касается характера — ну, тут вам видней. . .

Рыцарь устанавливает очки на тонкой высокой переносице, и это позволяет ему бросить поверх них многозначительный взгляд.

— Если вам хочется объявить меня ее отцом, может быть, вы разрешите спросить: в силу каких обстоятельств она делит квартиру с одиноким мужчиной?

— Ваша дочь не делит со мной квартиру. Не знаю, насколько вы в курсе, но наверху есть комнатенка, нечто вроде чулана, там она и живет.

— Впрочем, это ваше дело, — небрежно кивает Димов. — Единственное, что меня интересует: какие претензии лично ко мне?

— Требуется ваше согласие на ее прописку. Дочь, которая проживает с вами. . .

— Но она у меня не живет! — перебивает старик.

— Однако носит вашу фамилию.

Он опять смотрит на меня поверх очков, затем снимает их и сосредоточенно разглядывает стекла. Наверное, сейчас только дошло до него, что Лиза носит его фамилию.

— Что ж, ладно. Раз по милицейским законам она приходится мне дочерью, прописывайте, — уступает он наконец.

— Она ваша дочь по человеческим законам.

— С какой стати? — взрывается вдруг Рыцарь. — Почему я должен считать ее своей дочерью? Не потому ли, что у ее матушки были одновременно не один, а сразу два приятеля? Или потому, что эта так называемая дочь от рождения и по сей день, то есть почти за тридцать лет, даже не вспомнила об отце? Явилась, повисла у меня на шее. . . Скорее всего — по чисто квартирным или финансовым соображениям.

— А вы не горячитесь. Чего доброго я подумаю, что подобные соображения волнуют прежде всего вас, — спокойно говорю я.

Димов вздрагивает и вдруг замахивается на меня

очками, будто собирается бросить их в меня. Поэтому я добавляю:

— Я, конечно, слишком вас уважаю, чтобы допустить такую мысль. Должен сказать, что в настоящее время Елизавета никаких затруднений не испытывает.

Димов пропускает мимо ушей вторую часть моей реплики и проявляет некоторое недоверие к первой:

— Если б я руководствовался материальными соображениями, я был бы сейчас не здесь, не в этой халупе. И вообще вся моя жизнь текла бы по другому руслу. Я отстаивал принципы, мой друг!

— Ага, и вы тоже, как мой отец, — примирительно обобщаю я. — Принципы, позиция, взгляды. . .

— Для вас это пустые слова?

— Отчего же. Может, раньше, когда вы отстаивали их, они имели какое-то значение. Но сейчас, когда они даже в школьных учебниках зафиксированы. . .

Димов надел очки, смотрит на меня поверх стекол, потом опять их снимает. Кажется, эти очки не дают ему покоя.

— Значит, принципы всюду, даже в учебниках, только у вас их нет? — спрашивает Рыцарь с плохо скрываемой иронией.

— Почему же. И у меня есть.

— Какие же? — продолжает он вроде бы невинную игру.

— Да ничего оригинального. Что получил от отца, тем и пользуюсь.

— Ну, если вы унаследовали принципы своего отца, это уже не плохо.

— Как было не унаследовать, если он мне их прямо-таки навязывал?

Димов делает несколько шагов к стулу, устало, расслабленно садится. Потом бормочет, словно бы про себя:

— Я так и думал, у вас нет собственных взглядов. . .

— Как это нет? Я даже экзамен держал. Насколько помню, мне пятерку поставили.

— Омертвевшие взгляды, — все так же бормочет старик.

— Если бы я немного поднатужился, то и шестерку бы получил.

— Омертвевшие взгляды! — повторяет Рыцарь.

— Какими же они могут быть, если тебе их вдалбливают, как и все прочие житейские премудрости: сделай уроки, потом можешь погулять; возьми вилку, не ешь руками. Перед сном умойся и почисть зубы!

— А вы как думаете? — спрашивает Димов. — По-вашему, лучше лезть в тарелку всей пятерней?

— Нет. Я не хочу быть оригинальным. Особенно сейчас, когда понял, насколько это трудное и утомительное дело.

— Но вы не дорожите принципами, завещанными вам отцом.

— Почему «завещанными». Как торжественно. Он просто вдалбливал их мне в голову, словно гвозди, при всяком удобном случае. И почему я должен дорожить тем, что мне не принадлежит.

— Но если каждый начнет сам для себя открывать истины только затем, чтобы они были его собственными, к чему же мы придем? Этак недолго снова очутиться в каменном веке, а то и подалее!

— Понятия не имею, — признаюсь я. — Можно закурить?

Погрузившись в старческие свои размышления, Димов не отвечает. Так что я закуриваю, используя в качестве пепельницы собственную ладонь. Я бы, конечно, мог уйти, но была еще одна деталь, которую надо было уточнить.

— Ваш отец не вбивал вам гвозди в голову, а открывал вам глаза на то, что сам постигал с немалым трудом, — вдруг торжественно произносит старик. — Чтобы вам не пришлось целые десятилетия блуждать в поисках уже открытых истин.

— Мертвые уроки. . .

— Вот как?

— Вы сами это сказали.

— Но если мертвые, то виноваты не уроки и не ваш отец, а вы сами. Вы их умертвили своим безразличием.

— Зря вы горячитесь, — примирительно говорю я. — Не принимайте близко к сердцу такие пустяки.

— Пустяки? — Угловатые брови Рыцаря ползут вверх.

— Я не так выразился. Надо было сказать «глупости».

Он вскакивает словно ужаленный:

— Вы глумитесь надо мной! — Потом уже более спокойно и с какой-то горечью добавляет: — И даже не понимаете, что глумитесь над самим собой. Если такие серьезные вещи кажутся вам глупостями. . .

— А стоит ли такие серьезные вещи принимать всерьез? — спрашиваю я, мельком взглянув на него снизу вверх.

— Решайте сами, — сухо отвечает Димов.

— Это одно из немногих дел, с которыми я сумел справиться. И знаете, к какому выводу я пришел?

Димов молчит, с видом стоика ожидая продолжения глумления над собой.

— Я понял: именно это может обернуться катастрофой. Поверить в принципы, нормы, в верности которым все громогласно клянутся, втихаря нарушая их. . . Или вы считаете, что двойная бухгалтерия — непременное условие житейской мудрости?

— Если кто-то нарушает принцип, это характеризует не принцип, а того, кто его нарушает.

— Да, но если речь идет не об одном человеке, а о целом легионе, то, я полагаю, картина нарисуется иная.

— Почему? — неохотно спрашивает Димов.

— Потому что ваш дельный принцип окажется всего лишь книжным принципом.

— А вы поступайте так, чтоб он не был книжным, подтвердите его всем своим существованием. . . Вместо того чтобы сидеть сложа руки и ждать, когда другие сделают это.

«Следуйте моему примеру», — как будто собирается сказать Димов, но вместо этого говорит:

— Если все мы перестанем полагаться на кого-то, тогда не будет нужды валить на других.

— Отличная программа, — киваю я. — На словах. Короче говоря, книжная программа. Как и добрые принципы.

До сих пор он избегал на меня смотреть, словно мое лицо действовало ему на нервы, но теперь его взгляд встретился с моим.

— Неужели вы не знаете ни одного человека, который придерживался бы этих принципов? Отец ваш разве их не придерживался? — настаивает Димов.

— В общих чертах он следовал закону божьему, — признаю я. — Надо полагать, это объяснялось его инертностью, отсутствием воображения. Впрочем, будучи уже в летах, он бросил мою мать и ушел к другой женщине, помоложе.

— Я об этом не знал.

— Теперь узнали.

— Ну и что? — Димов повышает голос. — Вам и про меня могут сказать нечто подобное. Я тоже разведен! Почему я должен краснеть из-за этого? Нельзя о человеке судить по одному поступку, не зная причин, толкнувших его на этот поступок. Вы, наверное, знаете причины, если судите родного отца?

— Судить? Упаси боже, — тихо отвечаю я, вставая. И, решив, что настал подходящий момент, говорю безо всякой связи: — Значит, официально Елизавета будет жить у вас. . .

— Что значит «официально»? — хмурится Димов. — Мне ведь при всем желании некуда ее поселить. Не ребенок, взрослая женщина!

— Пусть она у вас только числится — на случай, если милиция станет интересоваться.

— Не хотел бы связываться с милицией, — бубнит старик. Однако, сообразив, что в данном случае дело касается не столько его, сколько дочери, досадливо машет тощей своей рукой: — Делайте как знаете.

Судить своего отца? Упаси меня бог.

Если когда-нибудь случилось мне мысленно осуждать его, то уж никак не за эту злополучную сердечную историю, которая только удивляла меня: удивляло не то, что он свихнулся, а то, что свихнулся так поздно. Ведь если мужчина считает, что каждая женщина наделена какими-то одной ей присущими чарами, то моя мать в этом отношении была сугубо отрицательной величиной.

И если ранее я и мысли не допускал, что отца могут

волновать женщины, то не допускал потому, что он так безропотно мирился со своей участью. Казалось, лишь он один способен сожительствовать с существом, лишенным каких бы то ни было признаков женственности.

Я, разумеется, любил мать по-своему, она не вызывала во мне отвращения. С первого дня жизни я прижимался к ее груди, словно к удобной подушке, а то, что подушка была чрезмерно велика, не имело значения. Мать страдала нарушением обмена веществ или чем-то еще в этом роде, и полнота была для нее тяжким бременем. А если к этому добавить исключительную неряшливость, с которой она вела хозяйство — а она проводила свои дни главным образом дома, — и то, что от нее вечно разило запахом пота, смешанным с кухонными ароматами, то оценить ее женственность будет нетрудно.

Все это живо представилось мне, когда я узнал о грехопадении отца. Дело не в том, что раньше я не замечал ничего этого, — просто раньше меня это не занимало. А теперь, после грехопадения, я попытался понять причину и взглянул на мать не своими глазами, а глазами отца. Много ли нужно, чтобы мужчина, достигший критического возраста, использовал свой последний шанс нырнуть в бездну порока? Мелькнула перед глазами стройная ножка в нейлоновом чулке или бесстыдно улыбнулись щедро накрашенные губы — вот и начало «падения», столь опьяняющего для пожилого мужчины и столь ужасающего с точки зрения пуритан.

Да, мне кажется, что я его понимал. И втайне даже оправдывал.

Трудно вспомнить, как и когда именно в наш дом проникла весть о грехопадении моего батюшки; скорее всего, это случилось под праздники, потому что мать сказала мне:

— Ну и подарочек преподнес он нам к Новому году.

До меня новость дошла гораздо раньше, но я держал ее в тайне. Вероятнее всего, в качестве вестника судьба использовала соседку Цецу. Поначалу мать категорически отказывалась верить гадкой сплетне,

а когда наконец убедилась, что это не гадкая сплетня, а правда, молча страдала день или два, но потом с присущим ей добродушием приготовилась простить грешника. Однако тут устами Цецы и моей тетушки вдруг заговорил голос самой поруганной правды:

— С какой это стати ты должна его прощать? — воскликнула Цеца. — Нет, таких вещей не прощают!

— Заставь его хотя бы раскаяться.

В общем, они накачали ее как следует, и однажды вечером, по возвращении отца, за стеной разразился скандал. Сперва слышался спокойный разговор, и я не обращал на него внимания, но потом голос матери непривычно повысился:

— В твои-то годы! Женатый человек! Старый осел!..

Отец пытался как-то урезонить ее, но она уже закусила удила. Ее и без того резкий голос сделался невыносимо пронзительным:

— Ничего не желаю слушать! Убирайся к ней. Из-за тебя, старого черта, и ребенок стыда не оберется!

Ребенок, то есть я, уже двадцатилетний верзила, не испытывая особого стыда, вслушивался в доносившуюся из гостиной брань, покуда не грохнула наружная дверь. И после этого, когда я вошел в гостиную, мать произнесла памятную фразу:

— Ну и подарочек преподнес он нам к Новому году!

— Что за подарок? — спросил я с невинным видом.

— Спутался там с какой-то...

— Не может быть, — сказал я. — Ты, как всегда, ему льстишь.

Мне кажется, главная ошибка матери состояла именно в том, что она пошла на этот скандал. И та, другая, использовав ее ошибочный ход, навсегда увела к себе бездомного мужика. Окончательно прибрала его к рукам.

Впрочем, отец сделал еще одну, последнюю попытку. Это был поистине самоотверженный поступок с его стороны, потому что особого желания вернуться к матери он, конечно, не испытывал. Но ведь всю свою жизнь отец старался доказать, что он человек долга, и нет ничего удивительного в том, что и в этот раз он нашел в себе силы продемонстрировать верность долгу. Он

объявился дома на исходе сочельника. С двумя большими пакетами под мышкой. В одном была завернута индюшка, сквозь разорвавшуюся газету ее нетрудно было разглядеть. А что было в другом свертке, я так и не смог определить, потому что мать даже на порог отца не пустила. Решив точно соблюдать инструкции Цецы и моей тетушки, она прогнала его вместе с индюшкой и таинственным свертком. И это была ее последняя ошибка. Роковая.

Как всегда, во всем были виноваты военные советники — две душеприказчицы, которые с глубокомысленным видом обсуждали тактику боевых действий и внушали матери, наверное, самые несуразные ходы. В итоге вместо того чтобы ползать перед нею на коленях, старик потребовал развода.

Ни до, ни после развода он не вспомнил обо мне. Должно быть, забыл, что я существую, или ему было просто неловко. Все же нам представился случай увидеться. Даже трижды, и ничего тут удивительного не было, так как наши пути — мой в университет, а его — в редакцию — пересекались. Отец пытался держаться с достоинством, как было свойственно ему и прежде, но теперь это не получалось. Он весь как-то сжался, словно хотел спрятаться, утонуть в своем пальто, в давнишнем сером пальто, потертом и бесформенном, как больничный халат; взгляд отца, лишь мельком коснувшись моего лица, переметнулся в глубь бульвара. Отец сделал вид, что не замечает меня. Я — тоже.

Слепая любовь матери к отцу после развода сменилась столь же слепой ненавистью. А у меня именно теперь, и только теперь, появилось к нему нечто вроде симпатии — какое-то смутное сочувствие, не более того, но это было очко в его пользу, если вспомнить мою прежнюю холодную неприязнь. Я ловил себя на том, что в душе склонен его простить — может быть потому, что это позволяло мне видеть себя великодушным. Позднее я понял, что мое великодушие было вполне естественным. Мы часто прощаем ближним их прегрешения, но никогда — их добродетели.

Отец завоевал мое сочувствие, а я потерял всякую веру в надежность и устойчивость окружающего мира.

Теперь, после того как этот непоколебимый человек, весь, казалось, сотканный из принципов и правил, этот невероятный сухарь, волею судьбы предназначенный мне в отцы, не устоял перед какой-то мини-юбкой, все мне казалось возможным и все представлялось непрочным.

В этом и состоит эффект падения — надо пасть, чтобы понять, что и это возможно. Хотя в данном случае пал не я. Мое падение наступило много позже, и совершалось оно неоднократно. Может быть, из-за присущей мне недоверчивости. Надо было совершить падение не один раз, чтобы убедиться, что я на такое способен.

Всякий раз при встрече отец делал вид, будто не замечает меня. В конце концов я подумал: быть может, он хочет, чтобы я сам с ним заговорил, быть может, ему до такой степени неловко, что он просто не решается меня остановить?

Пришлось мне остановить его. Он изобразил удивление и как-то растерянно улыбнулся. Удивление ему явно не удалось, зато улыбка казалась неподдельной. Он сказал, что рад меня видеть, и, судя по всему, действительно был доволен, что я не прошел мимо. Можно было ожидать, что он поинтересуется, как там мать, однако он избегал этой темы, краткие его вопросы касались лишь меня, моей учебы.

— Возвращаться не собираешься? — спросил я наконец с присущей мне бесцеремонностью. — Я думаю, сейчас она тебя уже не прогонит.

Он вздрогнул, будто получил пощечину, мотнул головой.

— Поздно. Если бы даже я вернулся, ничего уже не поправить.

— Угомонится она, — сказал я.

— Ничего уже не поправить, — повторил отец. — И потом, я ранил одного человека, — зачем же ранить еще и другого?

— Тебе видней, — ответил я, боясь, как бы он не подумал, что на меня возложена миссия урезонить его. Только этого не хватало. Мое дело сторона. Мне и самому неясно, с какой стати я заговорил с ним о воз-

вращении. Может, из-за моей страсти создавать шоковые ситуации? А возможно, потому, что я стал испытывать к нему симпатию. Обычная мужская солидарность. Или сочувствие отцу, который больше не казался таким холодным, таким защищенным прочной броней принципов.

Нет, теперь он не казался мне бронированным. Особенно когда под конец пробормотал:

— Вот так отец у тебя. . .

Взглянув на меня виновато, он тут же опустил глаза, неловко хлопнул меня по плечу на прощанье и пошел своей дорогой.

«Вот так отец у тебя. . .» — должно быть, эту фразу он не раз повторял мысленно, а сейчас нечаянно обронил ее, и невольное его признание собственной виновности заставило меня вдруг ощутить и свою вину.

Я считал его холодным человеком, а он просто-напросто хотел быть хорошим отцом, чтобы сын не оказался бездельником, как некоторые другие. И холодность, возможно, передалась ему от меня, потому что всякий раз, когда он клал руку мне на плечо, я тут же отталкивал ее. Всякий раз, кроме единственного и последнего случая, когда мы встретились на бульваре.

Я сочувствовал им обоим. Впрочем, сочувствие — всего лишь мизерное и дешевое подаяние, с помощью которого мы умываем руки, дабы избавиться от заботы окружающих. Умиляемся до слез и проходим мимо, довольные собственной добротой, даже не задумываясь над тем, есть ли польза другому от нашего сочувствия. Путь сам выбирается из беды — это его дело. Важно, что мы выразили ему сочувствие, хотя и не обязаны были это делать.

Ушел он из жизни совсем неожиданно, это случилось в конце зимы. Соседка Цеца считала, что, поскольку старик спутался с молодой развратницей, иначе и кончиться не могло. Тетка моя была абсолютно согласна с Цецей. Мать открыто не выражала свое мнение — она лишь тяжко вздыхала, повторяя: «Оставался бы при мне — был бы жив. . .» Она, конечно, имела в виду риск, с каким связаны половые излишества, — дома, надо полагать, такой риск ему не грозил. Вско-

ре, однако, выяснилось, что отец стал жертвой не излишеств, а воспаления легких, которое он схватил во время своей предпоследней поездки.

Что касается последней — а ее не избежать никому из нас, — то она вызвала дома оживленную дискуссию среди женского триумвирата. Мать поначалу считала, что хотя бы из приличия она должна проводить покойника. Цеца же настойчиво доказывала, что именно из приличия матери не следует этого делать:

— Да ты в своем ли уме, Веска? Как ты будешь стоять там, на кладбище, рядом с его потаскушкой?

— Он твою жизнь отравил, а ты пойдешь его оплакивать! — вмешалась и тетушка. — Достаточно и того, что Антон поедет.

— Да с какой же стати Антон-то поедет? — снова ринулась в бой соседка. — Что ему там делать-то возле той потаскушки?

Соседка была особенно зла на покойника. Я подозреваю, что когда-то она увивалась вокруг моего отца, но он ее отшил. Тут я его вполне оправдываю: если на то пошло, то точно такая же Цеца была у него дома.

Итак, участие матери в траурной церемонии было категорически отклонено, а что касается меня, вопрос повис в воздухе. Правда, повис он для триумвирата, тогда как для меня вопроса вообще не существовало.

Я проводил отца. Стоя у гроба, я машинально пожимал руки людям, которые выражали мне соболезнование, смутно мне знакомым, либо незнакомым совсем. Я старался не глядеть ни на покойного отца, лежащего в гробу, ни на его живую супругу, испытывая при этом замешательство: у меня было четкое ощущение, что мне просто некуда глядеть. Так что порой, сам того не желая, я все-таки переводил глаза на супругу отца.

Она стояла далеко от меня, такая одинокая и жалкая, словно боялась, что люди могут обвинить ее в высокомерии, не имевшая ничего общего с тем представлением, которое я о ней составил заочно. Кроме того разве, что она была стройна, хотя, стоя так вот, пригорюнившись, она и стройной не казалась. Безобразной ее нельзя было назвать, хотя и особой красо-

ты в ней не было, к тому же она была не первой молодости. Искусительница. . . Уму непостижимо.

Кое-кто из знакомых отца торопливо пожимал ей руку, но большинство проходили мимо, делая вид, будто не замечают ее, а может, они и в самом деле ее не видели, поскольку она скромно стояла в стороне.

Мне казалось, если бы я понаблюдал за ней подольше, я смог бы определить, что связывало ее с отцом: какие-то чувства, или она позарилась на его скромные гонорары, или, будучи женщиной не первой молодости, не упустила случай решить нелегкую проблему замужества. Но я избегал наблюдать за ней и лишь изредка, мельком, невольно посматривал на нее, пока у меня не появилось чувство жалости к ней, такой неприкаянной, подавленной и напуганной.

Она потупила глаза, она тоже не знала, куда смотреть.

Наконец процессия тронулась. На улице стоял жуткий холод, хотя зима была уже на исходе, и я думал, как плохо, что отца уложили в гроб в одном костюме, отлично понимая, что у него это был единственный приличный костюм, в который его могли обрядить, чтобы он выглядел как можно более торжественно, и что его серое потертое пальто совершенно не годилось для такого случая, впрочем, когда человека кладут в эту ледяную землю, ему уже все трын-трава. . .

Наступила минута последнего прощания — стали закапывать могилу, я старался не глядеть в нее и не слушать дробного стука комьев замерзшей земли о крышку гроба и вообще держаться по-мужски. Однако, как ни старался я держаться по-мужски, меня все больше охватывала скорбь и мои глаза налились слезами, но можно было подумать, что это от холодного ветра. И как ни глупо, скорбь рождала мысли и об отце, и о матери, и об этой незнакомой увядшей женщине, которая сгорбилась напротив меня, по другую сторону могилы.

Это и в самом деле довольно глупо, когда начинаешь оплакивать всех подряд и в конце концов тебе начинает казаться, что ты сходишь с ума — совсем как тогда, когда я ни с того ни с сего сел посреди улицы, а ребята маршировали вокруг меня. Поэтому лучше

всего делать вид, что тебе ничего не жаль, решительно ничего и никого, не задавать людям идиотских вопросов, не отягощать память всякой чепухой и вообще следить за тем, чтобы ум твой всегда был живым и острым, чтобы никто не заподозрил тебя в слабости.

«Соседи по квартире — только мужчины. Настоящий рай для такого женоненавистника, как ты», — сказала однажды Бистра не без злорадства. Ей доставляла удовольствие мысль, что в том «сарае», куда я ухожу, я буду жить среди старых хрычей и жестоко по ней тосковать.

Бистра не подозревала, что если меня что-то и привлекло в этом сарае, так именно то обстоятельство, что моими соседями будут одни мужчины, хотя меня с самого начала не покидало смутное подозрение, что рано или поздно там появится и женщина. И не потому, что мы относимся к разряду мужчин, к которым женщины липнут, словно мухи к меду. Но существуют ведь женщины не слишком привередливые. А уж о нас, мужчинах, и говорить нечего — не долго можем мы обходиться без женского общества. Молодые — по вполне понятным соображениям, а пожилым кто-то должен заштопать белье и подать стакан чаю, когда случится заболеть.

Таким образом, я с самого начала подозревал, что без женщины в нашем «сарае» вряд ли обойдется, но мне и в голову не приходило, что она пристанет именно ко мне. И вообще, в моей жизни женщины никогда особой роли не играли. На мой взгляд, женщина, как бы хороша она ни была, в жизни серьезного мужчины не должна иметь большого значения. Я постиг это только после того как женился. Бистра, конечно, возбуждала у меня определенный интерес, но была нужна мне самое большее час в сутки, и ради этого часа я должен был терпеть ее остальные двадцать три. Кто-нибудь возразит: «А дружба?» Какая там дружба. Кто-то напомнит мне о домашних обязанностях жены. Но с ними прекрасно справляются домработницы.

Что касается Бистры, с ней как-никак я расписы-

вался в райсовете и обладал ею на законном основании. Что же касается приблудившейся ко мне Лизы, я не был с нею расписан и ни в ней самой, ни в ее плоти не нуждаюсь. И вопрос не в том, что я по своей слепоте не могу оценить ее, — просто во мне все еще жив инстинкт самосохранения.

Не знаю, что можно сказать о ее внешности. Она грубовата, но в ее грубоватости есть то, что называют «породой». Можно только удивляться, что Димов — тощий, даже изможденный на вид — явился причиной появления на свет этой крупной цветущей женщины. Ее в какой-то степени выручает рост — наверное, побольше ста семидесяти. При таком росте излишек плоти не так бросается в глаза. Движения ее и энергичная походка определенно больше подошли бы мужчине. Затрудняюсь сказать, какое у нее лицо. Описать лицо мне почему-то не удается даже в очерках на трудовую тематику. Ну, скажешь о глазах, что они черные или голубые или употребишь более яркие сравнения — темные, как ночь, или лазурные, как небо (хотя небо тоже не всегда одинаково — сегодня оно лазурное, а завтра — нет). Ну, а дальше? Скажешь, что у человека большой или маленький рот, прямой или курносый нос. Ну и что? Ничего. Такие определения для анкеты, но не дают представления о лице. Лицо, как правило, удается запечатлеть фотографу или художнику, но не писателю.

Так вот, лицо у Лизы — круглое, скуластое, белое (по всей вероятности, этим летом она и не нюхала моря) , лохматые, как у хиппи, черные волосы, еще больше подчеркивают овал лица. (Некоторые женщины не догадываются, какую сделать прическу, пока парикмахерша не подскажет, что им идет, а что — нет, а Лиза по техническим причинам, похоже, давно не была в парикмахерской.)

Нос слегка вздернутый — сразу видно, что он имеет привычку соваться куда не надо. А вот небольшие, но полные губы, следуя святой традиции, полагалось бы назвать чувственными, не исходи от всего ее лица какая-то твердость. О нем никак не скажешь, что это калейдоскоп сменяющихся красноречивых взглядов,

улыбок, полуулыбок, капризных гримас и переменчивых выражений, в чем иные склонны видеть тайну женского очарования. Нельзя сказать, что у нее невыразительная физиономия — просто выражение ее сменялось не так часто и трудно было понять, что за ним скрывается. Иногда ее лицо смутно напоминает мне лицо моего покойного друга — именно этим застывшим выражением. Но он был человеком весьма мрачным на вид и — если судить по его взгляду — немножко «с приветом», тогда как Лиза может показаться какой угодно, только не мрачной, а ее большие карие глаза вглядываются в окружающий нас мир довольно цепко.

Особые приметы? Серьги. У меня создалось впечатление, что она никогда их не снимает. Большие круглые серьги матово-зеленого стекла, выглядывающие из черных зарослей волос, словно две зеленые черешни. Дешевые серьги, завершающие перечень дешевых аксессуаров красоты.

Как я понял потом, у нее вообще была слабость к украшениям. Но даже такие вот дешевые (я уж не говорю о настоящих, какие ей, должно быть, и не снились) были ей не по карману. Бронзовая цепочка, выполняющая почетную роль колье, два браслета в народном стиле, оставляющие на руке черно-зеленый отпечаток, колечко с серебряной монеткой — вот и все ее сокровища. Плюс серьги. С серьгами она никогда не расставалась.

— Я буду убирать вашу комнату и ходить за покупками, — сказала она на другой или на третий день. — У меня нет другого способа платить вам за постой.

— Если мне понадобится уборщица, я позову женщину, которую вы так любезно выставили, — ответил я.

— Ваша уборщица просто заметает мусор с середины комнаты в углы.

— Возможно. Я в углы не заглядываю. Но мне бы не хотелось превращать вас в прислугу.

— Вам нравится роль благодетеля?.. Но мне-то как быть?

— Ладно, — сказал я. — Чтобы у нас были чисто деловые отношения, я буду вам платить.

— Получается что-то очень сложное, — упрямится она. — В таком случае я должна буду платить вам за квартиру и питание.

— Я буду вам платить! — повторил я более резким тоном, чтобы дать ей понять, кто в этом доме хозяин. — Нечего становиться в позу, если у вас даже лишней пары белья нет!

— Я согласна, не сердитесь, — сказала она. — А что касается белья и всего прочего, я надеюсь, скоро все уладится. Увидите, как я разбогатею.

Хорошо хоть нос не вешает. И со всеми вступает в контакт. Она ходит вниз, на кухню, по два раза в день, встречается с моими соседями, которых я сам вижу раз в неделю, а то и реже, да и в этих случаях ограничиваюсь лишь коротким приветствием. Сперва она познакомилась с самым неуживчивым — Несторовым, потом с Илиевым и лишь в последнюю очередь — со своим отцом.

— Сегодня Димов наконец-то ответил, когда я поздоровалась с ним, — сообщает Лиза во время обеда.

Очевидно, слово «папа» было для нее совершенно непривычным.

— Значит, теперь вы и его начнете опекать, — сухо заметил я. — Вы с вашим усердием стали прислугой не только для меня, но и для всех в доме.

— А почему не оказывать людям мелкие услуги. Тем более пожилым. . . Что мне стоит?

Илиев — не пожилой и не калека, сам в состоянии сходить в булочную. Но это ее дело. Она им что-то покупает, помогает мыть посуду или присматривает за кастрюлей Несторова, который иногда отваживается стряпать себе еду.

Естественно, меня совсем избаловали, теперь я даже кофе сам не варил, а моя мрачная берлога постепенно так преобразилась, что я уже начал испытывать беспокойство, как бы мне не обмещаниться. Невеселые мысли посещали меня еще и потому, что все эти изменения связаны были с дополнительными расходами.

— Тут я видела на днях красивую ткань для штор, — однажды информирует меня Лиза как бы между прочим. — Зеленую.

— А к чему мне зеленые шторы? Мне хватает зеленой орешины.

— И охота вам вечно смотреть на эту облупленную стену? — она хмурит брови.

Забыл сказать: у нее черные брови, плавно изогнутые, — не похожие на те, что вначале сбривают, а потом сверху рисуют.

— А орех уже вянет, — продолжает моя квартирантка. — Листья скоро опадут, и вы будете видеть одни балконы, завешанные бельем.

Так что пришлось и шторы купить, и розовый абажур — при всем моем уважении к плевательнице Жоржа, — и маленький стол на место того огромного, что занимал полкомнаты, и не помню уже, что еще, а Лиза так вымыла стены какой-то пастой, что от грозных коричневых сталактитов, начерченных сыростью, остались только их тени, похожие на легкие, едва заметные кружева.

— Это кто — греческая богиня? — спрашивает Лиза, посматривая на гипсовую красавицу, стоящую в углу со шляпой на макушке.

— Вероятно.

— Богиня любви?

— Любви, конечно. Если не мудрости. Жаль, что на ней нет этикетки с указанием ее титула.

— Хороша! — замечает Лиза.

— Чумазая.

— Я ее умою, если позволите. А шляпа ваша?

— Нет. Прежнего жильца.

— Так что я могу ее выбросить?

— Спросите у богини.

И шляпа исчезает. После чего должна решиться судьба другой красавицы.

— А эта кошка в самом деле не ваша? — спрашивает моя квартирантка, кивком указывая на секс-бомбу из «Плейбоя».

— Я же вам говорил, не моя. Я переехал сюда совсем недавно.

— А где жили раньше?

Пришлось и это объяснять.

— А что вас заставило забиться в этот мавзолей?

— Развелся, вот что. Только не спрашивайте, почему я развелся.

— Ну, если не хотите. . . — смиряется Лиза с видимым разочарованием. И возвращается к картинке: — А кошка пускай остается?

— Далась же вам эта кошка! Хотите — оставьте ее, хотите — выбросьте.

Она всматривается в фотографию слегка прищуренными глазами, словно решая, как с ней быть. Потом заявляет:

— А по-моему, пускай себе висит. Может, она не очень приличная, но ведь сюда, кроме нас с вами, никто не заходит.

Очень скоро Лиза пытается перейти со мною на «ты», однако я упорно не поддаюсь.

— Должно быть, в ваших жилах течет английская кровь? — спрашивает она однажды.

— Почему это?

— Я все время только и слышу: «вы» да«вы». Говорят, это английский обычай.

— Я не следую чужим обычаям — ни английским, ни каким бы то ни было другим.

— А ко мне — все время на «вы». . .

— Я здесь со всеми на «вы», — неохотно объясняю я.

— Только здесь? Я вас мало знаю, но, кажется, вы со всеми на «вы».

— Может быть.

На этом разговор кончается, и мы продолжаем обращаться друг к другу на «вы».

Словом, я постоянно ставлю преграды, которые Лиза постоянно пытается переступить. К счастью, она не нахальна, во всяком случае, не слишком: легко идет на сближение и так же легко уходит в сторону. И все-таки, поскольку вечерами она сидит дома, что обычно делаю и я, и поскольку мне неудобно сказать ей: «Иди-ка ты в свой чулан», у нее после ужина остается достаточно времени для того, чтобы вновь и вновь подвергнуть испытанию мою необщительность.

Она совсем ненадолго садится в кресло — в то самое кресло Жоржа, которое я было выбросил в коридор и которое, старательно вычищенное, снова появилось у

меня в комнате, так как шаткие стулья, очевидно, не внушают ей доверия.

— Вы под каким знаком родились?

— Не знаю. Жена говорила, что под знаком Козерога.

— А когда вы родились?

— Под Новый год. Небольшой новогодний подарочек для моей семьи. Нашей семье везло на новогодние подарки.

— Что вы имеете в виду? — любопытствует Лиза.

— Ничего. Это я так, между прочим.

— Вы скрытный, — констатирует она. — Под таким вы знаком родились. — И чтобы прояснить все до конца, спрашивает: — В котором часу вы родились?

— Вот этого-то я не запомнил. Я так торопился появиться на свет, что не догадался взглянуть на часы.

— Все мы такие, — вздыхает моя квартирантка. — Торопимся, будто в этом мире нас ждут не дождутся.

Помолчав, она возвращается к прежней теме:

— Но ваша мама, наверное, запомнила. Боль не забывается. . .

— Вы ее испытывали? — решаюсь я задать бестактный вопрос.

— Может, и испытывала. Так что же говорит ваша мама?

— Мы эту проблему не обсуждали.

Однако она все не может угомониться:

— У вас не очень-то хороший знак. . .

— Я давно это понял.

— Нельзя сказать, что вам не хватает глубины. . . но вы слишком болезненно самолюбивы и склонны все идеализировать.

— Пока что вы допустили только три ошибки.

— Вы не слишком самостоятельны, но достаточно самоуверенны, — невозмутимо продолжает она.

— Теперь уже пять.

— Ведете замкнутый образ жизни. Работоспособны. . .

— Я — лентяй.

— Как, вы отрицаете, что замкнуты?. .

Я не считаю нужным отвечать.

— Может, вы не ленивы, но у вас отсутствует самолюбие, — развивает она свои догадки.

— Только что вы говорили, будто я болезненно самолюбив!

— Ну и что? Каждый знак включает по меньшей мере двенадцать разновидностей. Погодите, я вам объясню. . .

— Оставьте! — машу я рукой. — Давайте лучше сыграем в шахматы.

Она еще и в шахматы играет. Играет, правда, весьма посредственно, однако и так сойдет — по крайней мере во время игры не пристает ко мне со своими вопросами. Придется объяснить ей, что игра в вопросы — моя профессия, а не ее, тем более если вопросы провокационные.

Я мог бы задать ей парочку таких вопросов, от которых у нее на всю жизнь пропала бы охота к этой игре, но ее прошлое меня нисколько не интересует, настоящее я знаю, и единственное, что меня немного волнует, это ее будущее — главным образом в том смысле, когда же она наконец избавит меня от своего присутствия.

Дело не в том, что она мне слишком уж надоедает. Женщина обычно слишком надоедает после того, как пустишь ее к себе в постель. Иногда мне бывает приятно подумать, что дома кто-то ждет меня к ужину. Но только иногда, в периоды особенно сильных нервных перегрузок. В остальное же время я предпочитаю оставаться в обществе госпожи Скуки — по крайней мере эта бесплотная дама не задает вопросов; что же касается плоти, дело обстоит просто: у меня ведь есть телефон Бебы.

— Мне кажется, у вас были какие-то сильные переживания. . . — говорит Лиза однажды вечером.

Она сидит в кресле, дымя сигаретой, положив ногу на ногу, и внимательно следит за тем, как лениво я передвигаю шахматные фигуры.

Лизе свойственна эта привычка — закидывать ногу на ногу; можно подумать, что она не без удовольствия демонстрирует свои бедра и делает это якобы непроизвольно, а если и с умыслом, то вовсе не претендуя на

особый успех. Это всего лишь невинная бесцеремонность или хорошо разыгранная непосредственность — со свойственным мне скептицизмом я готов спорить, что более вероятно второе, если вообще стоит спорить о вещах, которые меня мало занимают.

— Вы о чем? — бормочу я.

— Ну, о переживаниях.

— А у кого их нет?

— Я хочу сказать, какие-то тяжелые переживания.

— Сказал же: развелся я.

— В наше время это не тяжелое переживание.

— Вы арогантны, — бросаю я небрежно.

— Говорите по-болгарски, если хотите, чтобы я вас поняла.

Она меня отлично понимает, но в данный момент это ей невыгодно, а кроме всего прочего, она любит кокетничать своей простотой, не всегда видя разницу между простотой и глупостью.

— Вы нахальны, — перевожу я. — Без конца выспрашиваете меня, вместо того чтобы говорить о себе.

— О себе неинтересно. Я слишком хорошо себя знаю, — довольно убедительно отвечает она.

С такой логикой нельзя не считаться. Она между тем продолжает:

— И потом, я вам неинтересна. Это было заметно сразу, с первого же вечера. . . Господи, вы меня тогда просто убили!. . Собралась раскрыть перед ним душу, а он: мне это ни к чему.

— Вы собрались лгать.

— Ну, это уж слишком! У вас нет абсолютно никаких оснований подозревать меня в подобных вещах.

Аккуратно расставив все фигуры до последней пешки, я небрежным движением смахиваю их с доски. После этого поднимаю взгляд на свою собеседницу.

— Вы это всерьез — что готовы первому встречному рассказать всю жизнь от начала и до конца?

— Вот еще. Можно и не от начала до конца, но говорить правду.

— Потому-то я и сказал: мне это ни к чему. Кому нужна половина правды?

Она, очевидно, возвращается к мысли, что до ее

прошлого мне нет никакого дела, но я вдруг спрашиваю:

— Впрочем, почему вы сбежали от матери?

— Да это уже не первый случай, — непринужденно отвечает Лиза. — Если бы вы знали, сколько раз я убегала. . .

— Похоже, вы не любите свою мать?

— А за что ее любить? За то, что она отреклась от моего отца?

— А теперь отец от вас отрекается.

Эту фразу я обронил невольно, но, к счастью, Лиза не понимает, что именно я хочу сказать.

— Почему отрекается? Верно, встретил он меня не с распростертыми объятиями, но его можно понять. Ему нужно время, чтобы привыкнуть. А вот мать уж никак понять невозможно.

— А если ее заставили?

— Заставили, а то как же. . . И не кто-нибудь, а Костов.

— Кто это?

— Любовник. Подозреваю, что она с ним связалась еще до того, как отца посадили. Она вышла за отца исключительно по расчету. Привыкла до Девятого жить в свое удовольствие. Только тому, кто жил в свое удовольствие до Девятого, стало несладко после Девятого, и вот, чтобы поправить свои дела, она и приметила жертву среди новой знати.

— Вы слишком строго ее судите, — замечаю я. — Брак по расчету — явление обычное. Даже пьесы пишутся на эту тему.

— А то, что она от него отреклась, как только его арестовали? И не просто отреклась, а оплевала. Вместо того чтобы озлобиться на собственную судьбу, озлобилась на мужа. Дескать, видали, какой подлец, представился мне большим человеком, а сам, не успев жениться, извольте радоваться, в тюрьму угодил. До такой степени озлобилась на человека, что объявила его покойником. Всю жизнь врала мне, что он мертв.

— Для нее он умер. .

— А для меня умерла она. И давно. Мещанка, какой свет не видал, эгоистка.

— Неужто она вас не любит?

— Почему же, любит. Как может любить эгоистка. Нужна мне ее любовь, если я зачата без любви и рождена без любви! Она носила меня в утробе и ненавидела моего отца. Меня рожала, проклиная отца.

— А вы скучали по нему? Даже не имея представления, какой он?

— Неужели нет! — Лиза бросает на меня вызывающий взгляд. — Я полюбила отца, потому что не любила мать. Он был ее противоположностью. . .

— Естественно. Если иметь в виду пол. . .

— Если иметь в виду все. Он был идеалист. . .

— Может, он и сейчас такой. Но это ровным счетом ничего не означает. Мой отец тоже был идеалист — ну и что из этого? Живой человек никогда не бывает идеальным. Особенно если вы живете при нем. Ваше счастье, что вы не жили с вашим отцом.

— Эту трагедию вы называете счастьем?

— Уж прямо — «трагедия». Такое бывает даже в самых благополучных семьях.

— Больше ничего не стану вам рассказывать, — насупилась Лиза, словно капризный ребенок. — Вы смеетесь надо мной.

Сегодня воскресенье, и, когда внизу раздаются два звонка, меня это озадачивает. Инкассатор в этот день не приходит, а кроме инкассатора, никто другой ко мне не придет.

Лиза, которая в этот момент ставит завтрак на новый столик, глядит на меня с недоумением.

— Кто бы это мог быть?

Хотя ее проживание здесь давно узаконено, мысль о том, что могут внезапно прийти и проверить документы, все еще беспокоит ее.

Спустившись в Темное царство, я открываю дверь и вижу у входа воспитательницу интерната с двумя детьми. Их возгласы «Дядя! Дядя!» заглушаются словами воспитательницы:

— Извините, что я их привела, но у них только и разговоров что о вас. . .

— Хорошо сделали, — успокаиваю я ее, беря детей за руки.

— К другим приходят родители, близкие, уводят их с собой, а об этих никто и не вспомнит, — продолжает воспитательница.

Я останавливаю ее излияния, чтобы уточнить, когда она придет за детьми. Наконец она уходит, и я веду малышей в свои покои.

— О! Чьи это детки? — восклицает Лиза при появлении гостей.

— Мои.

— Мы дядины, — подтверждает мальчонка.

— Ну скажите же, чьи они! — пристает ко мне Лиза.

— Ничьи.

— Иди-ка, я на тебя погляжу. Какой бутуз! — говорит она, привлекая к себе малыша. — Как тебя зовут?

— Меня зовут Гошко. . . Но я — Георгий.

— Придет время, станешь и Георгием, — уверяет его Лиза. — А пока будь Гошко.

— Только бы не стал каким-нибудь Жоржем, — бормочу я, усаживая за стол его сестренку.

— А тебя как зовут? — спрашивает у нее Лиза.

— Румяна.

— Очень красивое имя.

Имя, может, и красивое, но девочка все еще бледная, вялая. Веснушчатое лицо и серьезные, недетские глаза — наверное, такой она и останется, внутренний надлом не проходит бесследно. А вот братик ее, похоже, окрепнет, хотя и у него в душе навсегда сохранится смутный страх, от которого его сновидения будут полны тревоги.

После завтрака я иду с детьми на улицу, чтобы Лиза могла спокойно приготовить обед. День выдался солнечный, довольно прохладный — обычный октябрьский день, листва в сквере уже становится желто-зеленой, а то и вовсе ржавой, ночью прошел дождь, и в аллеях стоит запах листьев, осенний, кладбищенский запах.

В сквере тихо и почти безлюдно, лишь кое-где отдыхают пожилые люди, матери толкают перед собой коляски, а поблизости от нас сидят на разных скамей-

ках два наших пенсионера, погруженные в чтение воскресных газет. Проходя мимо, я киваю Димову, так как Несторов не поднимает головы. Мы прогуливаемся вдоль аллеек, но это занятие скоро надоедает, и я в приливе изобретательности отсылаю детей к палатке у входа в сквер, чтобы они купили себе конфет. Взглянув на часы, я замечаю, что время почему-то течет очень медленно, и плетусь в обратном направлении.

Димов исчез, это меня расстраивает — я мог бы предложить на его рассмотрение парочку наболевших вопросов, ведь до обеда еще далеко. Но у Рыцаря свое расписание, и я издали вижу, как его высокая тощая фигура в темном широком пальто пересекает бульвар и направлятся к клубу ветеранов революции, где можно выпить кофе, пахнущий бакалейной лавкой, и сыграть в шахматы.

Тогда я нерешительно подсаживаюсь к Несторову. Он по-прежнему поглощен газетой и на мое приветствие бормочет нечто нечленораздельное. Дети все еще возле палатки — отсюда они мне кажутся такими маленькими и жалкими в своих серых пальтишках.

— Чьи эти дети? — спрашивает Борец после продолжительного молчания.

Он, вероятно, наделен способностью видеть ухом, так как не отрывает глаз от газеты.

— Не мои, — отвечаю уклончиво.

— Елизаветины?

— Нет.

Чтобы он больше не приставал с вопросами, я в нескольких словах рассказываю ему, в чем дело. Несторов сидит все в том же положении, уставившись глазами в газету, затем откладывает ее в сторону и сердито бубнит:

— Это опять-таки безответственность!

— Что поделаешь? Серые люди, — говорю я небрежным тоном.

— А ученые чем лучше? — рычит Борец. — Всю жизнь не видел дочери, и вот она рядом, а ему на нее чихать!. .

— Человек был репрессирован. . .

— Оставьте, я не люблю сплетен! — прерывает Нес-

торов. — И не впутывайтесь в историю, которая вам не знакома.

Я молча разглядываю огромные деревья, заслоняющие улицу. Великолепная ширма, скрывающая городской быт. Зато со стороны бульвара деревца какие-то хилые, и сквозь них просматривается ряд одинаковых зданий со всей их однотипной неприветливостью.

— Разболтанность! — слышится рядом ворчание Борца. Однако это слово, вероятно, кажется ему недостаточно сильным, и он продолжает: — Безответственность!. .

— На кого вы так сердитесь? — любопытствую я.

— Сердись, не сердись — это дела не меняет. Факты остаются фактами.

— Потому что если уж сердиться, то сердиться самим на себя, — говорю я. — Ведь мы же сами довели до такого положения. . .

— Кто «мы»? Я или вы? — уточняет Несторов.

Набычившись, он смотрит на меня прищуренными глазами, полными презрения. Мне начинает казаться, что сейчас он меня ударит.

— Боюсь, что скорее вы, — отвечаю я. Пусть хоть не даром бьет. И так как он продолжает сверлить меня взглядом, добавляю: — Я мелкая сошка — пишу по мелочам. А вы, насколько мне известно, занимались делами покрупней.

— Когда я занимался, я за все отвечал, — рычит Борец. — Потом пришли другие. . .

— И вас вышвырнули.

Фраза пришлась ему не по вкусу.

— Я стал неудобен.

— Вас уволили, — предлагаю я более приличную формулу.

— С какой стати меня увольнять? — Мой собеседник снова глядит на меня неприязненно. — За то, что я исправно выполнял указания? Я получил другой пост.

— Такой же высокий.

— Не высокий и не низкий. Назначили директором одного предприятия. И вот там я воочию увидел, что такое разболтанность. Но я человек военный, разбол-

танность не терплю. Как начал всех шерстить — и посыпались заявления об уходе.

Он замолкает и принимается расстегивать свое зеленоватое летнее пальто — видно, его в жар бросило от этих разговоров. Но со стороны кажется, что человек захотел проверить, на месте ли его живот. Живот на месте. Несторов машинально подтягивает широкий ремень и продолжает, все так же глядя вниз, как бы беседуя с собственным животом:

— Так что я никому спуску не давал.

— И дело пошло на лад. . .

— Я бы навел там порядок, если бы не начали вмешиваться: так, мол, нельзя, это же рабочие. . . Если рабочие, так пускай работают! Было бы у нас хотя бы процентов пять безработных, каждый бы небось дрожал за свое место. . .

— Значит, и там вы оказались неудобным?

— Удобный, неудобный — отправили меня на пенсию. — Он снова подтягивает ремень и заканчивает сердито: — Распустились мы, вконец распоясались. . . Забыли, кто мы и кто нас окружает.

— Сейчас мирное время. Нельзя же, чтобы везде и всегда было как в казарме.

— Мирное время, говорите? — хмыкает Борец. — Где оно, это мирное время?

— Все-таки разрядка. . .

— Разрядка? — Несторов двумя пальцами поднимает газету, словно какую-то не очень чистую тряпку. — Вот эти газеты — вы их пишете? Тогда о какой разрядке вы говорите? Люди воюют в разных концах света, а вы все толкуете о разрядке. . .

— Важно избежать мировой. Уцелеть.

— Для вас, может, и важно, — пренебрежительно цедит Несторов.

— Для всех важно.

— Ты, парень, говори от своего имени, не от моего! — грубо обрывает он меня, внезапно переходя на «ты». — Если бы это и для меня было так уж важно, я в свое время полеживал бы себе на лавке, вместо того чтобы скитаться по горам и соваться под пули.

И как бы давая понять, что разговор окончен, Бо-

рец резким движением закутывается в пальто. Но так как до обеда еще есть время, я позволяю себе еще одну реплику:

— Речь ведь не о вас и не обо мне — обо всем человечестве. Человечество-то должно уцелеть?

Он молчит минуту-другую, словно размышляя, стоит отвечать такому дураку или нет. Потом изрекает:

— Задача, парень, состоит не в том, чтобы уцелеть. Задача заключается в том, чтобы победить.

— Так как же можно победить, если мы не уцелеем?

— Вот именно, — кивает Несторов, будто ждал такого вопроса. — Все оппортунисты испокон веку рассуждали подобным образом: давайте, мол, на этот раз себя пощадим, иначе кто же будет продолжать борьбу?

Разумеется, он уверен в своей правоте. Самое главное для него — утереть мне нос. И, полагая, что он этого достиг последней фразой, Борец неторопливо встает и торжественно удаляется.

Провожая его взглядом, я замечаю, что и Борец потащился в клуб. Как видно, и он, и Димов наведываются в одни и те же места, сохраняя, однако, между собой дистанцию во времени и расстоянии.

Солнце поднялось высоко. Ярко-оранжевое, оно сейчас похоже на раскаленный металлический диск, успевший немного остыть в мглистой белизне неба. Настолько, что теперь на него можно глядеть без темных очков, словно это огромная апельсиновая луна, а не наше дневное светило.

— Ну как, наигрались? — спрашиваю я детей, беря их за руки.

Вопрос довольно-таки глупый, потому что все это время они были у меня перед глазами, такие одинокие и словно кем-то забытые у входа в сквер. Но что-то же надо было им сказать.

— Здесь не во что играть, — заявляет малыш звонким голоском.

— А в интернате?

— Есть, — отвечает Гошко без особого энтузиазма.

Благодаря Лизе и ее котлетам за обедом царит явное оживление.

— Дядь, а почему ты телевизор не включаешь? — бесцеремонно спрашивает Румяна.

Я соврал своей квартирантке, что телевизор не работает. Соврал в первый же день, опасаясь, что иначе она будет торчать у меня в комнате, смотреть передачи, и для пущей верности вытащил его в коридор.

— По-моему, он испорчен, — тихо отвечаю я.

— Дядя, а ты попробуй включить — может, он не испорчен? — подает голос и мальчонка.

Ничего не поделаешь, приходится тащить телевизор обратно в комнату, устанавливать его на старом месте, в углу на тумбочке. Ко всеобщему удивлению, он заработал. Я и сам немало удивлен.

— Скажи, пожалуйста! А Жорж говорил, что он испорчен, — рассуждаю я вполголоса, но так, чтобы слышала Лиза.

Малышам повезло — вскоре начинается какой-то детский фильм, потом Лиза ведет их в кафе-кондитерскую, потом, увы, приходит неизбежное в облике воспитательницы, и мы провожаем маленьких гостей, обещая им, что скоро снова увидимся, и испытывая смутные угрызения оттого, что не уделили им достаточно внимания.

— Они такие печальные, — говорит Лиза после того как мы вернулись в наши покои.

— Тем лучше для них. По крайней мере когда вырастут, не будут смотреть на жизнь сквозь розовые очки.

Лиза устраивается на своем обычном месте, в кресле, и принимает привычную позу, позволяющую ей демонстрировать свои бедра.

— Значит, если в детстве человек испытал лишения — это имеет какой-то прок?.. Не понимаю.

— Со временем поймете. Не стал бы утверждать, что вам крупно повезло в жизни, однако, похоже, вы еще не знаете, почем фунт лиха.

Ее теперь долго не прогонишь, и потому я тоже занимаю свое обычное место — на кровати.

Лиза рассеянно берет сигарету из пачки, собирается закурить, но не закуривает. Остановив на мне свои темные глаза с едва заметным вызовом во взгляде, она говорит:

— Меня тоже жизнь достаточно трепала. Но вряд ли от этого был какой-либо прок.

— С детства?

— Можно сказать, с первых шагов. Да и потом, когда я решила учиться дальше. Мне страшно хотелось поступить в театральный институт, а мать настаивала, чтобы я закончила курсы машинописи и стенографии. На курсах, сказала она, учатся шесть месяцев, и сразу тебе обеспечено место секретарши, сразу начинаешь зарабатывать деньги, вместо того чтоб годами прозябать в институте. . .

— Логично, — одобрительно киваю я.

— Практично! — уточняет Лиза.

Она снова хочет закурить, но и на этот раз оставляет сигарету незажженной и спрашивает:

— Если в молодости не попытаться овладеть любимой профессией, то когда же?

— И вы сказали себе: даешь театральный институт!

— Вы угадали. Когда я пришла туда, в коридоре стояла толпа. С ума можно было сойти от страха, но я решила не падать духом: раз столько всякого народу сдает экзамены, почему бы и мне не попытаться. Я дождалась своей очереди, переступила порог аудитории и вовсе пришла в ужас — неужто все эти люди будут меня экзаменовать? Но кое-как я собралась с духом. Не затем ты шла сюда, чтобы вешать нос, сказала я себе, и, когда один из этих людей спросил, какое из трех стихотворений, попавшихся мне в билете, я хочу прочесть, я решительно заявила ему, что готова прочесть все три, а он: на три у нас не хватит времени, вы нам прочитайте стихотворение Дебелянова, и я его прочитала глазом не моргнув, безо всякого стеснения, но они не столько слушали, сколько осматривали меня, а некоторые даже перешептывались, мне нетрудно было догадаться — насчет моей фигуры, но я не растерялась и продекламировала стихи без малейшей запинки. Так что я была допущена ко второму туру, а потом и к третьему, и на этот раз я не ударила лицом в грязь, хотя, слушая мои ответы, они не переставали шушукаться: наконец мне предложили прочитать какой-нибудь отрывок из «Анны Карениной», только не

успела я прочесть несколько строк, как председатель комиссии сказал, что достаточно, и тут я поняла: что-то здесь не так, и говорю ему: выходит, мне не добраться до последнего тура, а он: выходит, так, тогда я спросила, почему — потому что я такая толстая? А он, усмехаясь: габариты, говорит, не самое главное; тогда что же, спрашиваю, ведь я же ответила без единой ошибки, а он мне опять с усмешечкой: ошибки бывают не только в словах, за словами кроются переживания, короче говоря, дает мне понять, что я неэмоциональна; я было хотела сказать ему, что переживания выражаются не в воздыханиях и закатывании глаз, но смолчала и пошла к выходу, какой, думаю, смысл лезть на рожон, их ведь целая орава ученых специалистов. . .

Дошло дело и до биографии, размышляю я, рассеянно слушая ее рассказ. Позвонил бы вчера Бебе, может, провел бы этот вечер с нею, но теперь уже поздно — Беба заранее уточняет свою программу, особенно на воскресные дни.

— И что дальше? — спрашиваю я, чтобы у Лизы не создалось впечатления, будто я совсем ее не слушаю. — Попытали счастья, пришли ни с чем домой и свернули знамена?

Она опять берет сигарету, намереваясь закурить, однако после моего вопроса спешит возразить и забывает про нее.

— Не совсем так. Я даже решила не складывать оружия, хотя все, словно сговорившись, старались охладить мой пыл. Вера, подруга, говорила мне: «И ты, с твоим-то задом, решила сыграть Офелию?» А тебе, говорю, откуда известно, какой у Офелии был зад, или, по-твоему, героиня, помимо всего прочего, обязательно должна быть выдрой, потому что ты сама выдра?

— Здорово же вы ее отбрили, — бормочу я, чтобы она не подумала, будто я совсем ее не слушаю, хотя, рассеянно следя за ее рассказом, я невольно представляю себе бледно-голубую гостиную Бебы и саму Бебу в эфирной тунике и длинных нейлоновых чулках.

— Я решила не складывать оружия, — продолжает Лиза. — А тем временем один мой знакомый говорит

мне, что в таком деле одного оружия недостаточно, что нужно еще шевелить мозгами, что на его языке означало «иметь связи», потому что здесь, говорит, девятьсот олухов дерутся за каких-то тридцать мест, и разве можно при таком положении на что-то рассчитывать, если у тебя нет связей. И этот мой знакомый посылает меня к некоему Миланову — очень, мло, важная птица в области культуры и серьезный человек. Оказалось, он и в самом деле серьезный человек, до того серьезный и строгий, что, как только я его увидела, я сказала себе, что этот наверняка меня прогонит, но он не стал этого делать и даже выслушал меня, а потом начал расспрашивать о том о сем — что я читаю, и есть ли у меня какая-нибудь театральная культура, а под конец говорит: если хотите знать мое мнение, скажу, вы не годитесь для театрального института. Но я хочу! — сказала я. Ваше право, говорит он, но как гласит поговорка, хотеть — еще не значит мочь. А почему я не гожусь для театрального, спрашиваю, из-за моей фигуры? Из-за фигуры и по многим другим причинам, говорит, и как начал их перечислять, я совсем скисла. Выходит, зря Васко послал меня к вам? Вы, говорит, уже третья, кого он мне присылает, двух других я тут же выпроводил, так что мне ничего не стоит и вас выпроводить. Но если вы действительно желаете, чтобы я вам помог. . .

Тут она замолкает, словно для того, чтобы собраться с мыслями, и берет со столика забытую сигарету.

— Да закури ты наконец, — мысленно подталкиваю я ее. — Только на нервах мне играешь.

Она закуривает. Делает одну за другой две глубокие затяжки и бросает взгляд в мою сторону, как бы желая удостовериться, что я еще здесь.

— И что, вы думаете, мне предложил этот тип?

— Стать его секретаршей, — отвечаю я не задумываясь.

— Угадали. После всех мытарств я должна была вернуться туда, куда меня посылала мать. Ну, конечно, он не сразу предложил мне стать его секретаршей. Устраивайтесь, говорит, на курсы, приобретайте специальность, а если решитесь поступать в университет,

надо будет посмотреть, к чему у вас больше склонностей, и все хорошенько обдумать. Он имел обыкновение все основательно обдумывать, с принятием решений не торопился, но, коль скоро принимал решение, оно становилось законом. Командовал мною как хотел, словно я была его дочкой. Конечно, кто-то же должен был мною руководить, но надо ведь и меру знать. К чему тебе маникюр? Что эта за юбка у тебя? В ту пору была мода на мини-юбки. Если не купишь себе нормальную юбку, пеняй на себя. Но другие носят! Пусть носят, какой-нибудь девочке, может быть, и не плохо, но когда ты выставляешь напоказ свои телеса, можно подумать, что ты себя предлагаешь. Особенно когда накрасишься и с этой прической. Что ты хочешь этим сказать? Я к вашим услугам? В первую же неделю переиначил всю мою внешность. Как, впрочем, и манеры. Да и за языком моим стал следить — что ни скажешь, все ему не так. . .

Она умолкает, гасит в пепельнице недокуренную сигарету.

— Значит, снимал стружку как надо. Теперь вы знаете, что такое порядок и дисциплина, — с некоторым злорадством констатирую я.

— Что мне было делать? Я по крайней мере надеялась, что по окончании курсов он возьмет меня к себе секретаршей, но он, представьте себе, отфутболил меня к одной своей знакомой. Не могу, говорит, взять тебя к себе, люди тут же догадаются, что у нас с тобой близкие отношения. Надо беречь свой авторитет. И отфутболил. А та знакомая его, судя по всему, была в него влюблена, потому что встретила меня уж с такой кислой миной. . . Она буквально ела меня поедом за стенографию, и все потому, что, как я ее ни изучала на курсах, проклятую эту стенографию, по-настоящему овладеть ею так и не сумела. Эти сиглы, будь они неладны, я даже во сне их видела, они ползали по мне, словно насекомые. Стенографировала я на свой собственный манер, где сиглами, а где просто сокращала, но ее не проведешь — грызет меня, и все тут. Даже если я не давала ей повода, она сама без труда его находила. несмотря на склероз: что это вы тут нагородили?

Я ничего подобного не диктовала! Я думала, говорю, что это ваши слова. А она: вы тут не для того, чтобы думать, а для того, чтобы стенографировать.

— А как же с университетом? — спрашиваю я.

— Так ведь именно ради университета я все и терпела. Миланов после долгих колебаний решил, что мне надо поступать на факультет болгарской истории и литературы. А зачем это мне? — спрашиваю. Станешь учительницей. Это, говорит, пожалуй, самая лучшая профессия для человека, у которого нет никаких определенных наклонностей. Не решался прямо сослаться на мою тупость. Ты, говорит, много читаешь, это твой плюс, за неимением другого воспользуемся этим. Ты будешь читать и рассказывать прочитанное своим ученикам, разве это так трудно? Однако до университета дело не дошло. Та женщина готова была душу из меня вытрясти. Приношу как-то письмо, которое она мне продиктовала накануне, а она: что за вздор, я не могла сказать подобную глупость! Я отвечаю, что записала точно. А она: значит, я диктую глупости? Я не за тем сюда пришла, говорю, чтобы ваши мысли оценивать. А она: зачем вы вообще сюда пришли?.. И потребовала, чтобы я позвала другую секретаршу. Я решила уйти и сказала об этом Миланову. А он: ни в коем случае. Даже расшумелся, что было ему не свойственно. Да пойми ты, говорит, голова садовая, это же не в твоих интересах, какой тебе смысл портить себе характеристику, терять стаж, закрывать перед собою двери в университет? Он был прав, как всегда, он относился к той категории людей, которые всегда и во всем оказываются правы, не то что мы, грешные.

Я встаю, чтобы взять сигарету.

— Ой, извините, — спохватилась Лиза. — Я вам надоела, наверное, наскучила...

— Ничего, — успокаиваю я ее. — Или вы полагаете, что в шахматы играть интереснее?

Особенно если учесть, как вы играете, думаю я, пока закуриваю.

Конечно, не надо было говорить о шахматах, я это понимаю, видя, как она растерялась.

— Вы что, обиделись? — спрашиваю я. — Я ведь

вас слушаю. Тогда к чему это: надоела, наскучила. . .
— Я же вижу, вы и вправду скучаете.
— Что ж нам теперь — препираться? — Лиза попрежнему молчит, потупив глаза. — По-моему, самое интересное, что можно услышать от человека, — это его собственная история, — говорю я. — Ну так как же закончилась ваша?
— Пришлось уступить. . . — неохотно отвечает Лиза. — Только мне это вышло боком. На другой день начальница вызывает меня, а сама злая-презлая. . . Не успела я переступить порог, как она начинает диктовать. Строчит как пулемет — то ли нервничает, то ли мне решила досадить. Потом потребовала тут же перепечатать письмо на машинке и принести ей на подпись. Я настрочила, приношу, а она, даже не прочитав как следует, давай меня честить: нет, это невозможно, кричит мне в лицо, вы ни на что не способны, все, что вы тут написали, — галиматья, попробуйте хотя бы заявление об увольнении написать грамотно, этим вы меня избавите от необходимости требовать, чтобы вас отсюда убрали. . . Та-та-та-та-та — и точка! Подаю заявление, иду к Миланову. Тот приходит в бешенство, если холодильник вообще способен приходить в бешенство. Внутри у него все клокочет, а от самого веет холодом. Ведь я же сказал, чтобы не смела уходить! Если бы я не ушла, говорю, она бы сама меня уволила. Да не стала бы она тебя увольнять, я с нею говорил вчера. Так вот почему она была в такой ярости, догадываюсь я. А Миланов: теперь все пошло прахом, сама виновата. Этим и кончилось.
— Что? Ваша связь с Милановым?
— Про связь с Милановым я вам не говорила. . . — сухо произносит Лиза.
— А я и не спрашивал. И все же заботу Миланова о вас трудно считать отеческой.
— Отеческая забота — явление редкое, — признает моя квартирантка. — Даже настоящие отцы не часто ее проявляют. — Подумав, она продолжает:
— Я хочу сказать, если я жила с Милановым, то не ради того, чтобы завести какие-то связи, устроиться. . .

— Значит, вы женщина с характером. Жить с человеком, который тебе безразличен. . .

— Почему безразличен? Он единственный мог мне помочь. И, верно, помог бы, если бы я не ушла.

— Тогда зачем было уходить?

— Вы же слышали — он просто выгнал меня. Что было делать? Валяться у него в ногах? И потом, терпеть такого, как он, не каждая сможет. Это вовсе не означает, что я не могу жить по команде, но хотя бы смысл команд я должна понимать. А Миланов не склонен был ничего объяснять. Раз он так решил, значит, так и должно быть.

Лиза замолкает и, взяв сигарету, нервно закуривает. Потом продолжает, вперив взгляд в пространство:

— Своеобразный тип: ему бы всеми вокруг командовать, да вот пороху не хватает. Он низкорослый, мне это было все равно, а его так угнетало, что пройтись со мной по улице он никогда не решался — боялся насмешек. И ко всему прочему ужасно меня ревновал. . . Но все-таки я ему очень благодарна. . .

— За воспитание?

— Да, и за воспитание. Одно время я стала было осваивать приемы дзюдо, чтобы можно было защититься, если нападут мальчишки. А Миланов вооружает меня более верными средствами: перестань краситься и надень темные очки. . .

— Почему вдруг темные очки? — спрашиваю я, вспомнив Петко.

— Ты, говорит, когда идешь по улице, постоянно стреляешь глазами по сторонам, будто ищешь себе мужчину. Не могу же я смотреть в одну точку, словно загипнотизированная. А он: раз не можешь, надень темные очки, пускай хоть люди этого не видят. Юбку отпусти и грудь не оголяй. . . И чтоб я больше не слышал этих твоих «ни фига себе» и «в гробу видала». . .

— Вот-вот! — одобрительно киваю я. — Дисциплина и порядок. Ну, а потом?

— Потом я работала в одном магазине, пластинками торговала. Но меня взяли временно, и позднее я попала в книжный магазин — тоже кого-то заменяла. Директор обещал зачислить меня в штат, если я буду сго-

ворчива, только я оказалась несговорчивой — это был до того отвратительный тип, что от одного его вида становилось дурно. . . При первой же возможности этот подонок вышвырнул меня, и, чтобы было чем платить за комнату, которую мы снимали вдвоем с подругой, пришлось пойти на завод. Это было ужасно —дело не в работе, тяжелой работой меня не испугаешь, — а в том, что завод был далеко, за станцией Искыр.

— У черта на куличках.

— Вот именно, и дорога только в один конец занимала полтора часа. Пришлось все-таки помириться с матерью и вернуться домой, но длилось это не долго. Мы снова так разругались, что, верно, я уже никогда к ней не вернусь. . .

Лиза нервно гасит в пепельнице сигарету и продолжает:

— С той поры я без работы и без квартиры. Думала снять полкомнаты там, где жила прежде, но лето прошло, и комнату уже сдали. . . Есть у меня несколько подруг — впрочем, какие они подруги, так только говорится, — у каждой я ночевала раз-другой, больше не пускают, так что все свои связи я уже использовала, и вот осталась на улице. Знаете, это ужасно, когда совсем не на кого опереться. Я металась по городу, часами сидела в кафе-кондитерских, просматривая газеты, надеясь найти объявление о работе с предоставлением общежития. А однажды дошла до ручки. Сидела целый день в какой-то харчевне, пока ее не закрыли. Вечером стала обходить дешевые гостиницы — пустое занятие. Тогда я села в трамвай и поехала на вокзал — там по крайней мере есть зал ожидания. Только чего мне было ждать?. . Долго я там маялась, раздумывая, как же мне найти приют — забиться в кусты где-нибудь в парке или пойти на последнее унижение постучаться к Миланову, вернее, на предпоследнее, потому что последнее — это когда перед носом дверь захлопнется. И тут гляжу — идет Надя, с которой мы вместе торговали пластинками. Приехала откуда-то. Я упросила ее пустить меня к ним на кухню переночевать и опять-таки с оговоркой — только на одну ночь, и для меня это была просто судьба, пото-

му что, лежа у них на кухне и разглядывая какую-то старую газету, я вдруг увидела имя отца. Да, это и впрямь судьба, сказала я себе, надо было дойти до точки, чтобы явился наконец выход, надо было оказаться без единого близкого человека, чтобы найти родного отца. — Вероятно, закончив свою биографию, она заключает: — Такие-то дела. . .

Рассеянно глядя перед собой, она теребит свою цепочку, словно пересчитывая в ней колечки. Мне кажется, ее дешевые украшения служат ей главным образом для этого — когда она задумывается, ее руки сами находят себе работу. То она играет цепочкой, то машинально поглаживает браслет, то разглядывает монетку на своем перстне — так, будто впервые ее обнаружила.

— Да, вам действительно не слишком везло в жизни, — признаю я

— Да я не жалуюсь, — отвечает она с каким-то смирением.

— А говорят, терпенье и труд. . . Труд, труд и еще раз труд — вот чем отмечено ваше житье. И никаких романов, если не считать Миланова и того подонка, которому вы спутали все карты.

— Вы любовными историями интересуетесь? — Она смотрит на меня, чуть усмехаясь.

— Не только. Просто я даю вам понять, почему я не люблю выслушивать автобиографии. Полуправда никогда не сойдет за правду.

— Я все это говорю. . .

— Оставьте! — прерываю я ее. — Не обязаны вы говорить мне что бы то ни было. И поверьте, у меня нет ни малейшего желания лезть к вам в душу.

— Охотно верю, — кивает она. — Пока я тут исповедовалась, вы просто умирали со скуки. И все же слушали. Вы хорошо воспитаны, Тони.

— Только цену мне не набивайте. Включить телевизор? — спрашиваю я, чтобы переменить тему.

— Я, наверное, пойду спать. Похоже, эти детишки малость меня расстроили.

На другой день Лиза кажется мне более молчаливой чем обычно. Ничего удивительного, ведь накануне

вечером она досыта наговорилась. А вернувшись с работы, я ее не нахожу — чрезвычайное происшествие, потому что в это время она обычно всегда дома.

Спускаюсь вниз, чтобы принести из шкафчика что-нибудь на ужин, а когда пересекаю Темное царство, неожиданно слышу смех в комнате Илиева. Громкий женский смех, однако я не стал бы утверждать, что именно Лиза там хохочет, поскольку в моем присутствии она ни разу громко не смеялась. Отнеся наверх остаток воскресного обеда, я включаю телевизор, чтобы можно было насладиться котлетами и международным обозрением.

— Извините, ради бога, оставила вас одного, — слышится позади меня голос Лизы. — Илиев тут пригласил меня на чашку чая. Неудобно ведь, выхлебав чай, тут же бежать.

— Вы так оправдываетесь, будто провинились, — отвечаю я. — Ведь договорились: вы не должны чувствовать себя так, будто у меня служите.

— Почему служите? Разве вам неприятно, что о вас хоть немного заботятся?

— Кому это неприятно? Значит, Илиев решил побаловать вас чаем?

— Почему же, и коньяк был. И печенье. . .

Видимо, первые светские успехи в этом доме ее окрыляют.

— Он вам рассказал про неврорецепторы?

— Говорите по-болгарски, чтобы вас можно было понять.

— Значит, не рассказывал.

— Тогда вы расскажите, — предлагает она, усаживаясь по другую сторону столика.

— Не могу, это патент. Именно по его теории человеческие чувства — нечто вроде болезней и от них, так же как и от болезней, можно лечиться таблетками.

— Нет уж, таких глупостей он мне не говорил.

— Еще успеет.

— Вы включили телевизор? — удивляется она.

— Вместо торшера.

— Я так и подумала. Ведь столько времени вы его

не включали. А знаете, мне как раз сегодня пришла в голову одна мысль.

— У меня был друг, которому в течение дня приходили в голову тысячи мыслей, но это не делало его богаче.

— Что это за мебель, сваленная вон там, в конце коридора?

— Старая рухлядь.

— Эти кресла — когда они стояли в гостиной, в них люди отдыхали, и стол там есть, целый гарнитур. . .

— Пришедший в полную негодность.

— Вовсе нет. Надо только каждую вещь почистить и малость починить. Если все это спустить вниз, да прибавить телевизор, да ввернуть в люстру две-три лампочки, вы представляете, что будет?

— Темному царству придет конец, — киваю я скорбно.

— Товарищ Илиев обещал помочь снести мебель и заняться электропроводкой. С остальным я сама справлюсь.

Старая история. Хочешь нажить себе хлопоты — свяжись с женщиной.

— Но вам-то зачем все это нужно?

— Мне лично ничего не нужно, — отвечает Лиза, разочарованная холодностью, с которой я встречаю ее идею. — Я считаю, это нужно вам. Вы все живете здесь как чужие. Вы с Илиевым хоть здороваетесь, а старики друг другу даже не кивнут. А ведь оба такие одинокие! Странно, как вы этого не поймете. . .

— Боюсь, скорее вы не понимаете кое-чего. Ведь если в этом доме и можно спокойно жить, то лишь благодаря тому, что каждый забился в свою нору и ему наплевать на остальных. И если вытащить их из этих нор и собрать всех вместе, они первым делом переругаются. Зачем же тогда, позвольте спросить, ворочать мебель и ввинчивать лампочки?

— Вы — мизантроп, — говорит Лиза.

— Говорите по-болгарски, если хотите, чтобы вас можно было понять.

Глава шестая

Такое серое осеннее небо, как сегодня, синоптики называют «высокой облачностью». Мне оно кажется похожим на некий полог, которым небесный свод закрыли от публики на время покраски.

Минуя старое желтое строение станции, я направляюсь в город, хотя спускающийся с холма лес, где медный, где золотой на сером фоне, нравится мне гораздо больше. Но грибочками мне не полакомиться, что поделаешь — работа есть работа. Остановив на улице первого попавшегося человека, я спрашиваю, где завод «Красная звезда».

К нам в редакцию пришло письмо с резкой критикой директора завода за произвол и морально-бытовое разложение. Письмо было без подписи, и я поступил с ним, как и полагается в подобных случаях — сунул в папку для анонимок. Однако вскоре было получено второе письмо, на сей раз за подписью «группы работниц», и касалось оно не только личности директора, но и серьезных производственных провалов. После этого на всякий пожарный случай Янков распорядился.

— Слетай-ка, Антон, да посмотри, в чем там дело.

Снаружи — завод как завод. Обычные ворота с лозунгом, написанным крупными буквами, сохранившимся от празднования Девятого сентября и заверяющим, что план будет выполнен по всем показателям.

Без соблюдения каких бы то ни было формальностей я попадаю в дирекцию завода, и секретарша, тоже без особых формальностей, пропускает меня к начальству. Кабинет неприветлив и гол, если не считать портретов и календаря с репродукцией на производственную тему. Место шефа пустует, так как сам он стоит у телефонного аппарата с трубкой в руке. Бросив взгляд в мою сторону, кисло говорит в трубку:

— Понял.

Он больше не обращает на меня внимания, но продолжает держать трубку:

— Да, понял, как же.

Лицо у директора небритое и усталое, я даже подоз-

реваю, что перед тем как выйти из дому он забыл плеснуть в него водой из-под крана. Его серый костюм из синтетики мог бы выглядеть более солидно, если бы не сильно измятые рукава и штанины.

Оставив наконец телефон, директор безучастно выслушивает мое короткое объяснение и вяло указывает на кресло у окна.

— Предложить вам кофе или коньяк не могу. Если хотите лимонаду. . .

Видимо, он нажал кнопку. В кабинет входит секретарша.

— Принесите лимонаду. — И, обращаясь ко мне, вдруг говорит: — Это моя любовница.

Сконфуженно глянув на меня, секретарша торопится уйти. Невзрачная женщина средних лет с бледным лицом и выцветшими голубыми глазами.

— Я полагаю, в письме говорится и про любовницу? — равнодушно спрашивает директор. — В прежних говорилось.

— В каких прежних?

— Да в разных. В местную газету, в инстанции. . .

Звонит телефон. Директор, собравшийся было сесть в кресло, возвращается к письменному столу и поднимает трубку:

— Это я, да. Слушаю. . .

Секретарша приносит на небольшом подносике бутылку тоника и стакан, очень похожий на банку из-под конфитюра. Поставив все на столик передо мной, она смущенно произносит «пожалуйста» и уходит. Совершенно невзрачная, бесцветная, как вид из этого окна, она чем-то напоминает вторую жену моего отца.

А директор все так же держит трубку, отстранив ее от уха, и вид у него такой, будто он не слушает, а досыпает то, что недоспал утром.

Наконец он хмуро и сонно произносит:

— Как ничего не делаем? Люди надрываются. . .

Он замолкает, вероятно захлестнутый встречным словесным потоком, затем говорит уже не так сонно:

— На что дали сырье, то и производим. . . А ежели важней другое, то пускай нам обеспечат хлопок. Без собаки зайца не поймаешь. . . Что? Как то есть не на-

ставали? Да мы тонну бумаги израсходовали, переписка налицо!. . А почему бы вам не попробовать?. . Вот-вот, попробуйте лбом стену прошибить. . .

Разговор продолжается еще какое-то время, наконец директор заключает вполголоса: «А чего тут сердиться, мне не привыкать» — и кладет трубку. Он садится в кресло напротив меня, но смотрит не на меня, а куда-то в сторону, словно где-то там, в стороне, стоит невидимый оппонент, с которым он продолжает мысленно спорить.

— Как видите, проверок и без вашей хватает, — бормочет директор, поглаживая подбородок, словно хочет убедиться, что он действительно небрит. — К нам идут отовсюду. По десять раз в день. А вам не помешает самому пройтись по заводу. Загляните в партком, к профсоюзному руководству, потолкуйте с работницами — словом, будьте как дома. А когда устанете, возвращайтесь ко мне. Прокатимся на машине, я покажу вам свою виллу. Ведь в письме и про виллу говорится, верно?

Я довольно долго шляюсь по заводу в сопровождении секретаря парткома. «Директор и секретарь парткома — два сапога пара», — сказано в письме. Похоже, тут обо всех так можно сказать, потому что повсюду одно и то же — все с головой погрузились в работу. Никто не обращает на нас внимания.

— Привыкли, — поясняет секретарь парткома. — Осточертели им проверки.

— Все-таки доносы пишут не без причин?

— Причин много.

— Например?

— Например, то, что директор человек не здешний. А местные считают, что этот пост должен занимать кто-нибудь из них. «Аж из Софии прислали человека! А мы тут что, все олухи?»

— А о «человеке из Софии» вы какого мнения?

— Кто из нас безгрешен? Резковат, хотел было сократить штаты и повысить зарплату, да наверху не разрешают. Началась текучесть. . .

— Есть недовольные? — спрашиваю я вдруг.

— Находятся. Среди уволенных. На другом заводе

платят больше, но работа трудней. Прилежные от нас уходят, а ленивые предпочитают оставаться. Если выгонишь, наживешь себе врага на всю жизнь.

— А в целом все в порядке. . .

— Какой там порядок. У нас и с ассортиментом дело дрянь. Только причина не в директоре. Зависело бы от него, работницы первые подняли бы шум — ведь они теряют премиальные.

Все это мне знакомо более или менее, но я обязан довести дело до конца. Так что приходится выяснять и другие вопросы. С наступлением обеденного перерыва мы с директором садимся в разболтанную черную «Волгу». . .

— Куда, товарищ директор? — спрашивает шофер.

Длинные космы и свисающие усы делают его похожим на джазиста.

— Поехали на виллу!

Сначала машина катит по асфальту, затем сворачивает на проселок. От нечего делать я гляжу в окно на ржавую листву придорожных кустарников. Директор молчит — он дремлет.

Наконец шофер резко тормозит, и это заставляет шефа очнуться. Он вылезает из машины, я следую его примеру, и мы продираемся сквозь ржавый орешник, сквозь шорох сухой его листвы, а вокруг витает тот осенний, кладбищенский дух, о котором я вроде бы уже упоминал.

— А вот и вилла! — говорит директор, когда мы выходим на открытое место.

Среди высохшего бурьяна перед нами стоит какой-то сарайчик, построенный, видно, давно, потому что дощатые его стены побурели от дождя и снега. И, вероятно, давно заброшенный, если в нем вообще когда-либо жили люди. Кому она нужна, эта «вилла»? Разве что мне. Ведь вторая моя мечта — мечта-минимум — забиться вот в такую глухомань, растянуться среди бурьяна, уставиться глазами в небо и размышлять о том, что было бы, если бы гравитацию вдруг отменили и я бы стал падать в эту бесконечную бездну, зияющую у меня над головой. . .

— Продавать ее не собираетесь? — спрашиваю.

— Кому? — Директор посматривает на меня недоверчиво.

Мне, хочу я ответить, но вовремя спохватываюсь: Лиза своими нововведениями основательно порастрясла мою казну.

Все-таки пространство есть пространство, думаю я, глазея в окно вагона. Равнина, простершаяся до горизонта, кажется почти неподвижной, но равномерно покачивающееся сиденье напоминает, что мы все-таки находимся в движении. Иногда неплохо расстаться со своей сумрачной улочкой и со своим темным домом, чтобы понять, что свет на них клином не сошелся.

Да, в самом деле, пространство есть пространство, а реальность есть реальность, но как ни бесспорны законы термодинамики и астрофизики, проповедовавшиеся моим покойным другом, небесполезно бывает проверить их и на собственном опыте. Глядя в окно, я мысленно отмечаю, как линия горизонта медленно смещается в сторону — явный признак вращения земли, и как плавно прогибаются нити телеграфных проводов — верное доказательство теории Эйнштейна об искривлении пространства, и как стремительно разбегаются облака в дальние дали — веский аргумент в пользу гипотезы расширяющейся вселенной.

Затем мой взгляд опускается ниже, и я вижу — совершенно случайно, хотя и в соответствии с теорией вероятности — яркое пятно, вспыхнувшее на темном фоне распаханного жнивья, — пожилую цыганку в красной безрукавке, в зеленых шароварах, и у меня такое чувство, что она мне надолго запомнится, эта цыганка, просто так, безо всяких причин, и даже явится когда-нибудь во сне. Это заставит меня задуматься: где-то я ее видел, но где именно? А она, чтобы отблагодарить меня за то, что я ее запомнил, прошепчет мне хрипло: худое, парень, ждет тебя, худое. . .

Я продолжаю смотреть в окно, однако не ищу больше подтверждений основным законам, потому что моя мысль внезапно переметнулась к давешнему заводу и его директору.

Ради чего, в сущности, работает этот человек? Ради чего гробит себя, стараясь не думать о разных кляузниках? Ради куска хлеба? Ради занимаемого положения? Или потому, что все так делают — так положено, так принято? Как принято, например, ходить в школу. Сперва ходим в школу, потом — на работу, послушно следуя в затылок тем, кто идет перед нами. Послушно вышагиваем гуськом, и лишь какой-нибудь совсем чокнутый (вроде меня) может, заупрямившись, усесться на камни мостовой: не хочу, не пойду дальше.

А ведь поначалу с какой радостью отправляешься в школу. Новая форма, новая сумка и новый, никогда ранее не испытанный трепет перед тем, что тебя ждет. Первый день. Только первый. И только потому, что мечту принимаешь как реальность. А потом — какая тягость, бог ты мой, какая тягость. . .

Ради чего, в сущности, работает этот человек? Может быть, просто из упрямства? Вам хочется, чтобы я убрался, — ну уж нет, этого вы не дождетесь. Вы хотите, чтобы я не вводил никаких новшеств, — ну уж нет, я их вводить не перестану. Я буду здесь до тех пор, пока меня не уволят.

Конечно, не исключено, что его уволят. А может, и останется. Да только что из того? Остаешься ты или уходишь — что от этого меняется?

Я пытаюсь представить себе его жизнь, сменяя одну гипотезу другой, но получается кругом одно и то же. За служебными неприятностями следуют домашние. Жена, с которой можно поделиться своими бедами или с которой ничем поделиться невозможно, потому как ничего она не смыслит в его делах. Да, жена, которая кричит до посинения: какого черта мы не уберемся отсюда, или жена, которая настаивает: не вздумай уступать им, или жена, которая зудит ему без конца: знаю я, что она за штучка, твоя любовница, люди все видят.

И дети. . . Нет, детей лучше не трогать. И без того на душе тошно, ни к чему вспоминать еще и детей. Мне приходит мысль наведаться в вагон-ресторан выпить чего-нибудь. Все купе моего вагона полупустые. Здорово, если бы и в вагоне-ресторане тоже оказалось столь же малолюдно.

Только прежде, сам не знаю почему, я вваливаюсь в одно из соседних купе — я вовсе не собирался туда заходить! Теория вероятности подтверждается аномалией случайности.

— Я — беглец! — говорю я. И объясняю: — Был такой фильм, помните?

Сидящий у двери молодой человек в темном костюме и в темных очках поднимает голову и произносит так спокойно и невозмутимо, словно мы только вчера с ним расстались:

— А, Тони. . . Заходи, браток.

Не знаю, что за поезд мне попался, но и в этом купе, кроме Петко, едут лишь двое — пожилая чета, устроившаяся у окна. Старички одновременно взглядывают на меня, без всякого интереса, и снова отворачиваются к картине, стремительно бегущей за окном.

— Значит, ты жив? — глупо улыбаюсь я, садясь напротив своего приятеля.

— Разве в этом трудно убедиться?

Эта встреча, похоже, нисколько его не растрогала да и не удивила.

— А ты не чувствовал разве, что мы общались с тобой совсем недавно? — Петко направляет на меня свои темные очки, словно некий прибор, способный читать мои мысли на расстоянии.

— Честно говоря, я только что вспоминал о тебе, о твоих теориях. . .

Он молча кивает, как бы соглашаясь: «Вот видишь!» А я, наверное, отвыкнув от его молчания, спрашиваю, понемногу начиная злиться:

— Что ты молчишь как рыба? Хоть бы сказал откуда и куда путь держишь!

— Скажу, конечно, — отвечает Петко все так же спокойно. — Не для того, чтобы ты использовал это для моей биографии, — такое скорей пригодится для твоей собственной.

Старики по-прежнему смотрят в окно, но определенно следят за нашей беседой и, когда Петко говорит о биографии своей и моей, взглядывают на нас с недоуменным недовольством.

В его биографию. . . Стоило ему сказать это слово,

как мне стало ясно, что кроме нашей работы, кроме прогулок и застолий с их болтовней я тем не менее ничего не знаю о его жизни. Человек ни разу не упомянул ни о своем отце, ни о матери, не сослался на покойного дядюшку, если он был когда-нибудь, не произнес имени какой-нибудь приятельницы, если такая существовала, в чем я сильно сомневаюсь. Его интересует решительно все, но он ни с кем в жизни не связан, словно довольствуется лишь обществом самого себя или, следуя странным своим теориям, общается с людьми и с окружающим миром мысленно, только мысленно, и так напряженно, что порой у него возникает потребность включить тормоза и прибегнуть к спасительной алкогольной терапии.

— Уехал я, браток, потому, что однажды попал на вокзал, — начал свой рассказ Петко. — Предложили мне сварганить документальный фильм о жизни софийского вокзала. И пока я слонялся по залу ожидания, а вокруг меня все куда-то торопились, сновали с багажом в разные стороны, прибывали и отбывали поезда, меня вдруг осенило: что же получается, говорю я себе, люди ездят по белу свету, а я здесь сиднем сижу. Это уж никак не согласуется со вторым законом термодинамики. Не успел оглянуться, как очутился у билетной кассы. Так вот и получилось.

— И куда же ты подался? — спрашиваю я, боясь, что его паузы скоро вызовут у меня нервную икоту.

— Да мне было все равно куда. Захотелось целиком вверить свою судьбу случайностям, погрузиться в пучину хаоса. Но разве бывают билетные кассы без очереди? Пришлось ждать. А покуда ждал, пришел к мысли, что поначалу надо бы навестить старика, показаться ему на глаза, — может, это его обрадует.

Он продолжает все так же неторопливо, выдерживая паузы, и мне кажется, что в это время он будто отгоняет какие-то навязчивые, мешающие ему мысли.

— А теперь куда?

— Не все ли равно? В многотиражку.

— Значит, теперь пишешь?

— Для многотиражки. . .

— Это интересней?

— Естественно — в этом есть что-то новое. Люди закопались в повседневности, сидят каждый в своей скорлупе и уповают на то, что интересное само на них с неба свалится. Дудки. Живешь банально — и привыкаешь к банальности. Неудивительно, если постепенно и сам становишься банальным. Не ищешь перемен, мало того — избегаешь их. Они пугают, ибо давно потеряна вера в то, что перемены к лучшему. А в скорлупе чувствуешь себя уверенней. Пускай все идет по привычному расписанию, банально. Плывешь по течению и даже не задумываешься куда. Течение ведь привычное. За понедельником наступит вторник, а после вторника что может наступить, кроме среды?

— Нечто подобное ты говорил мне когда-то, —замечаю я, пытаясь вывести его из мира абстракций.

— Тогда это была всего лишь гипотеза. Теперь я проверил ее на практике. Интересное, браток, самому приходится искать. Но чтобы найти его, первым делом надо выбраться из скорлупы. . .

— Чтобы забиться в другую.

— Это уж от тебя самого зависит.

— А от тебя? Что ты нашел в твоей пучине?

— Помилуй, браток, речь не обо мне, а вообще о людях. Меня ты сбрось со счетов, я — частный случай, магнитная аномалия. Мне везде хорошо.

— Да, ты просто цветешь.

— Я всегда цвету. Только плод не завязываю. Да и стоит ли, если я не знаю наверняка, плод получится или опухоль.

— А ты попробуй. Сам же говоришь — надо искать.

— Я и ищу, но мое время, видно, пока не пришло. Если удастся мне ухватить эту идею. . . А в общем, я себя нормально чувствую.

— Хоть бы рецепт дал.

— Да что в нем проку? Важен принцип, вот и бери его, а рецепт ни к чему. До того как пойти в многотиражку, я жил в горах, был сторожем при турбазе. А где буду завтра, трудно сказать. Перемена всегда обновляет, но я могу и без нее обойтись. Внешний фактор. Манящий горизонт. А за горизонтом — тайна. Черная дыра. Я вбираю в себя мысли, стаями летающие

в пространстве, и возвращаю их небытию. Только, может, они и отстаиваются где-то в моем сознании, дожидаясь урочного часа, когда родится идея, которая станет несущим стержнем мощной конструкции. . .

Я слушаю Петко и прихожу к выводу, что рецепт, если взять в скобки его чудную теорию, сводится к способности моего друга довольствоваться ничем. Когда довольствуешься ничем или почти ничем, тебе не грозит разочарование. Счастье бедняков — философия стоицизма, чуть приправленная личностью самого Петко.

Пока доехали до Софии, он наговорил целую кучу всякой всячины (под ровное, монотонное звучание его голоса старики крепко уснули у окна за столиком). Целую кучу небылиц и ничего конкретного — таков он всегда. Важны, говорит, общие законы, а частности не в счет.

Мы прибываем на вокзал в сумерки, когда перроны уже ярко освещены люминесцентом. Это вдруг воскрешает в моей памяти ночную картинку, видение какой-то пограничной станции, — но лишь на миг.

— Может, выпьем по одной? — спрашиваю я, не сомневаясь, что ответ будет положительный.

— Нет, браток, не то настроение. А главное — поздно. Надо сегодня вечером закончить одну работу, а завтра возвращаться назад. Не только столичная пресса выходит регулярно.

Он небрежно поднимает руку на прощанье и идет к выходу, будто мы непременно должны расстаться уже здесь, на перроне.

— Может, хотя бы адрес запишешь? — кричу я ему вслед.

— Не стоит, я загляну к тебе в редакцию. . . если понадобится.

И растворяется в толпе.

Чудной человек.

Дома меня ждут большие перемены.

Власть Темного царства свергнута. Свет одержал победу над тьмою. Как видно, Лиза только и ждала, чтобы я исчез из дому, хотя бы на день, и осуществила

давно задуманную операцию. Правда, не все она успела до моего приезда, но непоправимое налицо.

Дай женщине волю — она все переменит по-своему.

Лиза тут не одна, с нею Илиев. Она взобралась на лестницу, стирает пыль с высоких панелей, а он держит лестницу. Ситуация — ну точно как на старинной открытке: девица рвет яблоки, а парень стоит внизу и заглядывает ей под юбку. Может быть, Илиев и не заглядывает Лизе под юбку, но все-таки мизансцена довольно глупая.

В дополнение ко всему оба умирают со смеху, потому что Лиза, оказывается, забыла взять пасту, которой натирают деревянные панели. Чтобы сходить за пастой, инженеру надо оставить лестницу, но, если он это сделает, Лиза непременно грохнется — словом, все ужасно весело.

В конце концов они решают, что Лизе придется спуститься вниз, и только тогда она замечает меня.

— Ой, как вы не вовремя! — говорит она, все еще смеясь. Это звучит двусмысленно, и Лиза спешит поправиться: — Нам совсем немного осталось, чтобы все тут закончить.

Улыбка ее гаснет. А я и не подозревал, что улыбка делает ее лицо таким красивым, таким светлым. У нее белые ровные зубы, а губы, оказывается, полные, а цвет губ, оказывается, алый.

— Вы думали управиться вдвоем? — добродушно спрашиваю я.

— Хотели вам сюрприз сделать, — признается Лиза.

— Вам это удалось. Перемены в самом деле потрясающие.

Может, и не потрясающие, но все же перемены. Вечно темная гостиная освещена большой лампой, спускающейся с потолка, и четырьмя настенными. В их свете неожиданно заблестели стены, облицованные хорошо сохранившимися дубовыми панелями, — и это, безусловно, благодаря стараниям Лизы, хорошенько их начистившей. Паркет тоже надраен — в воздухе еще держится острый запах мастики. Кожаные громоздкие кресла и еще более громоздкий диван тоже, вероятно, чем-то промыты, и хотя они старые-престарые,

тем не менее выглядят вполне прилично. Так что при известном мужестве на этих пружинных сооружениях теперь можно посидеть. В довершение ко всему у противоположной стены, водруженный на какую-то ободранную тумбочку, красуется мой телевизор.

— Моя помощь нужна? — спрашиваю я, хотя вижу, что дело идет к концу.

— С какой стати еще и вам пачкаться? — великодушно возражает инженер.

— Вы, верно, устали с дороги, — вторит ему Лиза. — Я там ужин вам приготовила.

Поблагодарив, поднимаюсь наверх. Хорошо, что у меня теперь нет телевизора, думаю я, но в целом затея Лизы, конечно, добром на кончится. Мы с Илиевым вряд ли будем сидеть не диване в братских объятиях, а уж старики, которые едва терпят друг друга, определенно схлестнутся на первых же посиделках, если только вообще соблаговолят выйти. Или будут молчать, воды в рот набрав, и этим портить настроение окружающим. Да, Лизу ждет разочарование.

Впрочем, может быть, я и ошибаюсь, если учесть, что они с Илиевым — молодые, так сказать, — явно идут на сближение. Недаром же они выступают в роли парня и девицы с той глупой открытки. Не скрою, меня их игры очень обнадеживают. Если в скором будущем девица перекочует к инженеру, я испытаю облегчение — значительно большее, чем после исчезновения из моей комнаты телевизора.

Однако, кроме облегчения, я испытываю и легкое, совсем легкое чувство досады. Дело не в том, что я, точно скряга, трясусь над ненужными вещами, но по какому праву Илиев посягает на мою квартирантку? Возьми он ее к себе в самом начале, не было бы никаких проблем. А то извольте радоваться: она прогнала уборщицу, инженер умыкает ее — выходит, теперь я должен впрягаться в домашнюю работу.

Вкусный салат из помидоров с луком и маслинами, остывшие, к сожалению, сосиски, кусок рокфора (где только она его раздобыла?) и гроздь винограда усиливают во мне чувство горечи. Я наслаждаюсь ужином, с грустью сознавая, что это, может быть, в

предпоследний раз. И пускай тогда Петко возносит хвалу наступившей перемене.

Когда Лиза наконец появилась, я покончил с ужином и отчасти с грустными мыслями.

— Вы на меня не сердитесь за телевизор? — спрашивает она.

— У вас обворожительная улыбка, — тихо говорю я. — Впервые видел, как вы улыбаетесь.

— Вы не давали мне повода улыбаться, — отвечает она, слегка покраснев.

Взрослая ведь женщина — и краснеет.

— Если будете ждать повода, рискуете до конца дней своих ходить с лицом монашки.

— Нет, правда, вы не сердитесь за телевизор? — повторяет она в смущении.

— Не стану сердиться, если вы мне улыбнетесь.

Лиза улыбается. У нее действительно лучезарная улыбка.

— Это нечестно, — продолжаю я, — улыбаться только Илиеву. Когда я смотрел там на вас обоих, я чуть вас не приревновал.

— Ну и ревнуйте!

— Да не стоит, наверное. Этот Илиев — малый хоть куда.

— Кто вас просит выступать в роли свата? — бросает моя квартирантка уже другим тоном.

— Что вы, что вы, я не хочу обрекать себя на одиночество!

— А мне кажется, одиночество вам очень даже подходит.

— Не будем сгущать краски: «очень даже» — слишком сильно сказано. Просто я знаю по опыту: чуть только избавишься от одиночества — тут же и разругаешься с тем, кто тебя от него избавил.

— Мы с вами пока еще не ругались.

— Пока еще, — говорю я. — Но у нас все впереди.

Торжественное открытие гостиной происходит на следующий вечер. И, что самое удивительное, — все в сборе.

Присутствие Илиева и мое совершенно естественно при наших дружеских связях с виновницей торжества. Но как ей удалось заманить сюда стариков, остается загадкой. Во всяком случае, оба притащились в гостиную, несмотря на то что по телевизору уже отзвучала песенка «Баю-бай, должны все дети ночью спать. . .» — Димов в торжественном темно-синем костюме в белую полоску. Великолепный этот костюм, однако, висит на нем как на вешалке — то ли когда-то был куплен «на вырост», то ли за долгие годы его владелец сильно усох. Что касается Несторова, то он не мог явиться ни в чем ином, кроме как в широкой зеленой рубахе с засученными рукавами — я полагаю, с засученными рукавами гораздо удобнее поддергивать кверху ремень, постоянно сползающий с толстого живота.

Итак, мы в полном составе, и Лиза любезно усаживает стариков в огромные кресла, чем-то похожие на массивные гробы — что ж, дескать, поделаешь, надо потихоньку привыкать к тому, чего не минуешь, — а мы, так сказать, молодые, устраиваемся не столь удобно, но тоже неплохо — на покачивающейся палубе корабля-дивана. Лиза, наша дама, посередине, а мы, кавалеры, по краям (хотя, если быть точным, инженер уселся не с краю, а совсем близко к нашей даме).

Словом, все начинается весьма и весьма добропорядочно и длится в том же духе, пока мы смотрим информационную программу. Может быть, так и дальше бы продолжалось, если бы показали какую-нибудь милую семейную хронику, которые смотрятся с таким наслаждением, что с первых же минут ты погружаешься в дремоту, но на беду вместо семейной хроники телезрителям предложена другая передача — что-то вроде «Человек и закон», о злоупотреблениях начальников продовольственных складов, причем начальники эти действуют не в одиночку, они связаны с экспедиторами, шоферами, работниками прилавка, так что имя им — легион. Конечно, заправляют «делами» две-три акулы коррупции, а все прочие — рыбешка, пробавляющаяся мелкими хищениями. И когда начинают эти хищения перечислять, я от нечего делать бросаю фразу:

— И на кой черт морочить людям голову такими мелочами!

— Мелочами? — рычит Борец.

— Это не мелочи, — вторит ему Рыцарь более кротким тоном.

Они неожиданно объединились против меня, и это меня успокаивает, хотя и ненадолго.

— Таких следует. . . — снова рычит Несторов.

— Расстреливать? — подсказываю я.

Он колеблется, потом отвечает:

— Отправлять в каменоломни.

— Куда-нибудь их отправят, — холодно замечает Димов. — Но что от этого изменится? На их место придут другие. . .

— И тех отправить куда следует! — упорствует Борец.

— К сожалению, все гораздо сложней, гораздо сложней.

Рыцарь оборачивается к Лизе, показывая, что он говорит ни в коем случае не Несторову.

— Сложней! Сложней! — насмешливо повторяет Борец. — Умные люди тем и отличаются, что сложное умеют подвести к простому.

— Если мы начнем так рассуждать, то вернемся к теории Сталина, — снова оборачивается Димов к Лизе.

Несторов поднимает брошенную Рыцарем перчатку:

— И не ошибемся!

— Передача называется «Человек и закон», — встреваю в разговор я, поймав умоляющий взгляд Лизы.

— Человек обязан подчиняться закону, — сердито говорит Борец. — Что тут неясного?

— А вот он не подчиняется, — Димов снова глядит на Лизу. — Делает вид, что подчиняется, а сам крадет. Значит, нельзя рассчитывать только на принуждение.

— На что же рассчитывать, если мы вместо принуждения по головке гладим? — не унимается Несторов. — Таких надо. . .

— Расстреливать, — подсказываю я.

— Да, зависело бы это от меня, я бы и расстрелял некоторых! — срывается на сей раз Борец.

— Очень гуманно! — посматривает Димов в сторону дочери.

— Вот именно: гуманно! — подтверждает его оппонент. — Если поплатятся жизнью пятеро, это послужит уроком для остальных и спасет их от тюрьмы.

— На Западе только того и ждут, чтобы мы начали расстреливать, — бормочет Рыцарь в сторону Лизы.

— Ежели враг тебя ругает, ты на верном пути, — не сдается Несторов.

Поединок продолжается. Лиза раз или два подтолкнула локтем Илиева, он пытается как-то примирить противников, однако они не склонны обращать внимание на его слова, ясно давая понять, что с младенцами дела не имеют. Передачу уже давно никто не смотрит, и она служит лишь фоном разразившегося скандала. Лиза пытается что-то сказать своему папочке, но он и ее теперь не замечает, хотя взгляд его обращен именно на нее. Наконец, воспользовавшись краткой паузой, Лиза успевает сказать отцу:

— Может, сыграем в шахматы? Говорят, ты лихой шахматист.

Старик сверлит ее подозрительным взглядом, но лицо его тут же смягчается:

— Почему бы не сыграть. . . Чем болтать попусту. . .

— А вы не хотите сыграть со мной? — спрашивает Илиев Несторова.

Однако его слащавый тон пришелся Борцу не по вкусу.

— В другой раз, — сухо отвечает он.

И чтобы показать, что он тоже не намерен попусту болтать, Несторов поддергивает кверху ремень и уходит к себе.

Партия «отец—дочь» абсолютно неинтересна и, к счастью, коротка. Димов великодушно удерживает Лизу от легкомысленных ходов, но все равно она быстро проигрывает. Приходится мне сесть на ее место. У Рыцаря обнаруживается опыт, приобретенный в квартальном клубе, но уже в самом начале он допускает ошибку, которая и определяет исход игры.

— Сегодня я что-то не в форме, — признается он.

— Наверное, Несторов выбил вас из колеи.

— Несторов тут ни при чем, — пренебрежительно отвечает Димов. — Дело не в конкретном человеке, а в характере мышления: догматизм, допотопная философия. Слыхали вы его, этого допотопного философа: я бы их перестрелял, я бы их в каменоломни. Нет, надо идти спать, не то снова распсихуюсь.

Раз такое дело, мне не остается ничего другого, кроме как уйти к себе, чтобы предоставить возможность молодым закончить в уединении скромный домашний праздник.

Несколькими минутами позже за мной поднимается и Лиза.

— Плохое настроение, — бормочу я, видя унылое выражение ее лица.

— Мне кажется, вы его основательно подпортили, — бросает она. — Это вы задали тон. . .

— Возможно, — небрежно отвечаю я. — Но они и без меня бы поцапались.

— Да, но вам-то от этого ни холодно, ни жарко.

Я молчу. Если она задумала перенести ссору на верхний этаж, едва ли ей это удастся.

— И все равно, — произносит она вдруг с надеждой в голосе, — я соберу всех завтра. Я уверена, они постепенно привыкнут. . .

— Привыкнут ссориться.

Завтра? Почему бы нет? Но только без меня. Если речь идет о светской жизни, о человеческом общении — я предпочитаю Бебу. Пусть даже мне придется испытывать досаду, но это будет досада не такая уж горькая, и не так уж долго она продлится — столько, сколько длится драматический спектакль.

Пьеса современная, американская, из тех, что наглядно должны убедить тебя, что между двумя человеческими существами вообще никогда не бывает истинного контакта. Действие заменяют внутренние конфликты, а так как они должны все же находить какое-то внешнее выражение, то со сцены в зрительный зал то и дело несутся душераздирающие вопли. Будто в жиз-

ни мало истерии, так нам еще в театре ее преподносят.

Кое-как досидев до конца, мы выходим на улицу, и тут Беба вдруг предлагает:

— Хочешь, съездим на дачу к Слави? Его жена сегодня дважды мне звонила, они будут дома одни, послушаем музыку, подышим свежим воздухом — и домой, не знаю, как ты, но меня уже тошнит от городских квартир, пропитанных табачным дымом.

Я мог бы возразить, что ее квартира вовсе не пропитана табачным дымом, да и к чему тащиться в эту пору в такую даль — развлекать Слави с его женой. Однако современные пьесы, как правило, коротки, еще совсем рано, так что хочешь не хочешь, а Беба все равно куда-нибудь меня потащит, и будет ли это ресторан или какая-то там дача значения не имеет.

— Где твоя машина? — спрашиваю.

— Тут, за углом.

Раз машина тут, за углом, значит, Беба заранее все решила и говорить уже не о чем. Мы садимся в маленький красный «фиат», чистенький, безупречный, как все, что принадлежит Бебе, и едем по все еще оживленным улицам в полном молчании: Беба водит весьма посредственно, но с предельной сосредоточенностью, чтобы, не дай бог, не столкнуться с кем-нибудь и не повредить новенькую машину. И лишь на загородном шоссе, где движение немного спокойнее, Беба говорит:

— Дошли до меня слухи, что нас уже две.

— Как это две?

— Две в твоем гареме. Я — для светской жизни, а она — для домашнего пользования.

— Чего ты болтаешь? — непринужденно спрашиваю я.

— Я, конечно, польщена, что я — для светской все-таки жизни.

— Глупости, Беба. Никого, кроме тебя, нет.

— У меня информация.

— Грош ей цена. Объясни своим информаторам, что домработница и любовница — не всегда одно и то же.

— Не всегда. Только в тех случаях, когда женщина молода и в твоем вкусе.

— Отнюдь не в моем. Увидишь — убедишься.

— Может, и увижу. Если мы когда-нибудь окажемся все вместе. . .

— Смотри, врежешься сейчас в грузовик! — предупреждаю я.

— Не бойся, я не очень-то расстроена, — отвечает Беба. И после короткой паузы добавляет: — Только, пожалуйста, не награди меня чем-нибудь. . . Иначе я тебя убью.

— Решила позлить меня? Что ж, продолжай.

Она замолкает, ей отлично известно, что разозлить меня не так просто, а мне известно, что единственное, что ее беспокоит, — как бы я не «наградил» ее чем-нибудь. А так мы оба без особых претензий, именно это нас и объединяет вопреки всем этим пьесам о людской некоммуникабельности.

Вилла Слави, расположенная на самом краю дачного поселка, у подножия глухой темной горы, кажется мне моськой, которая злобно таращит светящиеся окна, облаивая безмолвную громаду. Лай, разумеется, исходит от магнитофона и от всего сборища.

Оказывается, жена Слави, позвонив Бебе и сказав ей: «Будем только мы с вами», повторила это еще нескольким друзьям, так что, кроме хозяев, мы застаем здесь Бистру с Жоржем и еще целый квинтет из двух кавалеров и трех дам, весь в изрядном подпитии.

— Только вас ждем! — приветствует нас Слави, который тоже выглядит очень веселым.

В гостиной вся эта банда знакомых и незнакомых людей встречает нас фамильярными возгласами:

— Наконец-то! С голоду из-за вас подыхаем.

Не теряя времени, мы все спешим в глубину комнаты, к холодным закускам, и принимаемся за утомительную процедуру — одними приборами перекладываем еду в свою тарелку, а другими — себе в рот.

— Говорят, в высшем обществе принято есть руками, — сообщает Жорж, кромсая ножку холодного цыпленка.

— Ради бога, хоть сегодня не причисляй себя к высшему обществу, — сердито замечает Бистра, шлепнув его по руке.

Этими двумя репликами исчерпывается застольная

беседа, если не считать обычных в подобных случаях просьб: «Передай мне соль» или «Плесни-ка и мне немного».

— Послушай, Слави, что там стряслось с дачей твоего двоюродного брата? Ведь он начал строиться раньше тебя? — слышится голос из квинтета.

— Ничего не стряслось. Продал ее, не достроив, — отвечает хозяин с полным ртом.

— Влип?

— Влип, только в другом смысле. . . Рак — представляешь?

И чтобы новость как можно сильнее потрясла слушателей, Слави на миг замирает с полуоткрытым ртом, полным еды.

— Мать честная! Вот бедняга! — сочувственно восклицает тот, из квинтета, накладывая в тарелку салат.

— И знаешь, какой он номер отколол, этот чудак? — продолжает хозяин. — Другой бы свихнулся от страха, а он все продал и зажил в свое удовольствие. Но как! Тебе, Васка, такие кутежи и не снились. Веришь, он и сам не в курсе, когда они начинаются, а когда кончаются.

— Правильно живет человек! — заявляет Васка, держа вилку, как камертон. — Я его целиком одобряю!

— Эх, нам бы всем жить так, будто мы больны раком, — подхватывает кто-то лохматый, с мрачным лицом.

— С какой стати? — сердито спрашивает дама из квинтета — яркая, с огненно-рыжими кудрями. — Зачем жить, будто мы больны раком, если мы не больны?

— Потому что если вдруг разразится Священная. . .

— Хватит! — кричит хозяйка. — Никаких разговоров о войне! Давайте говорить о чем-нибудь веселом.

— Абсолютно верно! — подает голос Васка. — Ешь, пей, веселись. Ходи во всем новом! — вдруг заканчивает он.

Основательно опустошив стол и опорожнив бутылки, гости переходят в противоположный угол гостиной — посидеть, отдохнуть, горячительного добавить. Следуя принципу, что после сытной еды сколько ни пей, все равно не захмелеешь, большинство присутст-

вующих за короткое время принцип этот начисто опровергают. Комнату давно надо бы проветрить, но окна наглухо закрыты (ночной холод и соседи) и даже электрический камин включен, так что в гостиной стоит тяжелый запах духов, табака и спиртного, магнитофон разрывается от безудержных ритмов рока, и мне уже становится дурно, но уйти сразу после ужина неприлично, да и Бебу сейчас не вызволить — Жорж забаррикадировал ее в углу, решив, видно, под пьяную лавочку провернуть очередное дельце.

Устроившись в дальнем углу, я рассеянно изучаю обстановку гостиной и методом самовнушения пытаюсь изолироваться от духоты и нарастающего гомона. Обстановка не бог весть какая, но позволяет предположить, что хозяева — люди хваткие и что мебель и обои удалось им заполучить не без скромного содействия вездесущего Жоржа. Не знаю, где и кем работает Слави, только Несторов наверняка отправил бы его в каменоломни: надо обладать уникальными способностями, чтобы на одну зарплату обеспечить себе такую вот дачу, машину и, вероятно, квартиру в городе. Однако вопрос это деликатный, и я спешу выбросить его из головы, тем более что тут, как бы совершенно случайно, ко мне подходит Бистра.

— Что-то ты не даешь о себе знать. — Она садится рядом. — Вроде бы, когда разводились, у нас обошлось без поножовщины?

Я что-то мямлю — мол, действительно, бог миловал.

— Похоже, Беба совсем не оставляет тебе свободного времени? А если и выпадает часочек, ты его отдаешь еще кое-кому.

И эта туда же.

— С Бебой ведь мы не вчера подружились. . .

— Еще бы! — прерывает она меня. — Я уверена, вы с ней наставляли мне рога еще до развода, но я о другой тебе толкую. — Бистра глядит на меня с подчеркнутым любопытством, словно я экспонат на выставке домашней утвари. — Я-то, дурочка, считала, что ты лопух лопухом, а ты вон как разошелся!

— Смотри не перехвали.

— Да, ошибочка вышла, недооценила я тебя.

— Задумала как-нибудь на досуге проучить Жоржа? По-моему, ты слишком торопишься.

— Как только задумаю, я тебе сообщу, — отвечает Бистра, окидывая меня многозначительным взглядом. — Но тебя окружает такая толпа. . . Толпа меня отпугивает, Тони.

С ума посходили эти женщины. Толпа. . .

К счастью, Бистру водворяют на прежнее место, в прежнюю компанию под тем предлогом, что она должна принять участие в какой-то игре.

Едва успев избавиться от жены, я попадаю в объятия ее любовника. Жорж, очевидно, закончил деловой разговор с Бебой и приступает ко мне с тем же вопросом:

— Я слышал, ты завел новую крошку?

— Если ты имеешь в виду Бебу. . .

— При чем тут она? Беба — особь статья. Ты понимаешь, кого я имею в виду. — Мне лень отвечать, и он продолжает: — Отличная идея, хотя и не слишком новая: иметь что-то домашнее, не закрепляя его за собой подписью в райсовете. Но ведь женщина любит, чтоб о ней заботились, требует внимания — не мне тебе объяснять. . . А я как раз сегодня получил небольшую партию товара, вот и вспомнил про тебя.

Он слишком пьян, чтобы вспомнить о чем бы то ни было, однако я спрашиваю из приличия:

— Что за товар?

— Пройдем туда, — шепчет мне на ухо Жорж. — Тут неудобно.

И, затащив меня в спальню, вытаскивает завязанный узелком носовой платок и высыпает на кровать какие-то побрякушки.

— Чистое золото, Тони. Пятьсот восемьдесят третья проба. Полная гарантия. Камни тоже настоящие.

— Да к чему мне это барахло?

— Как к чему? — Жорж таращит глаза, словно не встречал еще такого кретина. — Это ведь не просто изделия, это — помещение капитала!

— Подари Бистре.

— Привет! А платить кто будет?

Когда мы возвращаемся в гостиную, игра уже в полном разгаре. Вернее, не игра, а конкурс красоты. И

не всей красоты, а только верхней ее части. Три девицы из квинтета уже обнажились до пояса, хозяйка дома ерзает на стуле в нерешительности, а Беба и Бистра наотрез отказываются занять место в ряду претенденток.

— Ну, давай, стаскивай свою блузку! Подумаешь, чудо! — поощряет жену Слави, уже пьяный в дым.

Во внезапном порыве самопожертвования хозяйка хватается обеими руками за края своей маслиново-зеленой блузки и в один миг вылущивается из нее, словно косточка, а тем временем Жорж пытается раззадорить Бебу:

— Давай-ка, Бебочка, распаковывайся, ты их тут всех затмишь!

— Сиди себе смирно и помалкивай, — одергивает его Бистра.

— Вы для кого себя бережете? Уж не Священной ли дожидаетесь? — включается в уговоры Косматый.

— Нет, уж покажите товар лицом! — напирает и Васка.

— Я это делаю только для одного мужчины! — вызывающе заявляет Беба.

— Вот и прекрасно — ступайте в спальню, а мы будем заходить поодиночке, — уступает Васка.

— Поодиночке? — слышатся возгласы трех граций. — Это не по правилам!

— Да уймитесь вы! — говорит Беба властным тоном, к которому прибегает редко, но всегда кстати. — Если хотите, чтоб я ушла, так и скажите.

— Нет, ни в коем случае! — Хозяин, примостившийся на спинке кресла, отчаянно взмахивает руками и чуть не падает со своего насеста. — Васка! Никто не должен уходить. Сядь, Васка. И ты, Мони, садись тоже!

В конце концов все усаживаются, продолжаются возлияния под истошный вой магнитофона, мужчины уже забыли, зачем они заставили дам раздеться, а дамы сидят в ряд одна подле другой, обнаженные до пояса, будто приготовились к дойке, и нагота их кажется убогой. Беба и впрямь могла бы одним махом сбросить с ринга всех трех.

В столь накаленной обстановке совсем не так просто

встать и уйти, надо дождаться удобного момента и исчезнуть, как говорится, по-английски.

Так что я жду удобного момента, прислушиваясь вполуха к спору между Жоржем и Слави о том, будет ли и дальше повышаться цена на золото или начнет падать, тогда как Васка холодно ощупывает глазами трех граций, а Мони накручивает свой рефрен относительно Священной.

В гостиной до того жарко и душно, что одуреть можно, у меня разболелась голова, и я еле дышу, тупо разглядывая грудь рыжеволосой, болезненно белую грудь, усыпанную ржавыми точечками — оказывается, она и в самом деле рыжая, — и так же тупо думаю, что ничего нет хорошего в худобе.

Наконец Беба подобралась к двери и заговорщически кивает мне оттуда. Я с небрежным видом поднимаюсь, и скоро мы уже во власти мрака и холода, а над нами круто нависает гора, темная и безучастная к тому, что вилла продолжает у ее подножия издавать магнитофонные истерические взвизги.

— До чего же все мерзко, — признается Беба, когда машина трогается.

— Ты находишь? — спрашиваю я. — Да, кстати, Жорж не предлагал тебе драгоценности?

— Плевать мне на его драгоценности. Я контрабандной муры не покупаю. Подонок. — Затем она вносит поправку: — Подонки!

— Что ты хочешь, люди живут как раковые больные.

— Воображают из себя. . . — презрительно бросает Беба. — Такие же проходимцы, как Жорж.

Она замолкает, готовясь к предстоящему повороту, и, миновав его, в сердцах добавляет:

— Раковый больной! Знал бы ты, что этот тип замышляет. . .

Что замышляет Жорж, меня не интересует, и в маленьком «фиате» наступает молчание. Мягкое бормотание мотора звучит в ночной тишине до странности отчетливо, снопы света от фар метут на поворотах дорогу, но вот мы выкатываемся на широкое шоссе, и перед нами мерцают уже поредевшие созвездия столичной галактики.

Я возвращаюсь домой лишь следующим вечером, довольно поздно. К моему удивлению, из чулана доносится равномерный стрекот пишущей машинки. Постучав, я просовываю голову в дверь, давая знать, что блудный хозяин вернулся.

Чулан похож на канцелярию. Лиза откуда-то притащила и поставила рядом два ящика, образовалось некое подобие стола для машинки и рукописей. Сама она сидит на пружинном матраце в довольно неудобной, но трудолюбивой позе, и вид у нее старательный.

— Рад, что вы нашли работу, — говорю я.

— Да. Представьте себе! Вам что-нибудь приготовить на ужин?

— Ужинал. — Я, конечно, лгу. — И вообще, раз вы теперь заняты делом, оставьте домашние хлопоты.

— Но они мне совсем не в тягость, — лжет она в свою очередь.

— Ладно, мы об этом еще поговорим. Не хочу вам мешать.

— Я, кажется, устала. Отвыкла, — бормочет Лиза. — Охотно бы выкурила сигарету.

— А как там посиделки? — спрашиваю я, когда мы закуриваем у меня в комнате.

— Вы не поверите — продолжаются. Старики рычат друг на друга, но сидят. Нынче вечером Несторов даже сыграл разок с товарищем Илиевым.

Товарищ Илиев. . . Какая официальность.

— А что вы переписываете? — любопытствую я.

Окинув меня взглядом, который недвусмысленно говорит: к чему спрашивать, если тебя это все равно не интересует? — она отвечает:

— Какая-то научная работа. Едва ли это вам интересно.

— А вам?

— Мне что, мое дело — перепечатать. . . — уклончиво говорит Лиза. — Может, вам надо что-нибудь перепечатать?

— Надо было, но это все позади.

— Большая была книга?

— Да. Если иметь в виду объем.

— Что ж, тогда подождем следующей.

— Вряд ли она будет, следующая. На складе пусто.

— А что за книга?

— Да вроде как роман.

Лиза молчит, задержав на мне взгляд, и наконец произносит с некоторым смущением:

— Извините, Тони, но, мне кажется, вы не можете написать роман.

— Мне в издательстве сказали то же самое, — смиренно киваю я.

— Потому что роман — это о людях, верно? А вы не любите людей.

— Мизантроп, — подсказываю я.

— И дело даже не в том, что вы их не любите — они вас не особенно интересуют.

— Вы сами себе противоречите, — возражаю я.

— Почему?

— Да потому, что если бы я не проявлял интереса к людям, разве я сел бы писать о них роман?

— Хитрите?

— Нисколько. Когда писал, они, вероятно, хоть чуточку меня занимали.

— Ну разве что «чуточку». Только не мало ли «чуточки» для целой книги. Эта «чуточка» и сейчас в вас есть. Иначе вы не выслушивали бы терпеливо мои излияния, не стали бы сталкивать наших стариков.

Подумав, Лиза продолжает:

— Я верю, что Толстой плакал, когда писал о своей Анне. . .

— Несомненно. По воспоминаниям современников, слезы заливали его бороду, точно водопад.

— Опять насмехаетесь? По-вашему, это хорошо — без конца насмешничать?

— А по-вашему, главная задача автора — вызвать у читателя слезы? Их вызвать совсем не трудно. Люди плачут от лука, от зубной боли, от пощечины. . . Неужто, по-вашему, так уж трудно вызвать у них слезы при помощи печатного слова?

— Вам, наверное, легко. Потому что причину слез вы видите только в луке или в зубной боли. . .

И пока я решаю, что ей на это ответить, Лиза встает.

— Я вам не помешаю, если еще немного поработаю?

— Конечно, нет. Человеку особенно сладко спится, когда рядом кто-то вкалывает изо всех сил.

Что правда, то правда. Под мягкий стрекот машинки я засыпаю, словно младенец, и просыпаюсь лишь в девять утра.

Лизы нет, но чай, оставленный на столе в маленьком чайнике, еще теплый. Едва я приступил к завтраку, как снизу слышатся два звонка.

У входа молодой человек нагловатого вида в черной кожаной куртке и вельветовых брюках, с сигаретой в зубах. Он явно знает цену своей внешности — у него пышные светлые волосы, красивые голубые глаза, которым позавидовала бы любая девушка. Только вот рост у парня средний — гораздо ниже его гонора.

— Мне нужна Лиза.

Голос тоже низкий, это скорее хрип, чем голос — может быть, из-за дымящейся сигареты.

— Лизы нет.

— Когда будет?

— Не могу сказать.

Я закрываю дверь у него перед носом. Не знаю почему, но существует категория внешне приятных людей, к которым я с первого же взгляда испытываю антипатию. Возможно, причина опять-таки в моей мизантропии, но я пока не задумывался над данной проблемой.

— Тут вас спрашивали, — сообщаю я Лизе, когда она час спустя возвращается с покупками.

— Кто?

В ее голосе удивление, во взгляде — беспокойство.

Я вкратце рассказываю о молодом человеке.

— Это Лазарь, — говорит она, рассуждая как бы сама с собой. — Странно, как он меня нашел?. .

— Это вас удивляет или пугает?

— И то и другое, — признается Лиза. — Пожалуйста, если он снова придет, скажите, что я здесь не живу.

— Я-то скажу. Но, вы думаете, он поверит?

— Скажите, что я больше здесь не живу, — повторяет она.

— Парень, в общем, приятный, — говорю я как бы между прочим. — Правда, несколько нагловатый.

Она вскидывает брови:

— Несколько?

Тема, похоже, ей не по душе: не сказав больше ни слова, Лиза уходит вниз, на кухню.

После скромного обеда, приготовленного, как всегда, на скорую руку, Лиза садится в чулане за пишущую машинку, а я позволяю себе прилечь с утренней газетой, но вскоре снова слышу доносящиеся снизу два звонка.

И снова в двери светловолосый парень в черном:

— Мне нужна Лиза.

Его голос все такой же низкий и хриплый, хотя во рту больше не торчит сигарета.

— Лиза тут не живет, — отвечаю я, помня ее просьбу.

— С каких пор?

— Со вчерашнего вечера.

— Давеча вы мне этого не сказали.

— Так уж вышло, — небрежно отвечаю я и собираюсь захлопнуть дверь.

Однако мне это не удается. В последний момент молодой человек ставит ногу в черном ботинке на высоком каблуке между дверью и косяком.

— Уберите, — спокойно говорю я.

— У меня еще есть вопросы, — хрипит он, тоже впрочем, спокойно.

— Уберите, — повторяю я.

И, поскольку парень делает вид, что не слышит, я чуть приоткрываю дверь и что есть силы бью ногой по его ботинку. Парень отшатывается — рефлекс, ничего не поделаешь, — и я тут же захлопываю дверь, успев, однако, увидеть его искаженное от боли лицо.

Но едва я дохожу до лестницы, у входа снова звонят: два очень длинных, вызывающе настойчивых звонка. Неохотно вернувшись, я отпираю дверь и одним махом широко распахиваю ее.

Напрасно. У входа ни души. Но это только кажется в первый момент, а во второй я получаю сбоку резкий удар в лицо. Схватившись за нос, я пытаюсь удержать хлынувшую кровь — рефлекс, ничего не поделаешь. Моя первая мысль — догнать этого красавца и проучить как следует, но он стоит на противоположном тротуаре и спокойно наблюдает за мной, усмехаясь, а убе-

гает от меня совсем другой — я даже разглядеть его толком не успеваю, потому что он скрывается в проходном дворе.

Я поднимаюсь наверх. Из чулана выходит встревоженная Лиза.

— Он вас избил. . .

— Это не он.

— Кто же?

По пути в ванную я рассказываю, как все произошло, а она идет за мной по пятам, повторяя:

— Мне ужасно стыдно, просто ужасно! Все из-за меня, все из-за меня. . .

— Не беспокойтесь, — бормочу я, умывшись и осторожно промокая лицо полотенцем. — Такое со мной бывало. Хотя и давненько.

И ухожу в редакцию.

Возвращаясь вечером домой, я застаю в ярко освещенной гостиной всех квартирных жильцов, престарелые гладиаторы восседают в креслах, а Лиза с Илиевым — на диване.

Вот так. Я сношу из-за нее побои, а она знай себе флиртует. И это я — мизантроп?. .

— Вовремя подоспели, — радушно встречает меня Лиза. — Сейчас фильм начнется.

Мне не хочется смотреть фильм, но открыто демонстрировать свою мизантропию неудобно, поэтому я тоже сажусь на диван — по другую сторону Лизы. Хорошо, что хоть мое место не занято.

— Может, погасить часть ламп? — спрашиваю я, лишь бы не молчать.

— Пускай горят, — возражает Димов. — Я где-то читал, что так полезней для зрения.

Он читает, это правда, хотя к книжным червям, что точат толстые фолианты и делают из них выписки, его не причислишь. Он относится к той категории читателей, которые выстраиваются в длинные очереди у соседнего киоска ради буклетов БТА и выуживают из газетных статей новости о научно-технической революции.

— Свет не мешает, — поддерживает Лиза отца. — Только очень уж бросается в глаза пятно на стене. Сколько ни терла его, ничего не выходит, оно даже, кажется, становится все больше. Ну как назло!

Действительно, прямо напротив нас, чуть выше дубовых панелей, четко вырисовывается на серой стене пятно, похожее на черное солнце или на огромного страшного паука.

— Ничего, к весне мы покрасим стены масляной краской, — говорит инженер, которому явно по душе оптимистические проекты Лизы.

Несторов не участвует в нашей пустой болтовне — можно подумать, он целиком поглощен спортивной передачей. Но я не верю, что его сколько-нибудь волнуют события в области спорта, хотя своим внушительным видом он и напоминает старого борца.

Впрочем, недавно я его переименовал. Я называю его уже не Борцом, а Несси — есть, говорят, такое допотопное чудовище, якобы обитающее в Озере Лох-Несс. Так что допотопный Несторов зовется теперь Несси.

Он нынче кроток, как никогда, да и Димов какой-то грустный, — меня даже мучит тревога, не заболели ли старики. Но как только начинается фильм — слава богу, начинается и скандал. На сей раз масла в огонь плеснул не я, а инженер, обронив:

— Опять про войну.

В ответ Несторов презрительно рычит:

— По-вашему, все фильмы должны быть про любовь?

— А почему все фильмы должны быть про войну? — продолжает Илиев, хотя Лиза пытается утихомирить его взглядом.

— Кто пережил эту войну, молодой человек, не скоро ее забудет, — отвечает Несси.

— А те, кто ее не переживал? — настаивает инженер.

— Они должны мотать на ус, — говорит Димов. Похоже, старики объединились против Илиева, как в тот вечер — против меня. Но Рыцарь тут же бросает камень в огород Несси:

— Беда не в том, что фильмов про войну слишком

много. Беда в том, что они повторяют друг друга.

— Некоторые истины не мешало бы повторять почаще! — строго произносит Несторов.

— Ежели в одном фильме говорится то, что было в другом, какой же смысл тратить деньги на два фильма? — вопрошает Димов, обращаясь к дочери.

— Некоторые истины не мешало бы повторять почаще! — стоит на своем Несси, не обращаясь ни к кому в отдельности.

— Если повторять их слишком часто, они не усваиваются, а, напротив, вызывают отвращение, — говорит Димов — опять-таки Лизе.

И пошло-поехало. К счастью, фильм насыщен боевыми эпизодами, воздух сотрясается от взрывов и залпов, так что спорщики скоро замолкают по той простой причине, что никто их не слышит. Мало-помалу всех захватывает действие и к концу фильма перебранка забыта, а Несси даже соглашается сыграть с Илиевым в шахматы. Мы с Димовым стараемся подсказками помочь инженеру, однако Несси воспринимает это недопустимое вмешательство с полным безразличием — мол, все вы слабаки, и ничего не стоит утереть вам нос.

Лиза ушла к себе поработать, но, когда я в свою очередь поднимаюсь наверх, она выходит из чулана.

— Знаете, после сегодняшнего случая я места себе не нахожу, — говорит она.

— А кто он такой, этот красавец, если не секрет?

Наверное, я зря расспрашиваю — ведь у нее уже было время придумать достаточно правдоподобную версию.

— Да так, случайный знакомый. Ходит за мной по пятам, пристает. . .

— Но у вас, конечно, нет с ним ничего общего.

— Что у меня с ним может быть общего?

— Вам виднее.

— А вас это вправду интересует? — быстро спрашивает она.

— Не особенно, — признаюсь я. — Имею я право знать, кто мне расквасил нос?

— Вы сказали, что ударил не он.

— Не все ли равно — он или его брат. . .

— У него нет брата.

Лиза прекрасно понимает, что я хотел бы знать, но сводит разговор на пустяки. И я чувствую: это только потому, что заранее она ничего не придумала, а правду открыть стесняется.

Помедлив, она садится в кресло по другую сторону столика и говорит вдруг решительно и вместе с тем покорно:

— Ладно, я все расскажу, но если станет скучно — пеняйте на себя.

Этот смиренный тон меня трогает, и я почему-то начинаю чувствовать себя виноватым. Ну зачем я ее допрашиваю. Тем более, что она нужна мне как пятая спица в колеснице. Как-никак человек — не насекомое, и нельзя изучать его, словно букашку под микроскопом. Было бы еще простительно, если б я писал роман, но просто рассматривать ее — от скуки, лишь бы убить время — это никуда не годится. . . И все же, и все же — живая жизнь, живые ее картины интересней, чем рисунок на шторах моего окна.

— Я уже вам рассказывала, что из магазина грампластинок меня перевели в книжный магазин. Там стал появляться этот Лазарь. Первое время я на него не обращала внимания. Не то чтобы я его не замечала — разве можно было его не заметить, если он без конца вертелся возле прилавка и таращился на меня. И вот однажды, когда поблизости никого не было, он вдруг спрашивает: нет ли у нас чего-нибудь по вопросам секса? Я говорю: вам эти вопросы живо растолкуют, стоит мне только позвать директора. Парня как ветром сдуло, но на другой день он опять явился. Я держалась, конечно, строго, но иногда это как раз и подстегивает, вот, наверное, и его заело. Потому что и на следующий день он снова тут как тут и снова спрашивает: нет ли у нас чего-нибудь по тому самому вопросу. Я сделала вид, что вижу его впервые. Официальным тоном спрашиваю: по какому вопросу? А он мне — да по тому, по деликатному. . . На третий день снова пристал, но уже на улице. . .

«Ладно, я все расскажу», — сказала она. Не знаю, все или не все, но рассказ ее так точен, будто она дик-

тует мемуары. Видно, этот мальчишка произвел на нее впечатление, если она запомнила даже самые мелкие подробности.

— . . .Тащился за мной до самого дома, болтал всякую чепуху — если, говорит, нет по этому вопросу серьезной литературы, то не лучше ли нам решить его собственными силами. Я, конечно, могла бы всыпать ему хорошенько, но зачем, думаю, поднимать скандал посреди улицы. Эта игра в преследование продолжалась день за днем, и я даже стала как-то к ней привыкать. Почему бы в конце концов не позволить ему проводить меня до дому? Молодой, потому и озорует, но ведь красивый какой. Слов нет, это была моя ошибка. Раз оступишься — и все испортишь. У него вошло в привычку таскаться за мной, у меня — слушать его глупости, а потом впервые мы зашли в ресторан, а потом впервые провели вечер у него на квартире — жил он с каким-то дружком, но тот, видно, заранее был предупрежден, потому что не появился до моего ухода, — так что я увязла, увязла по уши. . .

Я вдруг начинаю беспокоиться, как бы рассказ не затянулся слишком надолго, закуриваю и бросаю сигареты на столик, но Лиза, похоже, настолько поглощена пережитым, что не замечает их.

— Характер у Лазаря оказался легкий — во всяком случае так мне сначала казалось. А уж беззаботный был — ну все ему трын-трава. Учился в институте фармакологии, но сколько он там проучился — это вопрос; отец присылал ему из провинции какие-то гроши, на самое необходимое, но я не замечала, чтобы он нуждался в деньгах, да и шайка, в которую он меня втянул, тоже в деньгах не нуждалась. Так продолжалось месяца два, и вот однажды он обратился ко мне за помощью: я, мол, здорово закоротился, выручай, надо сдать в комиссионку транзистор. С какой стати, говорю, я должна этим заниматься, адрес знаешь — ну и топай сам. Неудобно, говорит, я там уже бывал не раз, да и в других меня знают и смотрят уже подозрительно, стукачи, — да что тебе рассказывать, могут подумать, что контрабандой занимаюсь. Ладно, говорю, раз тебе так приспичило сдать этот дерьмовый тран-

зистор, давай отнесу. Через несколько дней он всучил мне фотоаппарат, потом магнитофон, потом не помню что еще, но когда приволок второй фотоаппарат, то даже я, при всей своей наивности, смекнула, что дело нечисто. Откуда у тебя столько аппаратуры, спрашиваю. Это, говорит, все вещи Мони — так звали дружка, который жил с ним на квартире, — что поделаешь, надо же помочь человеку. Только, говорю, не ты ему помогаешь, а я, и что будет, если в один прекрасный день меня притянут к ответу? Если спросят, где я взяла то или это, что тогда? Да скажешь, проходила мимо валютного магазина и какой-то мужчина предложил тебе это купить. Придумаешь что-нибудь, чего никогда нельзя проверить: где — на улице, кто — неизвестный солдат. Поди-ка проконтролируй!

Она замолкает и только теперь берет сигарету. Положив пачку, щелкает зажигалкой и по привычке делает две глубокие затяжки, одну за другой.

— Только в этот раз я уступать не стала. Я, говорю, не нанималась к твоим дружкам, да и тебе не советую быть у них на побегушках. Обстоятельства, говорит, залез в долги. Сколько тебе нужно? — спрашиваю. Двести восемьдесят левов. Послушай, говорю, у меня есть немного денег на книжке, я могла бы тебя выручить, но при одном условии: что ты порвешь с этой шайкой и сядешь за учебники, чтобы сдать сессию. Вместо одного, говорит, получилось три. Целых три условия за какие-то триста левов? Ну, ты даешь, говорю, молодые люди вроде меня годами мечтали поступить в университет, тебе же все на блюдечке поднесли, а ты дурака валяешь, бездельник. Если ты не порвешь с этой шайкой, больше тебе не видать ни меня, ни моих денег. Мне показалось, он опомнился — во всяком случае, откололся от своей компании. А я рассталась с книжным магазином — меня прогнал тот тип, я уже рассказывала. Так что у нас с Лазарем есть что вспомнить. Очень скоро мы друг другу надоели, поняла, что он безнадежно безвольный и пустой тип. Он снова таскался со своими дружками по ресторанам и кафе, а ко мне наведывался время от времени, главным образом для того, чтобы выудить какой-нибудь

лев, пока еще было что выуживать. Ну, однажды я ему и сказала: мол, я без гроша в кармане, приходить ко мне ради денег не имеет смысла, да и ради другого — тоже, потому что мне надоело до чертиков и терпеть больше я не в состоянии. Этим все и кончилось.

Она гасит в пепельнице сигарету и смотрит на меня внимательно — не одолевает ли меня зевота.

— А сейчас почему он за вами охотится? — спрашиваю я.

— Да опять небось деньги нужны.

— В таком случае вам бы самой отшить его. . .

— Что вы, он самоуверенный, избалованный мальчишка, слова на него не действуют. Воображает, что одним взглядом может свести с ума кого угодно.

— Ничего себе характерец. . .

— Вовсе нет, он бесхарактерный! Чуть натолкнулся на препятствие — и хвост поджал. Вот как сегодня, когда вы его шуганули.

— А завтра он может подкараулить вас где-нибудь.

Помолчав, Лиза решительно заявляет:

— Я его изобью! Я его так разделаю, век будет помнить!

— Это идея! — признаю я. — Только не забудьте проверить, один ли он. Словом, не следуйте моему примеру.

Сегодня суббота, и, хотя в редакцию идти не надо, я выхожу из дому. Стук пишущей машинки, доносящийся из чулана, оказывает на меня слишком уж умиротворяющее действие, и если не уйти, я так и буду спать, но тогда меня ждет бессонная ночь.

Первое, что приходит в голову, — это сесть где-нибудь и выпить сто грамм в память моего покойного друга. Однако, вспомнив, что он уже не покойный и что в такой ранний час пить как-то неприлично, я продолжаю шляться по центральным улицам, не таким людным, как в будни, и бесцельно глазеть на витрины магазинов, пока мой взгляд не задерживается на какой-то картине.

Она выставлена в витрине книжного магазина, это

репродукция, каких в последнее время появилось немало, — большого формата, в красивой золоченой раме. Население покупает их без особого энтузиазма, просто когда что-то надо повесить на стену. К раме приклеена этикетка: «Плот «Медузы»». На плоту группа людей с «Медузы» — корабля, затонувшего в безбрежном, бушующем море: волны бросают плот как щепку и участь несчастных людей целиком зависит от капризов судьбы. А далеко на горизонте белый корабль, символизирующий возможное или невозможное избавление, к нему устремлены взгляды и упования терпящих бедствие.

Впрочем, не всех. Одни из них, толпясь на краю плота, с мольбой протягивают к кораблю руки, размахивают рубашками. Кое-кто, потеряв надежду, отвернулся от светлого видения на горизонте, а некоторые, распростершись на досках плота, уже не принимают участия в том, что происходит вокруг, — мертвые или умирающие.

Может быть, потому, что оригинал картины очень стар, а может, репродукция неудачна, колорит ее довольно мрачен и уныл — это отнюдь не то произведение, которое взбодрит человека и, как какой-нибудь натюрморт, вызовет у него отменный аппетит. Но, как говорит Несси, «не все фильмы про любовь».

Чем не картина для нашей гостиной — в том же темно-коричневом тоне, а уж о сюжете и говорить не приходится. Разве распадающийся плот не сродни нашему рушащемуся дому, а потерпевшие кораблекрушение люди — разве они не наши братья по судьбе? У нас, правда, потерпевших крушение всего лишь пятеро, тогда как на плоту их гораздо больше, но в отношении характеров сходство поразительное. Кого ни возьми, у каждого свое место, у каждого свой удел.

Мое место на плоту тоже достаточно точно определено. Словно место в вагоне поезда, когда платишь за проезд предварительно. Я заплатил сполна за право на место в кругу людей, сраженных апатией. Не среди тех, что всем существом тянутся к появившемуся вдали кораблю — там место таким, как Лиза и Илиев. И не среди тех, для кого все уже в прошлом (Димов и

Несторов), а где-то посередине, среди людей, которых и к умершим не причислишь, и живыми уже не назовешь, среди тех, что повернулись спиною к видению на далеком горизонте.

Не лучшее место, могут мне сказать. Я же другого мнения, боюсь, что художник тоже. Он, этот художник, сыграл довольно злую шутку и над теми оптимистами, что на плоту, и над другими — из числа нашей публики. Ведь достаточно всмотреться в картину повнимательней, чтобы стало ясно: белый корабль — всего лишь мираж. Слишком он далеко — еле видная белая точка на бурном горизонте, — и нет решительно никакой надежды на то, что несчастные будут замечены и спасены. А если так, то зачем зря махать руками, не лучше ли посидеть, смиренно склонив голову.

Жребий брошен, говорю я себе и вхожу в магазин. Продавщица ужасно довольна возможностью сбыть с рук этот некролог в раме и старательно заворачивает его в двойной лист бумаги, потому что на улице заморосил дождь.

Да, дождь заморосил, небо опустилось совсем низко, до самых крыш, глухое свинцовое небо, но не бурное, а какое-то мертвое, напоминающее мне другую картину. Особенно не кичась своей художественной культурой, я должен уточнить, что «Плот «Медузы»» вовсе не первая, а вторая картина, позволившая мне соприкоснуться с живописью. Что касается первой, она и сейчас висит в комнате моей матери как потускневшая память о дедушке Стефане, который немало поездил по свету, побывал даже в Вене, откуда и привез эту картину вместе с уже упоминавшимся китайским сервизом, перебитым в свое время моей тетушкой в приступе истерики.

Вначале я соприкоснулся с искусством, когда увидел «Остров мертвых». На этой картине изображен небольшой остров, поросший высокими кипарисами, навевающими скорбь, и окруженный отвесными скалами, а в скалах выдолблены окна, и вам невольно приходит мысль, что это не что иное, как жилые корпуса покойников. Вероятно, художнику хотелось, чтобы его творение было исполнено скорби — вот почему он акцен-

тировал внимание на глухом свинцовом небе, на глухих неподвижных водах и на мрачных черно-зеленых кипарисах. Но в годы моего детства этот остров казался мне необычайно привлекательным — может, в силу того, что во мне срабатывал мой рефлекс всегда и во всем иметь противоположное мнение, — я испытывал какое-то смутное влечение к этим меланхолическим деревьям, к сонным водам, омывающим остров, к мглисто-серому горизонту, и мне казалось, что мертвые весьма недурно устроились.

Пока я тащусь по улице, прикрыв часть своей покупки полой плаща, мои воспоминания о той, первой, картине переплетаются со свежими впечатлениями от этой, второй, и я уже внушаю себе, что не стоит так пессимистично ее истолковывать, ведь не исключено, что волны в конце концов выбросят потерпевших кораблекрушение на какую-нибудь землю. Так же, как не исключено и другое — что этой землей окажется Остров мертвых.

— Я тут нашел кое-что, чем вы можете закрыть то страшное пятно в гостиной, — сообщаю я Лизе, возвращаясь под вечер домой со своей находкой.

Она с удивлением смотрит сперва на большой пакет в оберточной бумаге, а затем на меня.

— Я не ожидала от вас такого внимания, — признается моя квартирантка и начинает распаковывать картину. При виде сверкающей золотом рамы в складках серой бумаги она восклицает:

— Какое чудо!

Чтобы мгновение спустя воскликнуть еще громче:

— Какой ужас!

— Так чудо или ужас? — спрашиваю я.

— Она достаточно велика, чтобы закрыть пятно, но нельзя ли было найти что-нибудь более веселое?

— Что может быть веселей морской прогулки?

Так или иначе, картина тут же была повешена в гостиной не без ценной помощи инженера, который, после сложных математических вычислений, вбил гвоздь как раз в нужном месте, чтобы черное солнце сырости скрылось навсегда.

Чуть позже в гостиной появляются и старики, и,

естественно, новый элемент интерьера сразу привлекает их внимание.

— Вроде что-то мифологическое, — глубокомысленно произносит Димов. — Такими полуголыми ходили чуть ли не древние римляне.

Несси не склонен так углубляться в материю.

— В наше время на стены вешали то, что имело какой-то смысл, — заявляет он.

— Да мне поначалу хотелось подыскать какой-нибудь календарь, — пытаюсь оправдаться я. —Но беда в том, что это проклятое пятно слишком велико, чтобы его можно было закрыть календарем, а вешать два слишком некрасиво.

На этом художественный анализ картины кончается, а заодно и мой скромный психологический эксперимент. Затем внимание присутствующих переключается на информационную программу.

На сей раз перебранка вспыхивает во время какого-то репортажа из Италии. Я полагаю, что, не будь этого репортажа, она бы вспыхнула по другому поводу.

— И это коммунисты! До чего дожили: в коалиции с буржуазией вступаем, — не стерпел Несси.

— Лучше пойти на это, чем потерять завоеванные позиции, — объясняет Димов дочери.

— В свое время Маркс сказал, очт пролетариату нечего терять, кроме своих цепей, — припоминает Несторов.

— Но положение меняется. Все меняется, только мозги у некоторых не способны меняться.

Последняя фраза — хотя она обращена к Лизе — прозвучала не слишком деликатно. Во всяком случае, достаточно неделикатно, чтобы задеть за живое Несси.

— Что же, верно, некоторые до того изменились, что пошли дальше Маркса, но только не вперед, а вправо. А это, насчет цепей, Маркс не зря говорил. Силен тот, кому нечего терять. Сунь ему в руки карабин — и пускай идет вперед. И он пойдет, не станет оглядываться назад. Потому что позади ничего у него не осталось, кроме цепей. . .

Димов пытается что-то сказать Лизе по затронутому

вопросу, однако Несси до того разошелся — не дает ему и рта раскрыть:

— . . . Такие, которым терять нечего, страшнее смерти. И враг это сознает: не решаясь нанести им фронтальный удар, он его наносит подлейшим способом — пускает в ход заразу. Вы голы и босы? У вас ничегошеньки нет? Постойте, я вас одену и обую. Я сделаю вас собственниками. Я позолочу ваши оковы. . .

Рыцарь делает новую попытку пояснить Лизе, как обстоит дело в действительности, но Несси продолжает:

— . . . И дал им холодильники в рассрочку. Дал телевизоры. И квартиры дал в рассрочку. Уплата — по первым числам. В итоге не стачки, не баррикады, а покорство и аккуратность — на носу первое число. Вот она, зараза. Фронт для нее не существует. Она везде и всюду. И там, и тут. Ни тебе выстрелов, ни взрывов. Бацилла потихоньку делает свое дело. Стоит ей проникнуть в здоровый организм — и пролетарий начинает перерождаться, превращаться в мещанина. И там, и тут. . .

— Телевизор и холодильник не делают рабочего мещанином. . . — начинает Рыцарь, однако Несси затыкает ему рот:

— «Диктатура пролетариата». . . Великий принцип. Но где он, этот пролетариат? Пройдитесь туда-сюда, послушайте, что они говорят. Все их заботы — вокруг квартиры, мебели, дочкиной свадьбы, устройства сына в институт. . .

Несторов замолкает, чтобы перевести дух да подтянуть кверху свой ремень. И Димов готовится выдать встречную тираду, но я его опережаю:

— Может, вы полагаете, что они должны жить, как китайцы?

Несси смотрит на меня своими прищуренными глазами и произносит с невозмутимым видом:

— Насчет китайцев не знаю. Китай от нас далеко.

Однако Димов, несмотря на расстояние, знает и китайцев, и многое другое, и теперь настало его время сказать свое слово, что, разумеется, не мешает Несси прерывать его своими репликами, а телевизор давно забыт, и очередная свара в полном разгаре.

Они враждуют, эти старые хрычи, не считаясь с перемирием. Они дерут горло, нещадно шпыняют друг друга, словно обмениваются пощечинами, хотя в соответствии с негласной традицией прямо друг к другу они не обращаются.

Тут, конечно, воочию сказываются старческая сварливость, старческое упрямство. Пафос склероза. Но и нечто другое. Нечто такое, что порой кажется необъяснимым. Они так лезут в бутылку, как будто важнейшие мировые проблемы, самые что ни на есть глобальные, — их собственные проблемы, как будто весь мир ждет не дождется, пока эти двое решат наконец наболевшие вопросы. Как будто этот сумрачный, пропахший плесенью дом — командный пункт, с которого человечеству указывается дорога в будущее, где эти двое сцепились в смертельной схватке, чтобы завладеть жезлом.

Выжившие из ума фантазеры. Единственное, на что они теперь способны, так это взять авоську и пойти купить четвертинку брынзы в молочной. Действительно необъяснимо. Ведь если речь идет о брынзе, то и ты можеть сбегать в молочную. Но попусту драть горло ради спасения человечества, так вот распаляться — на такое ты не способен.

Они утихают только к началу фильма, может быть оттого, что у них нет больше сил. А может, им прост, неловко мешать Лизе, которая во что бы то ни стало должна посмотреть объявленную картину. «Анна Каренина» — экзаменационный вопрос, доставшийся Лизе при поступлении в театральный институт.

— Вы опять всплакнули, — замечаю я, когда мы по окончании фильма поднимаемся наверх.

— Естественно. . . Но мне кажется, артистка немного переигрывает.

— А вы как держались бы, будь вы на месте Анны Карениной?

— Вероятно, более спокойно, — отвечает она. И тут же добавляет: — Во всяком случае, я бы не пошла на самоубийство.

— Значит, о вас не скажешь, что вы потерпели кораблекрушение, — говорю я как бы сам себе.

— Вы для этого приволокли картину — внушать

людям, что они потерпели кораблекрушение? — догадывается Лиза.

— Внушать им? Этим олухам?

Глава седьмая

Ноябрь, воскресенье.

«Однажды в ноябрьский воскресный день. . .» — лихо начал бы я когда-то свой рассказ или роман. И должно было пройти немало времени, чтобы я понял: читателю решительно все равно, ноябрь на улице или декабрь, утро или вечер, дождь идет или светит солнце. Читателя интересует другое.

«Незнакомец кивнул в знак приветствия, а затем приблизился к хозяину и, сняв перчатку, вежливо закатил ему две пощечины». Вот это другое дело. Во-первых, тут есть действие, во-вторых, действие начинается неожиданно, а в-третьих, информация достаточно интригующая и, в-четвертых, — достаточно неполная, чтобы вызвать интерес к тому, что произойдет дальше. Что за человек этот незнакомец и что за птица хозяин? Чем вызваны пощечины и каковы будут последствия? Четыре вопроса, которые позволят вам некоторое время водить читателя за нос.

Да, действие. «Это очень деятельный человек», — порой не без восторга говорят о ком-нибудь, и только мизантроп догадывается спросить: «А каковы результаты его деятельности?»

Пока я действую, все вроде бы в порядке, поскольку мне некогда углубляться в рассуждения и задавать себе каверзные вопросы — что, зачем да почему. Но когда действию приходит конец, когда я оказываюсь в сумрачную ноябрьскую пору наедине с собой, вопросы меня осаждают.

Я вытягиваюсь на кровати — эти три бессонные ночи порядком меня утомили. Ночи, проведенные не с Бебой, а за письменным столом. Надо было добить одну пьеску — мне давно ее заказали, но вспомнил я о ней несколько дней назад, и только потому, что финансы мои на исходе. Мне заранее известно, что

скажет редактор. Он скажет: «В общем, недурно. Сгодится». Я и сам тертый калач, и сам вижу, что получилось недурно. Хотя не бог весть что. Обычный уровень, обычный гонорар.

И вот я начинаю думать, что беда моя заключается в том, в чем состоит и мой успех, — все в жизни давалось мне слишком легко. Экзамены в университет я сдавал без особых усилий и без чрезмерной зубрежки, профессия досталась безо всякого труда, деньги шли как бы сами по себе, женился как-то нежданно-негаданно. Верно, и диплом, и профессия, и заработки, и жена особого восторга у меня не вызывали, но это уже другой вопрос.

Всегда и во всем поступая разумно, я, однако, не впадал в мелочность. Во всем, с чем бы я ни соприкасался, я старался найти смысл и, что самое главное, постоянно старался быть человеком действия, чтобы не вдаваться в слишком углубленный самоанализ.

Прошли годы, и я оказался в гнетущей пустоте, которую пытаюсь заполнять размышлениями о всякой всячине; потребовалось еще раз оглянуться назад, оглядеться вокруг, чтобы меня наконец осенило это простое, на редкость простое открытие: стараясь во всем найти смысл, я ни разу не спросил себя о смысле всего того, чем начинена моя собственная биография.

Просто невероятно: рассуждаешь о конкретном, о частном — и в голову не приходит подвести черту, попытаться сложить из частного целое. Ты настолько далек от этого, что, если кто-нибудь спросит: «Эй, приятель, куда путь держишь?», тебе не останется ничего другого, кроме как сказать: «На кладбище». Все дело, вероятно, в том, что происходит процесс гораздо более сложный, чем простое механическое сложение. («Все в этой жизни так сложно», — сказал бы мыслитель Димов, который перед тем как надеть брюки наверняка обдумывает сию процедуру во всех ее возможных аспектах — к примеру, брюки у него в руках или полотенце, а если все-таки брюки, то с какой стороны их следует надевать, поясом кверху или наоборот, штанинами, и стоит ли их вообще надевать, не лучше ли с точки зрения диалектики пощеголять на улице в белых подштанниках).

Как бы ни был сложен этот узел, теперь я по крайней мере могу подступиться к нему, попытаться его развязать: Лиза все реже нарушает мое спокойствие — она или стучит на машинке, или пропадает где-то с Илиевым, так что времени у меня много. Лиза и Илиев — связь между ними крепнет с каждым днем. Они все больше привыкают друг к другу, а у меня входит в привычку видеть их вместе. Может, я эгоист — еще бы мне не быть эгоистом, — но в данном случае эгоизм мой состоит не в том, чтобы сохранить домработницу, а в том, что я надеюсь на скорое ее переселение к инженеру.

Инженер мне ни в какой мере не интересен. Общительный и даже симпатичный, если вы способны испытывать симпатию к подобным людям. Его поведение можно охарактеризовать одним словом: непринужденность. Он непринужденно расположится у вас в комнате, станет непринужденно расспрашивать вас о вещах, его не касающихся, непринужденно признается вам в какой-то своей слабости из числа тех, о которых говорить не принято.

Его привычка с одинаковой легкостью лезть в пачку с вашими сигаретами и к вам в душу, конечно, раздражает. Но если бы у меня спросили, что это — нахальство или врожденная простота, — я, скорее, склонился бы ко второму. Нахалом его не назовешь. Нахал беззастенчив, а этот все же не явится к вам без приглашения, отдернет руку от ваших сигарет или от вашей души, если заметит, что вам это неприятно. Но лишь в том случае, если заметит.

Когда Владо дома, он редко покидает пределы своей комнаты, с головой погруженный в какие-то вычисления. Он очень гордится творческой работой, которая занимает его не только в лаборатории, но и дома. В характер своих исследований он посвятил меня еще в момент нашего знакомства, хотя мне это было ни к чему.

Я знаю, он достаточно общителен, чтобы по первому же зову пожаловать к тебе на чашку кофе или на рюмку спиртного, однако у меня нет ни малейшего желания его приглашать. Он заваривает чай только для себя, иногда для себя и для Лизы. Неизвестно, какие другие пороки ему свойственны и есть ли они у него, но он

скуп, так что я застрахован от его приглашений. Невероятно скуп. И если порою тянется к вашим сигаретам, то в этом проявляется не только непринужденность.

Думаю, что именно этой своей непринужденностью он и Лизу охмурил. Взаимопритяжение родственных душ. Должно быть, уже в первом разговоре сказал ей что-нибудь вроде: просто грех прятать под одеждой такие прелести, после чего с той же непринужденностью принялся ее распаковывать. А возможно, он выразился более удачно — в неотесанности его упрекнуть трудно. Ему, скорее, по душе научная терминология, ведь он — дитя научно-технической революции. Пустился в рассуждения о демифологизации секса и о том, что в современном обществе секс наконец-то занял естественное свое место в ряду прочих повседневных дел, где-то между чисткой зубов и шнуровкой ботинок. И эта гусыня, желая показать, что она тоже идет в ногу со временем, благосклонно уступила ему себя во временное пользование. Тем более мужчина он хоть куда. Не атлет, однако все у него в норме, а уж открытый взгляд карих глаз, приятное лицо и особенно эта непринужденность. . .

Впрочем, все это догадки. И скорее всего беспочвенные. Я почти убежден, что Лиза пока держит его на расстоянии. Она, должно быть, усекла, что он малость расчетлив. А стоит расчетливому позволить кое-что ради прекрасных глаз, он тут же смекнет, что ему нет смысла идти расписываться.

Вдобавок ко всему и мой единственный приятель — ореховое дерево — окончательно оплешивел. Пышные листья его опали, и теперь сквозь редкое сплетение ветвей мне открывается именно такая картина, какую рисовала Лиза: болтающееся на балконах белье и хмурые лица, то тут, то там выглядывающие из окон. Хорошо, что моя добровольная экономка повесила не только зеленые шторы, но и полупрозрачные гардины. А в такой пасмурный день, как сегодня, полупрозрачные гардины становятся почти непрозрачными, за белой их мглой можно вообразить все, что душе угодно, даже зеленую орешину с густой благоухающей листвой.

Ну, а если лень воображать что бы то ни было, с

таким же успехом можно закрыть глаза и поспать.

Я погружаюсь в сон, словно в дремучий лес. Поначалу лес редкий, тут и там еще просвечивает внешний мир, полянки, трепещущие от яркого дневного света, откуда-то доносится человеческий говор, мелькают люди, вызывая во мне чувство досады, и я напрасно пытаюсь уединиться, потонуть в чащобе — нахальные вспышки яркого света то и дело возвращают меня из забытья, но постепенно они становятся все реже, исчезают совсем, а лес все густеет, и теперь это уже настоящий лес, глубокий и мрачный, с маслиновой листвой в черно-зеленом сумраке, и я незаметно тону в нем, окончательно тону в сумрачном лесу безмолвия и забвения.

Я бреду по лесу очень долго и начинаю замечать, что вокруг делается светлей. Мрак сменяется полумраком. Я теперь могу различить за деревьями какую-то постройку казенного желтого цвета — даже странно, среди дремучего леса такое массивное здание, — подхожу к старомодной застекленной двери, тянусь к звонку, но дверь уже открылась, и на пороге появляется слуга с тусклым каким-то лицом.

— Они все еще в спальне, — докладывает он, пропуская меня. «Кто они? И почему — они?» — недоумеваю я, хотя понимаю, что надо молчать и что я уже в спальне, и они действительно там, все лежат на своих кроватях, совсем как в больнице, — длинная комната с дюжиной кроватей, и на каждой из них женщина, одна из моих жен, и я с первого взгляда обнаруживаю, что здесь и Бистра, и Беба, и Елена, и еще несколько женщин, с которыми у меня были непрочные, случайные связи (ну, это уж действительно нахальство: прикидываться твоей женой только потому, что раз или два побыла с тобой наедине). Но больше всего меня бесит то, что там, в глубине, я вижу и Лизу — ладно, думаю, вот доберусь до тебя, я тебе такой скандал устрою, ты мне ответишь, на каком основании ты выдаешь себя за мою жену, только прежде чем дойти до нее я должен проследовать мимо других кроватей, точь-в-точь как дежурный врач, хотя все «жены» не склонны видеть во мне врача, они дуются, отворачиваются, и каждая норовит скорее отфутбо-

лить меня к следующей. Уморительно. Впрочем, сам этот визит уморителен, отмечаю я про себя, но понимаю, что мне надо идти до конца, тем более что я решил свести счеты с Лизой — должна же она ответить за свое нахальство.

— Тони, укрыть вас?

«Еще чего, уж не вообразила ли ты, будто я к тебе лягу?» — собираюсь я ответить, но где-то в дальнем закутке моего мозга рождается догадка, что я слышу голос Лизы не во сне, а наяву. Открываю глаза: над кроватью стоит моя квартирантка с одеялом в руках.

— Нет, спасибо, — бормочу я. — Я не хочу спать.

Пасмурный день на исходе, и в сумеречном свете комнаты ее лицо с темными полными губами и с темными глазами кажется мне странным и нереальным — невозмутимое, белое, как лицо античной богини.

— Последние ночи вы много работали, — говорит она.

— Следую вашему примеру, — отвечаю я и, сев на кровати, тянусь за сигаретами. — Вам не надоедает столько переписывать?

— Почему мне должно надоедать? — она смотрит недоуменно. — Ведь в том, что я пишу, есть смысл. Следишь за смыслом, а страницы переворачиваются как бы сами собой. Все равно что читаешь десятью пальцами.

Она только что вернулась с прогулки с Илиевым и еще не переоделась. То есть она не в своем изрядно поношенном летнем платье, пригодном для дома, а в другом, шерстяном, приобретенном на деньги, полученные за работу по хозяйству. Новый туалет невзрачного пепельно-серого цвета плотно облегает фигуру и подчеркивает ее пышные формы.

Однако платье не тесное, оно не сковывает ее движений. Лиза садится, спрашивает:

— Не возражаете, если я выкурю у вас сигарету?

— Вас, видно, способна увлечь любая работа? — спрашиваю я, когда она закуривает

— Не всякая. У меня, к примеру, не хватает терпения мыть окна. Но когда занималась продажей пластинок, я была довольна. Чуть не помешалась на музыке. Да и в книжном магазине тоже нравилось. Разговариваешь с людьми, одного обслужишь, с другим по-

вздоришь. Но главное — чувствуешь, что все-таки приносишь какую-то пользу. Стоит отлучиться на минуту — и у прилавка уже хвост, значит, ты нужна.

— Это называется мизерабилизм.

— Как?

— Философия бедности, примирение с нищетой. Что за счастье — быть нужным за прилавком? И то лишь до тех пор, пока другая вас не вытеснила.

— Что ж, так оно везде. Искать место в жизни — это то же самое, что надеяться получить квартиру во время жилищного кризиса.

Лиза делает затяжку с задумчивым видом, потом снова оживляется:

— Но свет велик, каждому в нем найдется уголок.

— Что правда, то правда, — соглашаюсь я. — Что-то да находишь. Только это «что-то» всегда хуже того, о чем мечталось. С этого и начинается. . . Противное ощущение, что ты остался с носом, что у других есть, а у тебя нет.

— Чего же у вас нет? Неужто вас не устраивает ваша работа?

— Я не о себе говорю. Я говорю вообще.

— Но я же вас спрашиваю не вообще! Чем вы конкретно занимаетесь?

Приходится популярно объяснять ей, в чем состоит моя работа.

— Мне в голову не приходило, что вы занимаетесь такими важными делами, — произносит Лиза с присущей ей наивностью. — Я думала, вы только тем и заняты, что пишете какие-то статейки. . . Значит, приходите на помощь людям. Может, не так уж они вам дороги, но вы все же помогаете им.

— Помогают инстанции, не я.

— Да, но без вас не обходится.

— Как без вас — за прилавком.

— Так много, значит, места?

— Вы меня спрашиваете или ставите вопрос вообще?

— Вас спрашиваю.

— Абсолютно ничего не значит. Но должно пройти немало времени, пока ты это поймешь. Если вообще поймешь. Лично для меня было бы достаточно какого-

нибудь барака среди заросшего бурьяном пустыря.

— Как это вы сказали? Ми-зе-ра-би-лизм, — произносит по слогам Лиза.

— Совершенно верно. Важно как-то скоротать время.

— Все равно как?

— Абсолютно все равно.

— Тогда зачем жить?

— Уместный вопрос, — киваю я. — Но слишком запоздалый. Многие самоубийцы уже дали на него ответ.

— Вы тоже способны на это?

— Нет. Не думаю. Самоубийцы — люди действия. Принял решение — и выполнил его. Я же и решение принимаю с большим трудом, а выполняю его еще трудней. Начинаю спрашивать себя, какой смысл. А когда начнешь задавать себе подобные вопросы, то получается ерунда, потому что смысла-то нет.

Молчание. Ей оно необходимо, чтобы преподнести мне свое «смысл надо искать в другом!», подкрепленное двумя-тремя затасканными аргументами. Так как я знаю, насколько она умна, мне ничего не стоит заранее отгадать, что она будет городить. И все же я выжидаю, смутно надеясь встретить возражение, какого я не сумел предвидеть.

Вместо этого я слышу:

— Вы больны.

— Вот как?

Комната уже тонет во мраке. Лишь два окна с белыми гардинами все еще светятся, как две высокие строгие двери в пустынную белизну небытия. Два окна и лицо Лизы, невозмутимое, словно лицо античной богини-селяночки.

— Я говорю вполне серьезно, — произносит богиня. — И это ясно как божий день: вы больны. Ваша болезнь сказывается в том, как вы воспринимаете жизнь. Вам кажется, будто вы делаете открытие, а на самом деле у вас подскочила температура.

«Вы больны» — очевидно, Илиев уже успел вбить ей в голову какой-то вздор. Просто диву даешься, до чего наша публика стала ученой. Любой и каждый ста-

вит тебе диагноз, в том числе и эта гусыня. И ничего удивительного, если человек норовит удрать от этого, чтоб затеряться где-нибудь в Альпах.

А в остальном и без диагностики все ясно: инженер втюрился по уши. Во время скромных вечерних бдений он все более явно заигрывает, и это вынуждает ее держаться подальше от него, то есть отсиживаться у меня — мол, всему свое время. Владо, конечно, изрядный жмот, но тем не менее каждый субботний вечер ведет Лизу в кино, а по воскресеньям — в кафе.

Однако никаких существенных перемен в их отношениях пока не наблюдается, моя квартирантка в свободное от домашних забот время стучит на старенькой машинке, принесенной невесть откуда, и я напрасно жду, когда прозвучит заветная фраза: «Тони, я выполняю данное вам обещание — освобождаю ваш чулан». Впрочем, когда-нибудь я ее все-таки услышу.

«Однажды в ноябрьский воскресный день, ближе к вечеру. . .» Только до вечера еще далеко. Сейчас раннее утро, кого-то уже принесло ко мне — в дверь звонят. Оказывается, воспитательница опять привела детей. От холодного ветра носишки у обоих красные.

— Нам не хочется злоупотреблять. . . но они, бедняжки, просят, — оправдывается женщина. — Я знаю, что эти малыши для вас чужие и вы не обязаны ими заниматься, но они. . .

— Как это чужие? — прерываю я ее. — Я же их дядя. Скажи, Гошко, я дядя тебе, верно?

— Дядя, дядя! — подтверждает малыш звонким своим голоском.

— Дядя. . . — тихо произносит и Румяна, касаясь ручонкой моего рукава, как бы желая убедиться, что я есть, что я рядом.

— А вот и наши детки! — подает голос Лиза, подоспев из кухни. — Я знала, что вы сегодня придете. Я покупаю две булочки на завтрак, а сегодня купила четыре.

Весьма сомнительно, потому что они с Илиевым договорились идти в кино. Но одна маленькая деталь приводит меня в растерянность: Лиза отказывается от кино, чтобы мы могли погулять с детьми. Бедный ин-

женер. Теперь он должен торчать на холоде, продавать билеты. Да и мне не позавидуешь. Похоже, я еще не скоро услышу долгожданную заветную фразу о моем чулане. . .

В общем, воскресный день проходит довольно-таки патриархально, и вечер тоже. Даже старики почти не цапаются у телевизора, если не считать отдельных колкостей, прозвучавших как ленивый звон шпаг. Зато вечер понедельника проходит куда более драматично. Когда мы, придя в гостиную, рассаживаемся по своим местам, мы переглядываемся с недоумением и беспокойством. Инженеру не терпится первому взять слово, но ему неловко. Так что слово — по праву отца — берет Димов.

— Что-то Елизавета не идет? Да и машинка вроде не стучала сегодня. . .

— Елизаветы нет дома, — отвечаю я.

— Как нет дома? — восклицает инженер.

— Что, уехала? — рычит Несси.

— В чем же дело? — подозрительно смотрит на меня Рыцарь.

Они все смотрят на меня подозрительно, словно спрашивая: «Что ты темнишь?»

— Не знаю, в чем дело, но она ушла утром и пока не возвращалась.

Мое коммюнике встречается с явной враждебностью, выразителем которой, по-прежнему пользуясь правом отца, выступает Димов:

— Вы там случайно не поссорились?

— С какой стати мы будем ссориться? — небрежно бросаю я.

— Надо сообщить в милицию! — вдруг предлагает Несси.

— Только не это, — сухо возражает Димов. — Если понадобится, мы сами ее разыщем.

В эту минуту раздается голос разума. Конечно же, исходящий от инженера:

— Я полагаю, нам не следует торопиться. Может, у нее какие дела. . . В любой момент она может вернуться, а мы — розыски!

— Вернется она, как же. После дождичка в чет-

верг, — роняю я с присущим мне скептицизмом.

— Вы поссорились? — вспыхивает Димов.

— Что за вздор! Какие у нее могут быть дела в городе? Никаких других дел, кроме пишущей машинки, у нее нет. А раз ее до сих пор нет дома, значит, она не вернется.

— Надо сообщить в милицию, — снова рычит Несси, но теперь уже стоя, дергая кверху ремень, словно готовясь к дальней дороге.

— Никакой милиции. — Димов вскакивает. — Если понадобится, я сам пойду ее искать. В конце концов она моя дочь, а не ваша.

— Спохватились. . . — презрительно бормочет Несси.

И тут снова в разговор вступает дитя технического прогресса:

— Ну, товарищи, зачем же так? Давайте сядем и спокойно обсудим создавшееся положение, как подобает разумным людям. А заявить в милицию мы всегда успеем.

— Никакой милиции! — снова возражает Димов и садится.

Усаживается на свое место и Несси, обеими руками обхватив свой живот, словно успокаивая его: «Спокойно, спокойно».

— Если отправляться на поиски, нам следовало бы начать с Лизиной матери, — говорю я.

— Резонно, — признает Несси. — Но где она живет?

— Вероятно, товарищ Димов знает.

— Я не могу туда ехать, — ерзает Димов.

— Не обязательно вам ехать, — говорю я. — Могу и я съездить. . . Либо Илиев.

— Вы лучше не встревайте, — жестом останавливает меня Димов, как будто я уже настроился идти. — Я вам об этом не говорил, Павлов, но у вас удивительная манера шутить с людьми, подзуживать их. . .

— Что-то не замечал. . .

— А я давно замечаю. И могу себе представить, как вы встретитесь с той истеричкой и во что это выльется.

— Тогда давайте я поеду, — предлагает Илиев.

Предлагает, но с оговоркой, что лучше все же выждать какое-то время. Прения продолжаются, и на-

конец принимается решение подождать до следующего дня (поскольку утро вечера мудренее). Все расходятся в минорном настроении, никто не хочет даже посмотреть пьесу, сгущенный драматизм которой льется по первому каналу полноводной рекой.

Просто не верится, чтобы из-за Лизы могло возникнуть столько эмоций.

А она не возвращается ни ночью, ни на следующий день. Владо все же приходится ехать к ее матери, и возвращается он с весьма скудными данными: мать лежит с сердечным приступом, а единственная родственница, к которой Лиза могла поехать, — ее двоюродная сестра, проживающая в таком-то городе.

— Отлично, — говорю. — Я как раз собирался туда в командировку от редакции.

Илиев заявляет, что готов отвезти меня туда на своей машине. Отвезти меня — можно подумать, будто это я рвусь на поиски, а не он.

Что касается командировки, то мне и в самом деле — по закону вероятности — может выпасть поездка в этот город. Именно там произошла запутанная производственная история, которой я едва ли рискнул бы заняться, если бы на письме Главный не начертал собственноручно: «А. Павлову. Проверить и доложить».

На следующий день рано утром мы выезжаем, хотя погода опять же по закону вероятности, возможно, самая неподходящая для путешествия на машине. По стеклам «москвича» стекают обильные струи воды, и «дворники» едва успевают смывать их, давая водителю возможность видеть чуть дальше собственного носа. Дождь барабанит по кузову, снопы света от фар тут же тонут в его струях. Такое впечатление, словно асфальт внезапно порос буйным серебристым камышом.

Если верить моим часам, уже должен наступить рассвет, но вокруг почти темно; видя, как напряженно Владо держится за руль, я невольно вспоминаю Бебу. Наконец после часа езды, в течение которого мы вряд ли одолели более сорока километров, дождь поутих и впереди стало светлей.

— Погода налаживается, — говорит Илиев.

Он любит делать констатации по поводу вещей вполне очевидных. Ясность никогда не повредит.

— А я уже думал, не вернуться ли нам, — бросаю я интереса ради.

— Вернуться? Да старики нас на части разорвут.

— Забавные деды. . .

— Ничего забавного, — возражает он. — Грызутся без конца, словно белены объелись, как болельщики, что после матча целый вечер обсуждают, правильно судья подал свисток или нет.

— Только эти двое не болельщики, они сами участвовали в игре.

— Ну и что? Матч-то закончился.

— Этот матч продолжается.

— Но для них закончился, — настаивает Илиев.

Он совсем замедляет ход и переключает на вторую, потому что впереди тащится какой-то грузовик, сплошь забрызганный грязью.

— А разве вас не задевают некоторые явления? — спрашиваю я.

— Конечно, задевают, но в техническом плане, не в эмоциональном.

Мы еле ползем, и это позволяет Владо взглянуть на меня.

— Помните, — спрашивает он, — как деды взъярились, когда речь зашла о злоупотреблениях?

— И что?

— И готовы были хватать друг друга за горло, когда разгорелся спор о бесхозяйственности, о том, кто во всем этом виноват?

— И что?

— Эти вещи их раздражают. И не только их. А вот меня они успокаивают.

— А! По-вашему, выходит, чем хуже, тем лучше?

— Вовсе нет! Как можно такое говорить! Меня успокаивает как раз то, что, несмотря на все безобразия, мы продолжаем двигаться вперед.

— Только мы с вами почти не движемся, — замечаю я. — Почему бы вам не обогнать эту черепаху?

— Паршивая видимость. Недолго и в катастрофу

попасть. . . — И он возвращается к нашему разговору: — В том-то и штука, что, сколько бы ни портили дело всякие там неучи и разгильдяи — да и опыта нам порой недостает, — цель будет достигнута. Потому что система наша сильна. Система много значит, Павлов. Так что я не понимаю, почему из-за каждой промашки надо поднимать шум.

— Вам лучше знать, — отвечаю я. — О системе могу сказать только, что, раз она так сильна, почему она мирится с негодной практикой? Сильный организм отторгает все, что ему мешает.

— И наш организм отторгнет все помехи. Помните, на что позавчера так напирал Димов: почему, мол, на Западе существует образцовая организация, а у нас ее нет?

— Думаю, старый хрыч прав.

— Думаете, но не убеждены. А я убежден, что не прав. И суть вовсе не в том, что у них одна организация, а у нас — другая. Суть кроется гораздо глубже, Павлов! Возможно, даже в генах.

— Ничего себе — в генах!

— Именно! Те народы учились организации производства уже восемь веков назад, в средневековых городах. Ремесленные мастерские, гильдии, мануфактуры, не говоря уж о дальнейшем внедрении машинного производства и о капиталистической индустрии. Так что коллективные процессы и организация дела у них в крови! Для них это уже унаследованный опыт, если угодно, тут уже сказывается биологическая наследственность. Тогда как нашенский мужик, будь то крестьянин или ремесленник, в это самое время еще ковырялся один или в лучшем случае ему пособлял подмастерье, а потомки этого мужика лишь несколько десятилетий назад впервые увидели фабричную машину. А мы хотим по всем показателям быть наравне с их потомственным пролетарием, больше того — с потомственным организатором и руководителем производства.

— По-моему, у вас перекос в область генетики, — произношу я с серьезным видом. — Какой-то сплошной биологизм.

Илиев не отвечает. Улучив момент, он нажал на газ, прошмыгнул мимо черепахи, но тут же повис на хвосте другой такой же грязной черепахи, так что опять нам предстоит ползти.

Рискованный маневр, похоже, отвлек Илиева от волнующей темы, и я возвращаю его к ней:

— Сколько же веков потребуется, по-вашему, чтобы догнать их, потомственных?

— Вы меня не поняли, — терпеливо возражает Илиев. — Речь идет не о веках. Сегодня процессы протекают очень быстро.

— Быстро не только для нас, но и для них, — напоминаю я ему. — А это значит, разрыв сохраняется.

— Совершенно верно, — кивает инженер. — Разрыв сохранялся бы, если бы системы были одинаковы. Но ведь они разные. Почему я и говорю: система много значит. Система нас спасает, Павлов, вот в чем штука!

Ну, мой оппонент зациклился на «системе», и лучше прекратить дискуссию, не то мы так и будем буксовать на одном и том же словечке. Я перевожу разговор на другое:

— Как думаете, почему Лиза подалась к своей тетке?

— Еще вопрос, там ли она, — педантично напоминает Илиев. — А если и там, то, должно быть, вам лучше знать, почему ее туда понесло.

— Значит, вы тоже считаете, что я ее прогнал?

— Вовсе нет. Но вы больше общались с нею. Вы могли многое знать.

— Вы не ревнуете? — вдруг спрашиваю я.

Илиев чуть улыбается, словно мой вопрос его забавляет.

— Я выгляжу так глупо?

— Отнюдь.

Это действительно так. Илиев может выглядеть как угодно, только не глупо.

— Лиза не способна жить с двумя мужчинами одновременно, — продолжает он. — Если бы она жила с вами, это значило бы, что у меня нет решительно никаких шансов. А если так, то какой мне смысл рев-

новать? А поскольку я чувствую, что у меня все же есть какие-то шансы, из этого следует, что она с вами не живет. Тогда зачем мне ревновать?

Выстроив эту логическую цепь, Илиев обеими руками вцепляется в баранку, лихорадочно ее выкручивает и обгоняет вторую черепаху. Чтобы упереться в третью. Так, теперь придется разглядывать ее номер до самого конца.

— Может, вы, Павлов, снова обвините меня в приверженности к генетике, в «биологизме», но в человеческой среде происходит то же, что и в животном мире: женские особи выбирают себе партнера, а не наоборот. И в этом сила этих слабых существ.

— Гены, — подсказал я.

— Инстинкт, — уточняет он.

— Однако то, что вы живете на разных этажах. . .

— Я, конечно, предпочел бы, чтобы мы были вместе. Но Лиза на это не пойдет, пока не будут соблюдены соответствующие формальности. Да и я не спешу. Прежде чем решишься на такой серьезный шаг, надо все взвесить.

— Еще не все взвесили?

— Наверное, все. Я не бабник, Павлов, но без женщины жить глупо. А она жутко на меня действует. Вы не можете себе представить, как она на меня действует. И я только тогда успокоюсь, когда она придет ко мне. Это будет то что надо. Надоело созваниваться со старыми приятельницами. Пора остановиться на одной.

— Завидую вашей способности так трезво мыслить.

— Может, и не завидуете, но все обстоит у меня именно так. Честно говоря, я подтрунивал над вами — про себя, конечно: «Иметь у себя дома такую бабенку и прохлопать ее!» На прошлой неделе я видел вас возле «Софии» с какой-то красоткой. Вы только не обижайтесь, но она Лизе в подметки не годится.

— Верно, — киваю я. — Она почти в два раза меньше Лизы.

Но на это инженер не отвечает. Какой смысл отвечать на глупые речи.

Когда мы прибыли на место, дождь перестал, и ветер принялся разметать темные тучи, похожие на дым заводских труб, открывая просветы звонкого голубого неба.

Владо паркует машину в какой-то улочке у перехода, мы сговариваемся встретиться в пять и расстаемся. Ему проще, он по крайней мере знает, что ищет. А я и этого не знаю.

Хорошо, что хоть адрес мне известен — оказывается, управление в двух шагах отсюда. Почтительно прочитав золотые буквы на черной дощечке у входа, я поднимаюсь по каменной лестнице на верхний этаж. Секретарша предупреждена о моем приезде, так что я застрахован от возможных уловок: «Начальника нет» и «Не могу сказать, когда будет».

Начальник на месте, он одет, как и подобает начальнику, безупречно выбрит, его румяные щеки странно контрастируют с мертвенной бледностью плешивого темени.

— Прошу садиться, — говорит он и широким жестом гостеприимно приглашает к кожаным креслам. — Как доехали в эту бурю? — И, не дожидаясь ответа, дает указание секретарше: — Позовите товарищей!

— Что тут у вас не ладится? — спрашиваю я, пропуская вопрос о буре мимо ушей.

— Все не ладится! — отвечает начальник, выходя из-за письменного стола и подсаживаясь поближе. — Полный провал.

Он явный холерик, из тех, о которых говорят «очень деятельный товарищ», каждое слово его сопровождается быстрыми и резкими жестами и мимикой.

— Как-никак это стройка государственного масштаба. . . Познакомьтесь с моими помощниками, — говорит он.

Помощники уже здесь: один — маленький, согбенный и седой, другой — чуть помоложе, худой и длинный, словно жердь. Впрочем, в присутствии начальства оба они кажутся маленькими.

Помощники вооружены папками — готовы, очевидно, к длительному разбору всевозможных дел, однако все их участие в беседе сводится к однообразным воскли-

цаниям: «Да, товарищ Стаменов!», «Точно, товарищ Стаменов!», а мне остается только слушать, прихлебывая принесенный секретаршей кофе — сладкий, как меласса, и почти такой же ароматный, — да изредка задавать вопросы.

Письмо, присланное в редакцию, проливает свет на многое, но многое еще необходимо уточнить. А в общем дело сводится к следующему.

Управлению поручено строительство в округе крупного гидроузла. В сооружение гидроузла входит прокладка трубопровода, требующая металлических труб определенного диаметра. Однако труб до сих пор нет, хотя предприятие, взявшееся их поставлять, завод «Ударник», находится в соседнем округе.

В результате, рассказывает Стаменов, задерживается возведение плотины, застопорилось сооружение водозапорного трубопровода, затягиваются работы по сооружению каскада, плюс ко всему строителей незаслуженно лишили премии.

Все вроде ясно: несмотря на заключение договора, несмотря на десятки совещаний и горы протоколов, завод «Ударник» проваливает задание по строительству объекта государственного значения.

«Расстрелять!» — сказал бы Несси. Но прежде чем принимать столь крайние меры, надо бы поглубже вникнуть в историю вопроса. У тех, из «Ударника», тоже могут быть объективные трудности. А эти, из управления, могут оказаться не такими уж невинными жертвами, каких из себя изображают. Так что я вынужден выразить свои сомнения вслух.

— Затруднений сколько угодно! И оправданий можно привести массу, — разводит руками начальник управления. — Но если бы их оправдания чего-то стоили, им бы не стали строго указывать. Вот, обратите внимание!. .

Стаменов нетерпеливо вырывает у седоволосого папку, показывает мне заключение арбитражной комиссии.

— А что вы сами предпринимали в течение всего этого времени?

— Во всяком случае, не сидели сложа руки, — отвечает Стаменов. — Вот поглядите.

На этот раз он вырывает папку у длинного, знакомит меня с целой коллекцией жалоб в вышестоящие инстанции.

— У нас-то совесть чиста! — патетически восклицает начальник управления, прижимая руку к сердцу. — Иначе мы не стали бы обращаться в органы печати.

— А почему вы не сделали этого раньше? — интересуюсь я. — Ведь столько времени потеряно — около года.

— Видите ли, мы надеялись, что положение как-то наладится. Кроме того, нам советовали не предавать это дело широкой огласке. . . Провал очень уж большого масштаба, вы меня понимаете — неудобно. . .

— Дело, конечно, нешуточное, — признаю я. — И я не смогу дать ход вашему письму, пока не буду располагать подробной документацией.

— Документацией? Извольте! — Конечно, он хорошо подготовился к встрече с печатью. — Костов, сходи возьми у Вани папку.

Чистая работа. Мне не надо исписывать записную книжку своими каракулями, я получаю из рук шефа управления папку с выписками из всех важнейших документов. Поскольку делать мне здесь больше нечего, я протягиваю ему руку.

Холодный ветер полностью очистил небо, в мокрых плитах мостовой отражается небесная синева. Вокруг новые светлые дома, громадные витрины, на каждом шагу кафе-эспрессо. Живут же провинциалы!

Я захожу в ресторан — изучить здешнюю кухню и убить время. Но в ресторане, если не пьешь, можно убить какой-нибудь час, не более, да и то за счет нерасторопливости официантов. Так что вскоре я перекочевываю в кафе, где мне удается убить еще час. Но до пяти остается еще два. Зря я не взял ключ от машины — мог бы подремать в ней немного.

Таким образом, памятуя пословицу «Дурная голова ногам покоя не дает», я иду побродить по торговому центру — и нос к носу сталкиваюсь с Лизой, нашей беглянкой. Она, конечно же, в обществе инженера. Но есть тут и кое-кто еще.

— Эй, карапуз!. . Поглядим-ка, сумеешь ты прыгнуть до неба? — тихо говорю я, подкидывая малыша над головой.

— Я не карапуз, я — Петьо! — поправляет меня мальчик, обозревая мир с высоты.

Удовольствие так велико, что, едва приземлившись, он просит:

— Еще!

Я подбрасываю еще два-три раза, потом Лиза делает ему замечание:

— Ну, довольно! Разошелся.

Послушный малый. Я на его месте повторял бы это «еще» до тех пор, покуда у матери не лопнуло бы всякое терпение. . . Видимо, Лиза приходится ему матерью. Хотя, может, и здесь есть интернат для бесхозных детей.

— Вот так встреча! — говорю я Лизе и Илиеву. — Но не буду портить вашу прогулку.

— Что вы, что вы, — бормочет Илиев.

— Мы в кафе-кондитерскую, присоединяйтесь, — предлагает Лиза.

Голос звучит суховато, но беглый ее взгляд вдруг показался мне молящим. В конце концов, почему бы не пойти с ними, вместо того чтобы мерзнуть на ветру, порывы которого становятся все более резкими.

В кафе-кондитерской я общаюсь главным образом с мальчишкой. Я говорю ему, что делаю детские автомобильчики. Он, конечно, спрашивает, правду ли я говорю, и в доказательство того, что это правда, я удаляюсь (пусть эта парочка закончит наконец свою беседу) и забегаю в соседний магазин, где незадолго до этого мой, так сказать, зоркий глаз журналиста приметил несколько игрушечных машин.

— А-а-а, ты их купил! — недоверчиво встречает меня малыш, однако это не мешает ему оценить игрушки по достоинству.

— Как это купил? Их только что прислали с завода.

— Как прислали?

— Самолетом, естественно.

Мальчонка, конечно, все понимает, однако игра в вопросы и ответы ему нравится, и мы некоторое время про-

должаем развивать легенду о самолете, уточняя детали.

Оживление на нашем конце стола, увы, находится в резком контрасте с холодной атмосферой на другом. Лиза и Илиев почти не разговаривают, лишь изредка оттуда слышится: «Может, возьмем еще по кусочку торта?» — «Нет-нет, спасибо!»

— Нам, пожалуй, пора, — говорит наконец Илиев.

С этим решительным предложением спешат согласиться все, в том числе и Петьо, которому не терпится как можно скорее отнести домой свои сокровища.

— Что это вы там сидели такие надутые? Ни дать ни взять индюки. . . — говорю я Илиеву, когда наш «москвич» уже катит по направлению к Софии.

— Ну и выражаетесь вы, — кисло отвечает Владо. — А ведь вроде культурный человек.

— Простите, мне подумалось, что у вас, должно быть, что-то не ладится.

— Посмотрел бы я на вас, если б вам подсунули ребенка.

— Значит, это ее малыш, — заключаю я. И, поскольку Илиев молчит, продолжаю: — Старая проблема. Помнится, я еще в первом своем сценарии ее затронул.

— Сценарий — это одно, а жизнь — другое, — меланхолично произносит инженер.

— Мне казалось, подобные предрассудки давно вышли из моды, — говорю я как бы про себя. Илиев не отвечает. — Вы, надеюсь, не воображали, что окажетесь у нее первым мужчиной?

— Естественно, — неохотно отзывается он, включая дальний свет, так как мы уже выехали на шоссе.

— Ребенок — всего лишь следствие прежней связи. Не могла ведь эта женщина заранее знать, что встретится с вами, верно? А то непременно поберегла бы себя для вас.

Резко переключив дальний свет на ближний, разминувшись со встречной машиной, Илиев снова включает дальний и только после этого говорит:

— Послушайте, Павлов, не надо читать мне лекцию, я не обыватель какой-нибудь, и у меня нет предрассудков. Если на то пошло, я вам скажу: ребенок не изменит моего решения. . .

Слава богу!

— Но от этого сюрприз не перестает быть неприятным. И дело тут не в том, что я не люблю детей, но у меня работа такая — цифры, анализы, вычисления, — и мне необходим покой. А мальчишка будет озорничать, шуметь, приставать с вопросами. Вспомните, сколько он задал вам вопросов, пока мы там сидели?

— Не считал. Но когда-нибудь у вас появится и собственный ребенок.

— Своего я начну воспитывать с первого дня. Ребенка надо начинать воспитывать с первого дня. Со второго уже поздно. . .

— А все-таки это делает вам честь — что вы остаетесь верным своему слову, — пробую я несколько подбодрить его.

— Эта женщина сводит меня с ума, тут уж не до чести. Для меня вопрос решен. . . Только вот обещаний мы друг другу не давали.

Он замолкает. У меня тоже пропадает охота разговаривать. Любовь всегда заставляет держаться подобающим образом, даже когда она сводится к сексуальному удобству. Даже когда она на редкость глупая. Как моя первая любовь.

Уже совсем темно. Вспаханные поля и покрытые инеем пастбища образуют сплошную мглистую черноту, рассекаемую надвое светлой лентой шоссе, по которому летит «москвич». Но под ногами у меня не валяется портфель с долларами. Вместо портфеля торчат ноги Илиева.

Первая любовь. Первое страдание. Ты только окончил университет, она только что окончила гимназию. Ты увидел ее в начале лета у кого-то на дне рождения совершенно случайно — все роковые события происходят случайно, хотя за этой случайностью стоит закон вероятности. Мы собрались отпраздновать день рождения, торжество происходило вечером, шумное и дикое, как все подобные сборища, а она сидела в стороне от стола, заставленного бутылками, в стороне от танцующих, и ты даже удивился, что такая красивая девушка может сидеть в полном одиночестве и никто ней не пристает. Ты разыскал хозяина дома, чтобы

он представил тебя — хотелось, чтобы все было по-людски; красавица чуть заметно улыбнулась, вступила в разговор, и ты изо всех сил старался выжать из своего мозга что-нибудь интересное, да так и не выжал; и виной всему была твоя скованность — не потому, что ты был таким стеснительным, а оттого, что вид этого неземного существа подействовал на тебя как удар дубиной по голове.

У нее было тонкое, чуть удлиненное лицо, сине-зеленые глаза с длинными меланхолическими ресницами, и весь облик ее казался бы неземным, если бы не соблазнительные бедра, которые обрисовывались под легким летним платьем, и маленькая, тоже ужасно соблазнительная грудь.

Взгляд ее был мечтательным, загадочным, и веяло от нее горьким ароматом сирени. (Неземное существо душилось одеколоном «Сирень» с очень слабым запахом — однако достаточно сильным, чтобы до конца сохраниться в твоей памяти как благоухание первой любви).

Женщина-картинка, точно сошедшая с обложки кинообозрения, одухотворенная и вместе с тем чувственная — я был настолько скован смущением, что в конце концов она сама начала разговор, на мое счастье, о кино, потому что, заговори она о музыке или о театре, ей бы сразу стало ясно, что я круглый дурак.

Да, красавица решила посвятить себя киноискусству, и тебе это показалось вполне естественным, как в случае с Лизой, с ее театральным институтом, — чему удивляться, если девушка, обладающая внешностью кинозвезды, готовится в киноактрисы.

Она смотрела немало фильмов, почти столько же, сколько и ты, так что база для духовного сближения была; после напрасных попыток потанцевать в битком набитой гостиной ты пошел ее провожать — так и началась эта мучительная связь, длившаяся целых два месяца.

Да, связь, если иметь в виду две прогулки в парке, несколько вечеров в кафе и два вечера, проведенных в летнем саду «Болгарии». Да, связь, если принять во внимание, что девушка единственный раз позволила

обнять ее и единственный раз поцеловать — впрочем, она не стала до конца терпеть твой поцелуй, так как он не шел ни в какое сравнение с изысканными поцелуями на экране. Да, связь, но проявляющаяся главным образом во сне, когда она то убегала от тебя, а ты силился догнать ее, но ноги твои были связаны, то неожиданно отдавалась тебе, чтобы внезапно отпрянуть и раствориться в пространстве, а в твоем воображении снова и снова вставала дразнящая картина — ее соблазнительные бедра и розовые губы, слегка раскрытые в любовном экстазе — единственный знак того, что она все же тебя навестила.

Зато в разговорах не было недостатка, скорее — в монологах, чаще в моих. Конечно, на кинематографические темы. Она дала согласие сняться в фильме и не допускала мысли, чтобы кто-то возражал против этого. Да и ты не собирался возражать, однако с присущим тебе скептицизмом говорил себе о кое-каких трудностях, сопутствующих этому шагу. Тогда и начались ваши разногласия. Люди, непосредственно связанные с кино, заверили ее, что все будет в порядке, — правда, это были всего лишь администраторы и светотехник, но они были на «ты» со всеми известными режиссерами. Они обещали ей поговорить, где нужно и как нужно, а затем появился человек куда более солидный — директор фильма или что-то вроде этого — и увез ее к черноморскому побережью на пробные съемки — или что-то в этом роде. Таков был эпилог твоей горькой любви.

Больше ты ее не видел и даже не пытался найти, решив не делать этого прежде всего потому, что ты даже адреса ее не знал: она никогда не позволяла провожать себя дальше угла улицы, и ты понимал, что при всей ее элегантности живет она не во дворце.

Ты, конечно, не терял надежды увидеть ее снова, но уже на экране, сидя в полутемном зале кинотеатра с предательскими слезами на глазах, но, хотя ты не пропустил ни одного болгарского фильма и терпеливо высиживал до конца даже самые скучные, тебе не удалось увидеть ее и в самой пустяковой роли, так что в конце концов ты вбил себе в голову, что она, вероятно, уто-

нула в море во время этих проклятых пробных съемок.

Это горькое предположение добавляло еще больше горечи в твою любовь и тебя окутывала приятная меланхолия, ты чувствовал себя трагическим героем — но, естественно, твоя большая любовь была всего лишь рисовкой. Постигшая неудача задела твое самолюбие. В короткие мгновения перед сном тебя даже покусывала злоба — в общем, ты мало чем отличался от избалованного мальчишки, который яростно топает ногами, когда взрослые не хотят купить ему воздушный шар.

Может, она и утонула, но не исключено, что в конце концов всплыла — всплыла прямо перед тобой несколько лет спустя, теплым осенним вечером на Русском бульваре; ты увидел ее уже совсем расцветшей, сильно нарумяненной и основательно раздавшейся в груди и в бедрах. Ты хотел было пройти мимо — с ней была какая-то ее приятельница, — но она тебя окликнула: это как же понять, неужто мы незнакомы, и ты сказал: еще бы, как идут съемки, а она: давай без подначек, и в ходе короткого разговора на тротуаре стало ясно, что сегодня вечером она занята, а вот уж завтра определенно будет свободна.

А на следующий вечер пришлось признать, что она все-таки гетера, и самомнения у нее заметно поубавилось, зато все стало намного проще, она с милой непосредственностью тебе сказала: ну-ка, я погляжу, научился ли ты наконец целоваться, и ты показал, на что способен, насколько мог, потому что после долгого, томительного ожидания человека не покидает скованность, однако она ко всему отнеслась с пониманием, и все сложилось далеко не так, как после твоего несчастного первого поцелуя.

Верно, сказал ты себе, проводив ее с квартиры отзывчивого друга, где разыгралось действие, это уже не та Бистра, какую ты знал когда-то, но разве ты все тот же прежний Тони? Потому что, в силу какой-то магнитной аномалии, как выразился бы Петко, твоя бывшая первая любовь оказалась просто-напросто твоей будущей первой и, будем надеяться, последней женой, той самой божественной Бистрой, от которой ты захотел быть подальше.

Утонула? Если бы. Поначалу, конечно, ты был более чем счастлив от сознания, что она не стала жертвой зловещей морской стихии. Первое время ты был на седьмом небе оттого, что можешь держать в своих объятиях это тело, эту сладостную озорницу, столько раз являвшуюся тебе во сне. Верно, прежде чем очутиться у тебя, она, словно эстафета, прошла через другие руки и была достаточно искушена, чтобы можно было воображать, будто ты первый или там пятый. Но что поделаешь, времена теперь другие, нынче женщина не может всю жизнь оставаться девственницей, как твоя тетушка.

Она впрямь в чем-то стала другой, и не только в любовных делах. Стоило, к примеру, заговорить о кино, как ее язык становился острым и она не упускала случая подметить: чтобы стать звездой, нужны не актерские, а кое-какие другие таланты; искусство больше не интересовало ее, зато страсть к артистической среде целиком в ней сохранилась, ее влекло на концерты и премьеры, впрочем, ей доставляла не меньшее удовольствие и другая форма человеческого общения — вокруг колоды карт.

Она утратила былую наивность, зато обрела жизненный опыт, теперь это была не глупая девушка — да и к чему тебе она, если ты получаешь взамен цветущую женщину, красивую, благоухающую «Шанелью».

— Ты больше не душишься тем одеколоном. . . Помнишь, «Сирень»?. .

— А почему я должна пользоваться таким пошлым одеколоном? Настоящие духи, дурачок, никогда не пахнут каким-то одним цветком. Их благоухание загадочно. . .

Утонула? Это ты утонул. И главным образом из-за собственной бесхарактерности. Ты тоже вроде этого олуха, сидящего рядом, — говорил себе: чем охотиться за случайными женщинами, лучше иметь в постели одну постоянную. Внушал себе, что в конечном счете все они одного поля ягода. А так как она основательно прибрала тебя к рукам, ты поступил согласно пословице «Не трать, кум, силы, опускайся на дно».

Такова она, твоя первая любовь. Ее, любовь, нель-

зя ведь получить по заказу, словно костюм. И если бы даже была такая возможность, вряд ли бы что-нибудь изменилось, если учесть твой дешевый вкус. По-настоящему ты никогда никого не любил. Ни мать свою, ни отца, ни Бистру, которую когда-то представлял своею большой несчастной любовью. Дело в том, что твоя «большая любовь» была всего лишь рисовкой.

С некоторых пор на тротуаре, по ту сторону улицы, маячит какой-то молодой человек с гривой светлых волос: он небрежно прохаживается взад-вперед, засунув руки в карманы черной куртки. Под курткой у него — черный пуловер с высоким воротником: в такую погоду в рубахе нараспашку выходить на улицу неохота.

Если не принимать во внимание пуловер, все остальное мне хорошо знакомо. Молодой человек то прохаживается вразвалку, то подпирает стену противоположного дома или торчит на бровке тротуара, уставясь взглядом на наш дом, словно кого-то ждет. Пусть ждет.

На следующий день, выглянув в окно, я снова обнаруживаю часового в черной форме. Однако на сей раз он не располагает таким запасом терпения и времени, не проходит и часа, как он вдруг исчезает. Исчезает — или стоит у входа в нашу квартиру. Снизу доносится двукратный зов звонка.

Открыв, я вижу знакомое лицо. Но это не Лазарь.

— Мы вроде бы встречались, — бормочу я.

— Верно. У Слави.

Это тот патлатый, с мрачным лицом, из квинтета, Мони. Он в куртке и узких брюках, в сапогах не то красного, не то коричневого цвета, спрятанных под штанинами, но не настолько, чтобы было трудно определить, что это именно сапоги, а не обычные ботинки.

— Чем могу быть полезен? — спрашиваю я.

— Это я хочу быть полезным, — уточняет косматый. — Надо бы кое-что выяснить. . . — Он смотрит на меня укоризненно и добавляет: — Мы тут будем говорить?

— В доме невозможно. У нас гости.

— Что же, можно и здесь. — Мони пожимает узкими плечами. — Я насчет Лизы.

Он пытливо смотрит на меня, ждет моей реакции, но реакции нет.

— Может, вы думали, что Лазарь хотел умыкнуть ее? Ерунда. Что касается бабенок, я могу вам поставлять их по две в день, и гораздо более пикантных, чем Лиза, если это вас интересует. Мы разыскиваем ее, чтобы потолковать по-человечески, только и всего. Пока мы настроены говорить по-человечески. Потому что сами понимаете: всякому терпению есть предел.

— У вас какие-то секреты?

— Какие секреты, Павлов? Чисто финансовое дело. С нее кое-что причитается, она обязана вернуть.

— Но ее нет дома.

— Куда ее понесло?

— Понятия не имею.

— Куда бы ни понесло, вернется, — говорит Мони. — Вы не обижайтесь, но другого такого олуха, как вы, ей не найти.

— Почему олуха? — спрашиваю я с видом настоящего олуха.

— Она не для вас, Павлов. Это же грязная баба. Прачка. Если вам нужны женщины. . .

— Значит, она вас ограбила?

— Скажем так: за нею небольшой должок. . .

Я невольно опускаю глаза на его сапоги, которые вдруг смутно напоминают мне о чем-то, затем смотрю на хмурую, наглую его физиономию.

— Ясно, — говорю я. — Только я тоже кое-что вам должен. . .

И при этом непринужденно бью его кулаком по носу.

— За тот раз, — поясняю я.

Косматый отлетел назад, но все же сумел удержаться на ногах. Зажав рукой окровавленный нос, он пристально смотрит мне в глаза.

— Тычок, — говорит, — я вам прощаю. Но из-за этой прачки вы еще наплачетесь. Такое вам и не снилось. . .

Лиза возвратилась под вечер, но я увидел ее позднее, по возвращении из редакции, сидящей в гостиной

в обществе трех кавалеров. Старики, видно, довольны, но довольство свое выражают главным образом тем, что смирно сидят в своих креслах, стараясь не затевать перебранок.

Труднее понять, насколько доволен Илиев. Во всяком случае, он уже переборол скверное свое настроение и ищет глазами взгляд Лизы — ищет, однако, безуспешно. На его реплики Лиза отвечает вполне вежливо. Холодно, но вежливо.

— К вам опять приходили визитеры, — сообщаю я ей, когда мы поднимаемся наверх.

Рассказывая о приходе косматого, я стараюсь воздержаться от оценок.

— А откуда вы знаете, что это Мони? — спрашивает она.

— Я его вдруг вспомнил. Это он приходил тогда с Лазарем. Когда он убегал, я не видел его лица, но узнал по сапогам.

— Расквитались с ним?

— В каком-то смысле — да.

— Вам не следовало этого делать. Это опасный человек.

— Не думаю, что уж очень.

— Вы не знаете, что за его спиной стоят другие.

Лиза ничего не говорит о долге, на который намекал Мони, а я не пускаюсь в расспросы. Какой смысл заставлять ее лгать?

— Не знал, что у вас есть ребенок, — перехожу я на другую тему. — Славный парнишка.

— У меня нет ребенка, — отвечает Лиза.

— Илиев, однако, утверждает, что он ваш.

— А, он уже излил вам свое горе? — Я не говорю ни да, ни нет. — Это ребенок моей двоюродной сестры.

— Вам хотелось проверить, как к этому отнесется инженер?

— Пожалуй. . . Я даже шепнула Петьо, чтоб он меня звал мамой, но мальчишка вообще перестал ко мне обращаться, когда вы затеяли с ним игру.

— Хитро задумана операция.

— Какая операция? Я просто пошутила.

— Это не шутка. Это называется тест.

— Говорите по-болгарски.

— Недоверчива и строптива, — произношу я как бы про себя. — И чего это вы так важничаете?

— Я? Важничаю?

— Важничаете. Можно подумать, Илиев бог знает как виноват. Я на его месте тоже вряд ли бы обрадовался, если бы мне подкинули чужого ребенка.

— Вам было бы все равно. Вам всегда все равно. . .

— Да сейчас не обо мне речь! И, простите, ваш номер с ребенком — ужасная глупость!

— А почему бы мне его не проверить? — спрашивает Лиза, подбоченившись. — Неужто я не имею права проверить, прежде чем на что-то решусь?

— Но не таким же глупым способом!

— Я не знаю другого.

— Человек готов принять вас, не спрашивая, кто вы такая, со сколькими мужчинами спали и сколько правды в том, что вы рассказываете о себе, — послушайте, если вы и ему преподнесли ту же историю, что и мне, то учтите: она не очень убедительна. Он и не собирается вас проверять, хотя сомнений у него предостаточно. И после всего этого вы намерены его испытывать? Что вы себе воображаете? Вы неотразимы? Незаменимы?

Теперь уж и мне лавры Цицерона не дают покоя. . .

Лиза настороженно следит за мною взглядом, но не отвечает, и я вынужден продолжать:

— Неужели не видите, что всем нам одна цена, и если у кого-то есть плюсы, то, наверное, и минусы тоже есть, а сальдо в общем и целом одно и то же, так что нелепо устраивать проверки и задирать нос!

— А что это вы так разгорячились? — Лиза поднимает брови.

— Ничего подобного, я спокоен.

— Вы, конечно, с нетерпением ждали, чтобы я освободила чулан. . . Ну вот, а теперь чувствуете себя обманутым.

— Чулан мне ни к чему!

— И тот свободный стул в «Болгарии» был вам ни к чему, однако же вы мне устроили сцену, — напоминает она.

— Хорошо. Примите мой чулан в качестве свадебного подарка. Можете принимать там гостей.

— Спасибо, — сухо произносит Лиза. — И все-таки зря вы горячитесь. Но я подумаю. Может, я и вправду дала маху?

Она медленно, словно в раздумье, направляется к своим покоям, однако, прежде чем скрыться в легендарном чулане, замечает:

— Но в одном вы не правы.

— В чем же?

— Нельзя говорить, что всем одна цена, Тони. Даже родившимся под одним знаком цена разная, если вы хоть что-то смыслите в астрологии.

На следующий день, собираясь в редакцию, я снова слышу два звонка. Но это не Мони и не Лазарь — они звонят не так. Лизы нет дома. Спускаясь вниз, я думаю о том, что это оживление возле моей двери начинает мне надоедать.

У входа стоит незнакомый гражданин в нарядном темно-сером летнем пальто и в темно-серой шляпе. Узкие бакенбарды, тронутые сединой; ему явно за пятьдесят, но держится он подтянуто. Особые приметы: на редкость низкий рост. Впрочем, какое это имеет значение — Наполеон тоже не был великаном.

— Я бы хотел видеть товарища Димову.

— А почему вы не звоните к товарищу Димову? — спрашиваю я, указывая на ряд табличек, приколотых к двери. — Тут написано: Радко Димов, три звонка.

— Я не читал, что там написано, — говорит посетитель слегка раздосадованно. — Я получил записку от Димовой, там черным по белому сказано: два звонка.

— Виноват, извините. А Димовой нет. Что-нибудь ей передать?. .

— Спасибо, нет. Мне надо видеть ее лично.

— Весьма сожалею, это невозможно. Она умерла.

— Что вы несете? — вдруг громко вскрикивает воспитанный незнакомец.

— Я хотел сказать, она умерла для общежития. Уехала.

— Но минуту назад вы спрашивали, не передать ли ей что-нибудь!

— Опечатка. Я имел в виду возможность связаться по почте.

— Что ж, предоставьте и мне эту возможность!

— Это исключено.

— Вы что, издеваетесь? — взрывается карлик. — Я пришел по делу, принес человеку деньги, а вы меня разыгрываете!

— От денег мы ни в коем случае не отказываемся.

— Держите карман! — злобно кричит незнакомец и убегает.

Когда вечером я рассказываю об этом Лизе, она горестно вздыхает (ага, и вздыхать она умеет):

— Час от часу не легче!. .

— Я действовал по вашей инструкции.

— Но это же Миланов приходил!

— Ну и что?

— Это же его рукописи я перепечатываю. И машинка тоже его.

— Жаль. Выходит, в вахтеры я не гожусь.

— Извините, ради бога, — заговорила она другим тоном. — Я, конечно, надоела вам хуже горькой редьки, но эта перепечатка — единственная возможность заработать.

Я молчу.

— Я сама виновата, — продолжает Лиза. — Миланов тут ни при чем. Я оставила у его соседей готовую рукопись и ваш адрес, чтобы он прислал деньги по почте или передал с кем-нибудь.

— Как видите, в почте он не нуждается и в вашей перепечатке — тоже.

— Почему же это? — спрашивает явно задетая Лиза. — Я печатаю хорошо. Почти без ошибок. Миланов терпеть не может, когда в тексте ошибки, потому-то именно мне и доверил рукопись.

— Не прикидывайтесь слишком наивной, — говорю я. — При вашем росте. . .

— А вы что вообразили? Да бог с вами! Я с ним познакомилась совершенно случайно и спросила у него, нет ли у него или у его коллег чего-нибудь для

перепечатки — я очень тогда нуждалась, а он сказал, найдется, и дал телефон, я ему позвонила уже после того, как устроилась у вас, вот и все. И ничего тут такого нет. . .

— И при следующей встрече он только отдал вам рукопись и машинку. . .

— Ну конечно. А вы что имеете в виду?

— Вы прекрасно понимаете что. А также то, что имеет в виду он, — добавляю я, глядя на Лизу без особой симпатии.

Она стоит у входа в чулан, прислонившись спиной к стене. Грудь нахально распирает вязаный пуловер, дородные бедра — юбку. Черный пуловер и черную юбку. Должно быть, куплены в провинции. Они несколько смягчают грубую чувственность ее фигуры и придают ей некоторую строгость. Лицо у нее тоже строгое и какое-то недружелюбное, если вообще можно что-то прочесть на этом белом безучастном лице. Даже две зеленые черешни серег кажутся сейчас строгими.

И чего я пристал к этой женщине, говорю я себе, глядя на нее без особой симпатии. Она такая, какая есть, и ты не в силах ничего изменить, да в этом и нужды никакой нет. Пускай себе идет своей дорогой. Ты в свое время даже Бистру не попытался изменить, потому что это казалось тебе слишком утомительным — бороться с пороками другого человека, — потому что в глубине души Бистра была тебе совершенно безразлична. Тогда отчего же ты пристаешь к этой женщине, совершенно тебе чужой, к женщине, которая не была и никогда не будет твоей женой?

— Неужто вам непонятно, что, если Миланову понадобится машинистка, он ее запросто найдет, а вот к вам он липнет совсем по другим соображениям? С замухрышками такое случается — с ума сходят по рослым бабам. Я понимаю, вам нелегко сводить концы с концами, но ведь не таким же способом зарабатывать деньги.

Лиза смотрит на меня широко распахнутыми глазами, потом медленно произносит:

— Как вам не стыдно!

— Почему?

— Как вам не стыдно! — повторяет она. — Да если

бы я захотела таким способом зарабатывать деньги, разве стала бы я ночи напролет сидеть за машинкой — до боли в суставах, до онемения в спине? И зачем бы я оставляла рукопись у соседей, вместо того чтоб самой явиться к Миланову и тут же получить наличными? Как вам не стыдно, Тони!

— Погодите, — говорю я. — Вы, надеюсь, все-таки не настолько наивны, чтобы не знать, чего он от вас ждет?

— Ну и что? Пускай себе ждет! Пока что он молчит, а скажет — получит ответ. Стоит разок отшить его как надо, и он уймется!

— Ну ладно, — отступаю я. — Дело ваше. Вы не ребенок.

А Лиза уже как ни в чем не бывало предлагает:

— Как думаете, не спуститься нам вниз? Неудобно оставлять стариков одних.

Старики не одни, с ними сидит Владо, однако лишь появление Лизы вызывает у них оживление.

Лиза садится возле инженера, а я подсаживаюсь к ней с другого боку. Будем надеяться, что разлад между ними будет непродолжительным, хотя ликовать пока еще рано. Старики, потонув в своих креслах, кротко слушают льющуюся с экрана информацио. Лишь изредка Несси что-то ворчит — тихо, почти про себя. Но вот в телепередаче заходит речь о каком-то человеке, пойманном при попытке пересечь границу. Он сидит перед камерой на безжизненном фоне белой стены, у него грубое унылое лицо, волосы коротко острижены.

— В свое время с предателями не церемонились, — неприязненно замечает Несторов.

— А он не предатель, — говорит Димов, конечно, обращаясь к Лизе. — Предатель — тот, кто предал свои идеи. А это так, проходимец какой-то, обыкновенный нарушитель границы.

— Нет, уж эти тонкости сведут нас в могилу! — насмешливо роняет Несси. — Когда-то у нас были две категории — патриоты и предатели. А теперь сам черт не разберет.

Его действительно трудно обвинить в излишней тонкости. Едва ли когда-нибудь в его речи фигурировали такие выражения, как «мне кажется», «я

полагаю», «я сомневаюсь». Что ему может казаться? Он либо знает, либо не знает. Ему не знакомы колебания, он не нуждается в гипотезах. Вероятно, он видит окружающий мир двухцветным. Оттенки таят в себе обман, приводят к заблуждениям.

— Доброе старое время, — произносит со злой иронией Димов, опять же в сторону дочери. — Кого интересует, честный ты человек или нет? Марш в тюрягу — и вся недолга.

— Честных предателей не бывает, — сердито возражает Несси.

— Зато были честные люди, которых иные объявляли предателями, — не унимается Димов. Горделиво выпятив хилую грудь, он впервые обращается к стоящему рядом креслу: — Смею утверждать, я был честным человеком! Что и доказано.

— Что из этого? — презрительно спрашивает Несси. — Вам что, орден повесить за то, что вы были честным? Велика заслуга — быть честным человеком! Даже слеза прошибает.

— Я не о заслугах. . .

Рыцарь пытается что-то сказать, но Несси буквально затыкает ему рот:

— И что означает — быть честным? Один сам себя честно обманывает, другой честно обманывает соседа. Да-да, вполне честно, потому что так у него устроена голова. Ворох сена двум ослам не могут разделить, а туда же — в мировой политике горазды покопаться, все проблемы решить!. .

— И таких, конечно, надо расстреливать? — выкрикивает Димов.

Несси не изволит отвечать.

— Тех, которые не повторяли слово в слово ваши глупости, вы в свое время упрятывали в тюрьму! И никто никогда не спросил с вас за это. . . Дескать, замаливайте сами свои грехи на склоне лет, и пенсийки вам дали на поклев. . . Целый год гнил в тюрьме без суда и следствия, и мне до сих пор неизвестно, кого мне благодарить за такую милость.

— А вам так хочется узнать? — с издевкой спрашивает Несси.

— Представьте себе! Узнать бы только, кто этот негодяй. . .

— Нет, вы действительно хотите узнать? — продолжает удивляться Несси.

— Только бы узнать! . . — повторяет Димов, который, как всегда в минуты сильного волнения, забуксовал на последней фразе.

— И что же вы станете делать, когда узнаете? — все так же саркастически спрашивает Несторов.

— Узнать бы только фамилию этого негодяя! . .

— Это проще простого, Димов, — заявляет уже серьезно Несси, неторопливо вставая с кресла.

Теперь, поднявшись во весь рост, он кажется огромным — он и его огромная, устрашающая тень на стене. Он подтягивает толстый ремень, упирает руки в бока и отчеканивает:

— Я этот негодяй, Димов. Я отдал приказ о вашем задержании. Я вел следствие. И я целиком за это отвечаю.

Затем Несси медленно поворачивается и, словно борец с ринга, тяжело ступая, уходит к себе.

Глава восьмая

Декабрь я встречаю на периферии. Приходится немного погостить на заводе «Ударник» в порядке обмена опытом. История с трубами становится все более запутанной, а папка с документацией разбухает не по дням, а по часам — руководство «Ударника» тоже внесло в нее свою лепту. Слушая объяснения директора, я рассеянно осматриваю заводской двор, ряд черных деревьев у каменной стены — их кроны кажутся странными иероглифами на фоне белесого неба, называемого синоптиками высокой облачностью.

Как раз в это время рабочие в синих комбинезонах и ватниках выходят на обеденный перерыв. Они идут в столовую разрозненными группами, на их чумазых, лоснящихся от пота лицах жесткое выражение — работа с металлом всегда придает человеку какую-то твердость, металл — дело не шуточное. Я не замечаю

в них той усталости, от которой ноги заплетаются. (Эти, в директорском кабинете, — тоже не переутомлены).

Проверка оказалась полезной, хотя и не оправдала моих ожиданий. И теперь я снова в столице. Уже третий час, мне пора в редакцию.

Но пока что это всего лишь доброе намерение. Мне не удается сделать и пяти шагов, как где-то рядом со звоном разбивается оконное стекло. По проходу между двумя строениями в сторону улицы мчится на всех парах какой-то мальчишка. Заметив меня, он пытается дать задний ход, но я успеваю по-отечески сграбастать его. В другом конце прохода, точнее, в нашем дворе, ватага мальчишек поменьше с интересом наблюдает за развитием событий.

Этот шпингалет со слипшимися соломенными волосами и наглым лицом хорошо мне знаком еще с той поры, когда я от скуки разглядывал наш двор. Этот утоптанный, как деревенская сельская площадь, двор напоминает мне глубокую яму, образуемую окрестными зданиями, — после того как с моего ореха опала листва яма эта кажется мне особенно страшной. Сумрачная арена, на которой подвизаются гладиаторы из местной ребятни, пока родители на работе — помимо того, что ребятня поднимает шум и бьет стекла, она требует есть.

Конечно, в общем, дети народец не плохой, однако не стоит обольщаться: налицо все предпосылки, что они скоро станут плохими, попав под команду такого вот кретинистого типа, как этот, с соломенными волосами, вечного крикуна и драчуна.

Первое, что бы я сделал, — это дал бы ему два-три пинка, чтобы у него навсегда пропала охота творить зло. Но я человек ленивый и редко поддаюсь первой реакции, потому что она обычно неверна, а порою даже просто глупа.

— Зачем ты разбил окно? — спрашиваю я, крепко держа мальчишку за пояс.

Он делает отчаянные попытки вырваться и даже колотит меня кулаками в грудь. Довольно увесистые кулаки, если принять во внимание, что ему вряд ли исполнилось двенадцать.

— И прекрати драться! — предупреждаю я, не выпуская мальчишку. — Я ведь тоже драться умею. Зачем разбил окно?

Пацан молчит, пронзительно глядя мне в глаза светлыми злыми глазами.

— Ладно, — говорю я, — в таком случае пойдем к участковому. Ему ты ответишь.

— Дядя, не надо к участковому, — просит мальчишка.

— Почему? Вы с ним старые знакомые? — Молчание. — Говори, почему ты разбил окно?

— Почему. . . Другие заставили. . .

— Ты еще и плут? А разве не ты здесь командуешь? Я тебя знаю, пакостник, у меня давно руки чешутся при виде тебя. Из-за тебя во дворе все беды. Но теперь ты получишь свое!

— Дядя, не надо меня к участковому! — заладил мальчишка, словно ничего другого сказать не может.

Голос у него грубый, хриплый — вечно он горланит, — и потому просьба его звучит фальшиво.

— Что вам сделал этот старик? — Я повышаю тон. — Я тебя спрашиваю.

— Он на нас кричит. . .

— И вы решили его наказать? А теперь слушай: если еще хоть раз будет разбито окно, я тебя вмиг найду, где бы ты ни спрятался, и ты мне заплатишь за все разбитые стекла — да так, что запомнишь на всю жизнь. Отныне ты за все отвечаешь, понял? Только ты!

Светлый злой взгляд темнеет. То ли оттого, что больше не придется бить стекла, то ли оттого, что пацан не может стукнуть меня так, как хотел бы. Вероятно, решив, что вопрос исчерпан, он снова пытается вырваться.

— Постой, куда торопишься? Успеешь. . . Сперва почини окно, а там посмотрим.

И, сжав плечо пацана, рискуя его раздавить, я тащу озорника в дом.

Когда мы входим, Лиза подметает осколки, разлетевшиеся по всему полу, а лежащий на кровати Димов, вооружившись очками, читает какое-то письмо.

Рыцарь болеет. Может, это всего лишь легкая просту-

да, но для этого хилого, истощенного организма легких болезней не существует. И все-таки Димов не сидит сложа руки: последнее время он усердно с кем-то переписывается.

— Мы пришли чинить окно, — говорю я.

— Так это ты бьешь стекла? — спрашивает старик, и его голос не выражает ничего, кроме немощи.

Пацан молчит, мне приходится еще крепче сжать его плечо.

— Отвечай, тебя спрашивают.

— Я. . .

Мне кажется, сейчас последует длинная назидательная лекция, изобилующая всякими там «разве так можно?», «куда это годится?», но, к моему удивлению, Димов снова надевает очки и погружается в чтение.

Разбиты два стекла — внутреннее и наружное, так что работа предстоит большая, и возиться, конечно, придется главным образом мне. Я мог бы справиться и один, но в воспитательных целях самую нудную операцию — выскабливание старой замазки — поручаю пацану. Тем временем Лиза, недовольная моими жесткими приемами, пытается объяснить мальчишке, как некрасиво он поступает по отношению к старому больному человеку и что теперь о нем будет говорить общественность, а ведь ему жить с этими людьми, и каково ему будет, если они станут говорить, что это не мальчик, а настоящий бандит, и прочее в таком же духе.

Наконец мальчишка уходит, я собираюсь в редакцию, но в это время слышится слабый голос Димова:

— Странное дело. . .

— Что тут странного? Обыкновенное озорство, — пренебрежительно отвечаю я.

— Но почему он это сделал? — наивно спрашивает старик.

— Из подлости.

— Из подлости? Вы о ком говорите?

— Об этом пацане, о ком же еще?

— Значит, мы говорим каждый о своем, — констатирует Рыцарь упавшим голосом. — Я имею в виду Несторова.

— При чем тут Несторов? — удивленно спрашивает Лиза.

— Да, оказывается, вовсе не он вел следствие. И приказа на мой арест он не отдавал.

— Этого вы не можете знать, — скептически бросаю я.

— Я — не могу. Но другим это известно.

— Иначе и быть не может! — подтверждает Лиза, покончив с уборкой. — Товарищ Несторов неплохой человек, и вы напрасно. . .

Поглощенный своими рассуждениями, Димов ее не слышит.

— Факты не вызывают сомнения, — бормочет он.

— Какие же? — спрашиваю я, стараясь вывести его из шокового состояния.

— А такие, — отвечает Димов, — что Несторова все это время вообще не было в Болгарии.

— Наверняка не было! — вторит ему Лиза. — Товарищ Несторов неплохой человек.

Не знаю, плохой человек товарищ Несторов или нет, но в том, что на следующий день напротив нашего дома снова появился плохой человек, сомневаться не приходится. Молодой белобрысый мужчина, руки — в карманах черной куртки.

Я смотрю из окна коридора, обращенного на улицу, и, пока соображаю, надо ли предупредить Лизу, вдруг вижу ее — она вышагивает по противоположному тротуару в своем новом бежевом плаще, приобретенном, вероятно, на деньги, заработанные у Миланова.

Лиза не замечает Лазаря или делает вид, что не замечает, — во всяком случае, она пытается миновать его. Однако парень грубо хватает ее за руку. Вырвав руку, Лиза — нечто совершенно неожиданное! — изо всей силы дает ему затрещину.

В самом деле неожиданное. И для Лазаря, вероятно, тоже: от удара голова его резко дернулась, он пошатнулся и был готов броситься на Лизу, но ее воинственный вид (или случайный прохожий, или вдруг пришедшая мысль) заставляет его овладеть собой.

Лазарь что-то говорит, Лиза отрицательно качает

головой. Новая реплика — новый отказ. Белобрысый продолжает, и на сей раз движения Лизы да, вероятно, и слова уже не столь категоричны. Затем действующие лица расходятся в разные стороны.

— Тони, мне очень неловко, но я должна положить конец этой истории, и без вашей помощи мне не обойтись, — говорит Лиза полчаса спустя, поднявшись в комнату.

— Какой истории?

— Да с этими оболтусами. . .

— Но я ведь понятия не имею, что это за история.

— Я расскажу, если у вас хватит терпения выслушать, но сейчас мне надо к Димову.

— Идите.

— У меня очень, очень большая просьба. . . Мне придется встретиться с тем типом — раз и навсегда выяснить с ним отношения. Он будет ждать вечером в «Славии». А я боюсь идти одна.

— Возьмите Илиева.

— Да что вы! Разве не видите, что он за человек! Он там в обморок упадет, как услышит эту историю.

— В «Славию», говорите?. . Место весьма сомнительное.

— Ну, в «Софию» я бы и без вас пошла.

— А почему вы позволяете им диктовать, где и когда встречаться?

— Я должна покончить с этой историей несмотря ни на что. Надоело.

— Хорошо, хорошо, не кричите. Я пошел в редакцию, вернусь часа через два.

Вот мы и в ресторане. Когда-то, помнится, это было вполне приличное заведение, но с годами порядки изменились. Ансамбль при помощи системы усилителей делает все от него зависящее, чтобы отпугнуть чувствительную публику. Однако чувствительных сейчас что-то не видно — вокруг люди явно иного склада: чем громче музыка, тем лучше они чувствуют себя в этой тесноте, в толпе танцующих, мечущихся словно ошалелые. Вот это жизнь.

После короткого спора с метрдотелем, который норовит усадить нас к другой какой-то компании, мне

удается отвоевать отдельный столик — увы, в опасной близости к оркестру и громыхающим устройствам. Затем происходит еще одна короткая беседа, на сей раз с официантом, который приносит внушительное меню с множеством всяческих названий, а так как названиями сыт не будешь, я прошу его принести, что есть.

Ужин проходит в полном молчании и почти при полном отсутствии аппетита. Молчание объясняется неистовым грохотом, а отсутствие аппетита — местной кухней. Окинув зал беглым взглядом, я устанавливаю, что в нем нет ни одной знакомой физиономии, если не считать моего бывшего однокашника, с которым мы на расстоянии обменялись кивками. Не имею представления, чем этот человек занимается, но у меня вдруг возникает подозрение, что он из милиции.

— Хотите потанцевать? — спрашиваю я Лизу — пусть не думает, что я совсем уж невнимательный кавалер.

— Только этого мне не хватает, — отвечает она, протягивая руку к сигаретам.

— Вас не будоражат ритмы? Ваши биотоки не реагируют на рок?

— Тони, охота вам смеяться?

Странная женщина. Помолчав, она говорит:

— Стоит только выйти — ведь не удержишься, начнешь кривляться и сразу привлечешь к себе всеобщее внимание. . .

Сразу видно — Миланов вышколил.

В это время из-за толпы танцующих появляется Лазарь. Он любезно кивает направо и налево и садится на минуту, но тут же поднимается и уходит под тем предлогом, что ему надо позвонить.

Звонил он или не звонил, мы так и не узнали — он не возвращается.

— И не вернется, — говорю я полчаса спустя. — Какой смысл торчать тут до полуночи?

— Да, не вернется, — подтверждает Лиза. — Но, наверное, придет Мони.

И она снова говорит, что с этой историей давно пора кончать. При этом Лиза старается перекричать оркестр и беспокойно оглядывается по сторонам, что меня раздражает больше всего.

— Ваше дело сидеть за столом как можно более спокойно, — напоминаю я. — С наблюдением я как-нибудь сам справлюсь.

— Но, Тони, вы же не знаете их в лицо!

— Значит, есть и другие?

Вместо ответа перед нами возникает высокий красавец в лиловом костюме в полоску, с галстуком светло-красного цвета. Типичная физиономия: здоров как бык и почти столь же умен. Фамильярный, изрядно подвыпивший, он приглашает мою даму на танец. «В другой раз не будешь стрелять глазами», — шпыняю я ее про себя.

— Я ем! — резко бросает Лиза, хотя уже отодвинула свою тарелку.

Здоровяк смотрит нерешительно, а потом ретируется, видимо, решив, что несколько поторопился со своим приглашением.

— У меня такое впечатление, что он вас знает, — говорю я.

— Может быть.

— И вы его знаете.

— Кажется, он тоже приятель Лазаря.

— Значит, они все-таки здесь.

— Я же сказала, они наверняка здесь, их только ваше присутствие смущает.

— Может, мне уйти?

— Еще чего!

Мы пьем кофе, когда красавец снова повисает над нашим столиком.

— Не мешайте, я пью кофе, — говорит Лиза.

— Потом допьешь, а? — предлагает здоровяк. — Нам с тобой самое время размяться.

— В другой раз.

— Что значит в другой раз? — упорствует он. — Нечего корчить из себя баронессу. Мне надо кое-что тебе сказать.

— Место для разговоров здесь, — вмешиваюсь наконец я. — Или садись, или проваливай.

Красавец пренебрежительно бормочет, словно только сейчас меня заметил:

— А это кто такой?

Он хватает Лизу за руку, тянет к себе, однако под-

нять ее ему не удается. Вот тут-то он и получает резкий удар дамской туфли. Удар приходится по ноге, по самому чувствительному месту — по косточке, — парень сгибается, а Лиза вторично его бьет, на сей раз по физиономии — от такой как бы небрежной, но хлесткой оплеухи немудрено и звезды увидеть.

Красавец хватается за щеку, один глаз у него мгновенно наливается слезой.

— А ну-ка сгинь, — командует Лиза. — Если не хочешь, чтобы все видели, как тебя баба отделает.

Пока что никто ничего не заметил. И наш удалец, которого подобная популярность, как видно, не прельщает, бросив на ходу какую-то угрозу, убирается восвояси.

— Что он сказал?

— Говорит, тебе только «жиллет» вправит мозги. — И, поскольку я не могу сообразить, что имеется в виду, Лиза поясняет: — Лезвие, понимаете? Вот так: чирк-чирк по лицу!. .

— Чудесная перспектива, — признаю я.

— Да он трус, — невозмутимо говорит Лиза.

Однако я сомневаюсь: мне он не показался трусом. Здесь, в ресторане, разумеется, безопасно, а вот за его стенами, на улице, всего можно ждать. Я ищу взглядом своего бывшего однокашника, который, похоже, из милиции, но его уже нет.

— Теперь и Мони не придет, — говорит Лиза.

— Вы поразительно догадливы, — киваю я. — Неужели не ясно, что им нужно поговорить без свидетелей?

— Мне в голову не пришло, — признается она. — Мне казался более вероятным первый вариант.

Я не пытаюсь выяснить, какой первый и какой — второй. Сейчас не время рассуждать. Расплатившись, мы одеваемся и выходим на улицу.

— До трамвая ближе всего, — говорю я. — И освещение довольно сносное. Так что — вперед!

Улица и в самом деле хорошо освещена. И совершенно безлюдна. Мы пересекаем ее и идем вдоль тротуара к остановке. Здесь несколько темней и все так же пусто. Так что я почти не удивляюсь, когда перед нами вдруг вырастают трое — они перекрывают нам путь и замирают в угрожающих позах.

— А «жиллет», пожалуй, не пустое обещание, — шепчу я.

— Прирежут меня? — спрашивает Лиза спокойно.

— Стоило бы, — тихо бросаю я. — Справитесь хоть с одним?

— С двумя, — бодро заявляет она. — Я из них фарш сделаю. Вы держите того, верзилу.

— Не горячитесь, — советую я.

Лиза застыла в героической позе Орлеанской девы, слегка расставив ноги, зажав в кулаке пилку для ногтей.

— Первому, кто подойдет, я проткну горло! — объявляет она, вся охваченная жаждой боя.

— А как насчет второго? — спрашивает красавец и, показав что-то блестящее, делает шаг вперед.

Остальные тоже приближаются к нам на шаг. Потом еще на шаг. Словом, дистанция сокращается.

Мое внимание сосредоточено главным образом на красавце в лиловом костюме. С учетом его роста. И с учетом «жиллета». Садануть бы его в самое уязвимое место, не то — мир праху твоему, дорогой товарищ!.. Ключ от входной двери — мое единственное оружие. Когда приходится защищаться обыкновенным ключом, а в качестве союзника выступает женщина, перспектива самая что ни на есть безрадостная, так что я решаю воспользоваться единственным своим реальным преимуществом — нанести удар первым. Я стою неподвижно, словно парализованный страхом, но вдруг стремительно бросаюсь вперед, на того, что посередине, головой целясь ему в живот, но все мои помыслы устремлены вправо, и в тот момент, когда средний охвачен братской заботой о том, чтобы раскроить мне череп, я уклоняюсь от его удара и вонзаю кулак в пах красавца.

Вероятно, я не промахнулся — красавец, скорчившись клубком, уже лежит посреди тротуара. Вероятно — потому что для более детальных наблюдений нет времени, и, если я все же их веду, они носят скорее астрономический характер, ибо в глазах у меня внезапно вспыхивает множество ослепительных звезд.

— Да, крепко тебе врезали, — слышу я чей-то го-

лос — глухой и невнятный, будто говорят в платок.

Я открываю глаза. Звезд не видно. А во мраке надо мной склонились двое — Лиза и мой университетский знакомый.

— Ничего, — бормочу я, хватаясь за темя и с трудом подавляя желание заорать благим матом.

«А эти где?» — собираюсь я спросить и замечаю, что их уже грузят в джип.

— Можешь идти? — спрашивает мой знакомый, помогая мне встать. — Идем, надо протокол составить. — Затем он оборачивается к Лизе и сухо добавляет: — Вы тоже.

Ну что ж, протокол, так протокол, однако бумага ничего не меняет.

Показания довольно противоречивы, и те трое хором твердят, будто я первый на них напал, они лишь оборонялись (что с формальной точки зрения, может быть, и верно, но далеко от истины). Хорошо хоть у моего знакомого достаточно данных обо мне — впрочем, и о троице тоже, так что история на этом и заканчивается.

Мы возвращаемся домой, время уже позднее, голова у меня раскалывается, да и Лиза не в блестящем состоянии — военный совет надо, конечно, отложить. Но прежде чем уйти в чулан, Лиза говорит:

— Вот уж не ожидала, что вы такой! . .

— Какой? — спрашиваю я.

— Вы ведь всегда были сдержанным, даже инертным.

— Слюнтяем, хотите сказать? Что ж, спасибо на добром слове.

— Да вовсе не слюнтяем, но даже в гороскопе вашем сказано: инертный. А вы бросились на них первым!

— Это бывает — от страха, — отвечаю я. — И еще «жиллет» в руках того красавца. . .

На следующее утро вопреки транквилизаторам, а может, и благодаря им моя голова находится в еще более плачевном состоянии. Я выхожу на улицу поды-

шать свежим воздухом, но ноги сами несут меня к учреждению, где служит мой бывший однокашник. После бессонной ночи он тоже не в лучшей форме.

— Надо было еще в ресторане меня предупредить, раз такое дело, — замечает он, выслушивая мои объяснения. — Теперь вот пеняй на себя.

— Я тебя искал, но ты вдруг куда-то исчез.

— Никуда я не исчезал, я в холле сидел. Это ведь моя работа.

— В первую очередь надо, по-моему, Лазаря поприжать.

— Лазарь ничего не знает. И мы пока не будем его трогать.

— Мони тоже ничего не знает?

— Мони как сквозь землю провалился.

— Такого да не найти!. .

— Всему свое время. Всякому овощу свой срок, верно? — И, видя, что я не разделяю его оптимизма, мой знакомый добавляет: — Давай-ка договоримся, Павлов: я не буду заниматься журналистикой, а ты оставь в покое хулиганов. Одним словом, не отбивай у меня хлеб.

— Но эта женщина все время живет под страхом. . .

— «Эта женщина» — совсем не та, за которую ты ее принимаешь, — холодно отчеканивает мой бывший однокашник. — Ты не ребенок, я не собираюсь тебя учить, но послушай дружеского совета: будь с нею осторожен.

— Что вы имеете против нее?

— Против нее — ничего, но предупредить тебя — мой долг.

— Ах, даже долг? Тогда говори все до конца.

— Мы не информационное агентство. Но по старой дружбе хочу предостеречь тебя: эта женщина — далеко не ангел. Неразборчива в смысле мужиков, был привод по поводу продажи краденых вещей, устроили ее на работу — бросила. . . Она лгала нам, вероятно, лжет и тебе.

Такие-то дела, говорю я себе, возвращаясь домой. Этого следовало ожидать. Разве стала бы она забиваться в чулан, если б у нее не было на то причин. Она готова

прозябать в любой дыре (впрочем, как и ты), ей все равно, где жить (впрочем, как и тебе), лишь бы спастись. От чего? Ей — от тюрьмы. А тебе? Вы оба дошли до ручки, хоть и по разным причинам.

Разница в том, что ты ни от кого не ждешь помощи. А она повисла у тебя на шее — и спасай ее. Именно ты спасай, не Илиев, поскольку Илиеву ничего не следует знать. Уж перед ним-то она корчит из себя ангела. То, что вела безрассудную жизнь, — ее личное дело. Но с какой стати она втравливает в свои авантюры меня? Тошно становится от всех ее историй. У каждого в жизни случались истории, но эта особа — просто ходячая энциклопедия историй, одна злополучнее другой.

С ее появлением у меня начались неприятности. Как говорится, женщина одна, а бед хоть отбавляй. Удары, предназначенные ей, сыплются на мою голову. Ее жилищная проблема превратилась в мою. Она находит отца, а я должен его приручать. Ее затравили молодые изверги, а мне выпала честь померяться с ними силой. Словом, идет плохая карта, а я отдуваюсь, потому что карта, предназначавшаяся ей, безошибочно достается мне.

Неприятности. Не драмы, конечно, не удары судьбы, просто досадные огорчения вроде такого, например: идешь по полю, а в твои ботинки то и дело попадают камушки и трут, и трут ноги. Обычные житейские невзгоды, с которыми сталкивается каждый вступающий в жизнь. . . Вступающий? Только этого мне не хватает — из-за какой-то Лизы начинать жизнь сначала! Нет, по мне, уж лучше Беба — к ней идешь, как в прославленный ресторан, заранее зная, что там тебя ждет не райское блаженство, конечно, но уж бифштекс ты получишь вполне добротный. А главное, ничем не рискуешь, никаких тебе историй — во всяком случае, никаких историй, кроме тех, которые тебе давно известны.

Время уже обеденное, а мгла на улицах все еще не рассеялась. Синеватая осенняя мгла, в которой все вокруг кажется каким-то размытым, неопределенным.

Ладно, пусть будет так, лишь бы не раздирали горло едкие промышленные дымы. А видеть вещи не такими, каковы они на самом деле, не так уж и плохо. Хуже, когда мгла рассеивается и вдруг становится ясно, что все обстоит совсем не так, как тебе представлялось.

Ага, тебя раздражает порядок, думаю я, входя в телефонную будку. Но ведь порядок иногда действует успокаивающе. . . Набираю номер Бебы, жду, и вскоре в полном соответствии с требованиями порядка она отвечает: обед — как раз то самое время, когда Беба выходит на связь с внешним миром.

— Очень мило, что вспомнил меня наконец, — холодно говорит она.

Женская холодность — ну что за прелесть!

— Какие у тебя планы на вечер?

— После восьми свободна. Зайди за мной к Венетке.

У Бебы, как всегда, свой нерушимый порядок: постельным делам должен предшествовать ресторан. Поскольку в этот вечер она на машине, выбор падает на «Парк-отель». И поскольку у нас сегодня сплошное везенье, нам предлагают столик в зимнем саду. Но повезло не только нам, в зимнем саду устроились и другие счастливчики. И среди них — Владо с Лизой. Вот еще одно достоинство этой женщины — меня она тащит туда, где возможна драка, а инженеру своему предлагает светские развлечения. У каждого своя роль.

Лиза сразу нас заметила, но из чувства приличия старается это скрыть. Однако любопытство все же берет верх над чувством приличия, и она время от времени украдкой поглядывает в нашу сторону — конечно же, ее внимание привлекает прежде всего Беба. Будь я на месте Илиева, я бы не преминул сделать ей замечание, но он ничего не видит, он сейчас, верно, на седьмом небе оттого, что помирился с Лизой и может провести с ней вечер в великолепной обстановке.

— А почему кое-кто пялит на нас глаза? — спрашивает вдруг Беба. — Можно подумать, это одна из твоих бывших.

Ничто не ускользнет от ее взгляда.

— Думаешь, у меня был целый гарем? — уклончиво отвечаю я и тут же вспоминаю свой сон.

В спальне, похожей на больничную палату, дюжина кроватей, на кроватях — какие-то нахальные женщины, которых я почти и не помню, и среди них Лиза, у которой вообще нет ни малейшего основания быть среди них. . . Жалкое зрелище. Поневоле задумаешься о вчерашних мальчишках, меняющих женщин одну за другой: ведь если такому привидится сон вроде моего, ему целой ночи не хватит на обход своего гарема.

— Ты слишком ленив, Тони, чтобы иметь целый гарем, — слышу я голос Бебы. — И слишком избалован. Ты любишь, когда тебя похищают. Сперва тебя похитила Бистра, потом — я, должно быть, и та, домашняя, тоже тебя похитила. . .

— Тогда я не стал бы искать тебя, глупая ты женщина.

— Кто знает? — скептическим тоном отвечает Беба. И после короткой паузы добавляет: — Только смотри, не награди меня чем-нибудь.

Я возвращаюсь домой лишь следующим вечером. Вполне можно было бы вернуться в обед, но я нарочно тяну время у Бебы, пока не приходит пора идти в редакцию. Меня не тянет в комнату, где заглядывает в окно ореховое дерево. И дело, конечно, не в комнате, а в предстоящем разговоре. Потому что я знаю — без разговора не обойтись.

Услышав, что я вернулся, Лиза вышла из чулана и остановилась у двери, словно наказанная. Ее темная фигура — черный пуловер, черная юбка и черные разлохмаченные волосы, в которых светятся зеленые серьги, — четко обрисовывается на фоне светлой стены. Темная фигура и белое лицо с отсутствующим выражением.

— Я вас жду со вчерашнего вечера.

— Зачем?

— Не знаю. И все-таки жду. — Это звучит не как упрек, только как информация. Потом Лиза замечает безо всякой связи: — Девушка у вас красивая. Я имею в виду лицо. А в остальном она немного нестандартна. . . как и я.

«Уж прямо — как и ты!» — хочется мне возразить. Вместо этого я бормочу:

— Не будем об этом.

— Ладно. Раз вам неприятно. . .

— И не торчите у двери, садитесь. Если хотите что-то рассказать — рассказывайте. Если нет — выкурим по сигарете и спать.

— Это зависит только от вас, Тони, — спокойно, даже равнодушно произносит Лиза, делая два шага к своему обычному месту. — Я готова рассказать вам все, что представляло бы для вас интерес.

— Почему же вы раньше лгали?

— Не лгала. Кое-что умолчала — это верно. Но я ведь не была обязана исповедоваться, правда? Вы не поп, и выкладывать всю подноготную. . .

— Одно умолчали, другое приукрасили, третье присочинили.

— Я это делала без злого умысла. А вы всегда говорите только правду?

Напряженность первых минут прошла.

Лиза расслабляется, закидывает ногу на ногу и уже глядит на меня так, будто не она должна рассказывать, а я.

— Я никого не впутываю в свои истории, — холодно уточняю я. — А вы меня впутываете. И раз уж не можете иначе, мне следовало хотя бы знать что к чему, верно?

— Вы правы, — безучастно кивает она.

Эта ее манера начинает действовать на нервы.

— Только мне бы не хотелось быть правым, как ваш Миланов, понимаете? — бросаю я с ноткой раздражения в голосе.

— Не понимаю.

— Я хочу сказать, я не желаю, чтобы вслух вы говорили, что я прав, а в душе ругали меня за эту мою правоту.

— Теперь поняла.

— В таком случае поймите и другое: меня совершенно не интересуют ваши любовные похождения, как вы себе вообразили. Больше того, я бы даже сказал, что меня ничто не интересует, если бы не боялся

вас обидеть, у меня нет никакого желания портить вам настроение, я не Илиев, и вам нет нужды рисоваться передо мной. Но нельзя без конца меня дурачить и в то же время рассчитывать на мою помощь. Оказывать помощь можно лишь тогда, когда располагаешь хотя бы минимумом информации. И это единственное, чего я от вас хочу: дайте мне минимум информации относительно этих ваших хулиганов. Поверьте, ни на что другое я не претендую.

— Вот как? — замечает Лиза, недовольно наморщив нос. — Могу ли я получить обещанную сигарету?

Оставив на столике сигареты и зажигалку, я сажусь на кровать, привалившись к стенке, всем своим видом показывая, что мой ход сделан. Как пойдет она?

Она закуривает, глубоко затягивается раз, другой, стряхивает пепел, хотя в этом пока нет надобности — пепла еще не много.

— Я буду рассказывать все, Тони. Спасибо, что вы не настаиваете, чтобы я рассказала все как на духу. На деле вам этого хочется, и не потому, что вас это так уж интересует. Вам сейчас важно услышать, что лгунья раскаивается. Но вдруг я не лгунья? В конце концов, бывают вещи, которых человек стыдится — и не потому, что они настолько страшны, люди ведь стыдятся и пустяков, но раз уж я решилась рассказывать, я расскажу все, хотя почти уверена, что, выслушав меня, вы подумаете: так ли оно было на самом деле, и непременно заподозрите, будто я опять что-то скрываю, опять замалчиваю. . .

Она снова стряхивает сигарету в пепельницу, но забывает сделать очередную затяжку.

— Не стану утверждать, что в моей жизни все шло как по маслу, одно утешение — не я одна способна пойти на сделку с совестью. Впервые это произошло, когда я поступала в театральный институт. Одна моя подруга, Лили, сказала: конкурс пройти почти невозможно, а вот некий Васко запросто в этом тебе поможет. Так что она познакомила меня с этим Васко, и в тот же вечер он повел меня в какой-то вшивый кабак, чтобы выработать план действий, но вырабатывать, конечно, ничего не пришлось, вместо этого мы хлестали

вино — правда, в основном он, но и я хватила для храбрости. Потом Васко спрашивал, куда мы пойдем, ко мне или к нему, а я: зачем обязательно к кому-то идти. Услышав такое, он сказал: чего выпендриваешься? Может, вообразила, что я буду устраивать тебя в институт за твои прекрасные глаза? Учти, ни глазами, ни слезами меня не прошибешь, я предпочитаю быстрые сделки: пьешь, платишь — чао, бамбина. Я, конечно, здорово была ошарашена, я ему сказала, чтобы нашел кого-то по себе во вшивом этом кабаке, тебе, говорю, это заведение в самый раз: пьешь, платишь — чао, бамбина. И улизнула. А на другой день Лили мне говорит: я нашла нужного человека, а ты ведешь себя как последняя дура. Ты чего, говорит, воображаешь? Да он таких, как ты, лопатой гребет! Пускай себе гребет, говорю, чего он ко мне-то пристал? Да разве он к тебе пристал, это же я его попросила. Нашла кого просить, говорю, да он же дурак, каких свет не видел. Тебе еще не с такими придется иметь дело, говорит Лили, и нечего к нему так уж придираться — можно подумать, тебе с ним расписываться. Не нравится его морда — не смотри. Закрой глаза — и порядок.

Лиза гасит в пепельнице сигарету и продолжает:

— И я закрыла глаза. А он потом говорит: почему не сказала, что ты первый раз? Знал бы — я бы с тобой и не связывался. Все-таки он пообещал помочь, врал даже, что кое-кому звонил; мне было ясно, что никому он не звонил, во всяком случае, ничего из этого не вышло. Потом, чтобы отделаться, он послал меня к Миланову — дескать, надо все подготовить и такие дела не делаются с бухты-барахты, а Миланов поможет — очень важная птица.

— Про Миланова уже знаю, — спешу я ей напомнить, опасаясь, что ее сказки до утра не переслушаешь.

— Да, я вам рассказывала. А потом та змеюка меня вытурила, и я связалась с Чавдаром — он тоже работал в институте и, когда встречал меня в коридоре, начинал разводить всякую бодягу, только я, следуя инструкции Миланова, держалась неприступно. Сначала, когда эта змея меня вытурила, когда Миланов распрощался со мной, Чавдар оказался единственным

человеком, готовым мне помочь, я даже какое-то время жила у него на чердаке — сам он жил у родителей, но у него была мастерская. На чердаке там собирались такие же психи, как он сам, без конца рассуждали об ораториях да о контрапунктах и заводили пластинки. Ну и вот, какое-то время я там жила — пока мне не осточертела их болтовня, а потом Чавдару удалось пристроить меня в магазин пластинок и я подыскала себе квартиру, мы с моей напарницей Надей сняли комнату на двоих — об этой девчонке я вроде бы уже рассказывала вам, она как раз попалась тогда со своими, так что нас устраивала комната на двоих, и с тех пор Чавдара я уже больше не видела.

Лиза замолкает, задумываясь, как бы соображая, не упустила ли что-нибудь важное, заслуживающее внимания, — рассеянно перебирает пальцами звенья цепочки. Затем поднимает глаза, чтобы проверить, слушаю я ее или только делаю вид. Да, слушаю. Знакомый сюжет: ты мне — я тебе, или услуга за услугу. Странная вещь, но в эпоху технического прогресса мужчины вырождаются. Категория самца — демона-искусителя, покоряющего женщин внешностью или интеллектом, — заметно скудеет, уступая место чиновнику-соблазнителю, сморчку, который раньше до конца дней своих довольствовался бы убогими прелестями собственной жены, а нынче, получив какую-то власть, со спокойной совестью паскудит везде, где только представится случай, следуя принципу: ты мне — я тебе.

— Какое проклятие — быть женщиной, верно? — роняю я.

Лиза окидывает меня испытующим взглядом — очевидно, боится насмешки, — потом доверчиво говорит:

— Да, я то же самое сказала Васко, когда мы вышли из кабака. Должно быть, я тогда была еще слишком наивной, но прямо так и сказала, а он давай ржать. Какое же, говорит, проклятие? Как захотела, так и повернула. Ведь нашему брату, мужику, чтобы чего-то добиться, приходится тратить деньги, время, связи искать, работать когтями и зубами. А баба промышляет себе тем, что не шибко изнашивается и вечно ос-

тается при ней. В общем, такую ахинею понес, такой бред, что я, дура наивная, решила его осадить: а тебе не кажется, говорю, что эта твоя мораль из прошлого? А Васко нагло смеется мне в глаза и говорит: слушай, девочка, как раз в этом деле никакой разницы между прошлым и настоящим нет, насколько я смыслю в медицине. . .

— С ним все ясно, — киваю я, чтобы она не повторялась, не топталась на месте.

— Когда пошла работать, я немного оклемалась и даже стала готовиться к вступительным экзаменам в университет. Я ему докажу, этому Миланову, думала я, что и без петухов наступает рассвет. Но ничего доказать не сумела — не добрала каких-то двух жалких баллов, однако эту пилюлю я проглотила легче, потому что изучать славянскую филологию я не особенно стремилась — это ведь не то что читать романы. Раз уж не быть мне артисткой, не все ли равно — учительницей работать или стоять за прилавком и продавать пластинки. С Надькой мы ладили неплохо. Она тоже оказалась на мели — не поступила в консерваторию. Так что она таскала меня на концерты, я ее — в театры, и первое время мне жилось спокойно — дрессировка Миланова давала себя знать, — а бедная Надька была некрасивая, хилая — словом, нашу квартиру не осаждали толпы поклонников. Но в один прекрасный день в магазин является моя мать. Вы себе представляете — моя мать и Бах! Как потом выяснилось, пришла она не ради Баха, она у меня из тех, из верующих, и кто-то надоумил ее пойти поискать пластинку с церковными песнопениями — мол, дома проигрыватель пылится без дела. Ну, является она. Смотрит вокруг, будто чувствует себя не в своей тарелке, и вдруг видит меня. . . Какие были объятия, какие слезы, какие всхлипы — я не знала, куда глаза девать от стыда. Но делать нечего — пришлось возвращаться домой. И снова нервотрепка, скандалы, правда, только по вечерам, поскольку днем я была на работе. Проработала я полгода как один день, настало время уходить: женщина, которую я замещала, вернулась. Мною были довольны и потому не выгнали на улицу, а переве-

ли в книжный магазин — тоже кого-то замещать. Туда черти принесли Лазаря. . .

Лиза берет сигарету, но не закуривает, а долго вертит ее в пальцах, рассматривая со всех сторон, словно эта сигарета чем-то ее озадачила — то ли формой, то ли длиною, то ли цветом.

— Про Лазаря вы уже слышали, — продолжает она. — После того как я снесла в комиссионку транзистор, меня вызвали в милицию, и все стало складываться далеко не так гладко, как представляли себе Лазарь и его «неизвестный солдат». Хорошо, что дело касалось только транзистора. Откуда он у вас? — спрашивает человек, который мною занялся в милиции. Мой он, говорю. Как это ваш — вы что, с ним на свет родились? Я ему подсовываю версию насчет валютного магазина, а он: дело в том, что этот транзистор ворованный! Как это, говорю, ворованный? А об этом уже вы расскажете. Пришли домой с обыском, мать чуть в обморок не упала, но, конечно, ничего у нас не нашли. Заставили меня написать показания, после чего отпустили. Мне хотелось прямиком отправиться из милиции к Лазарю, но, смекнув, что могут следить, я пошла домой. На другой день он сам пришел ко мне в книжный магазин. Я ему рассказала в двух словах, что со мной было, а он: жалко, я, говорит, как раз собрался толкнуть им один «Грюндиг». . . Поздно вечером приперся ко мне домой — чтобы узнать подробности — и, когда я все ему рассказала, вдруг скис. Сидит как в воду опущенный, а когда я вижу его таким, он кажется мне совсем мальчишкой — да он и вообще желторотый. . . Я говорю: нечего тебе раздумывать, не то опять придумаешь какой-нибудь вздор, ты мне лучше скажи, где ты украл эти вещи. Ты за кого меня принимаешь? — спрашивает. За кого же тебя принимать, если ты сплавляешь краденое? Не мое это, кричит, мне Мони дает! А Мони где берет? Откуда я знаю, говорит, — в машинах или в квартирах, какое это имеет значение. . . Ну вот что, говорю, немедленно прекрати всякие махинации с этим твоим Мони, покуда тебя не накрыли. А он: я бы давно прекратил, да не могу — я ему должен уйму денег, и не

только ему, я весь в долгах, а свобода, Лиза, штука дорогая, не по карману она такой бедной фирме, как моя. Потом он начал фантазировать, как всегда: и как было бы здорово, если бы он от них откупился (теперь он говорил не только о Мони, но о них), и как бы он подыскал в Лозенце холостяцкую квартиру на каком-нибудь чердачке, а потом, поднатужившись, сдал бы экзамены, а отец купил бы ему в награду машину, и как здорово мы бы зажили вместе — словом, понес чепуху, от которой так размякает сердце. И поскольку оно размякло, я и говорю: есть у меня на книжке почти триста левов, я поищу перепечатку, буду по вечерам сидеть за машинкой, после работы, а он хохочет: ты вообразила, что речь идет о каких-то пяти-шести сотнях? Уж не о миллионах ли? — спрашиваю. Может, не о миллионах, но, во всяком случае, о четырехзначных числах, и не с единицей в начале, а с тройкой. Четырехзначное число с тройкой — да мне и не снились такие деньги, так что я вся сникла, сижу молчу. Он тоже помолчал, потом спрашивает: а у матери твоей нет какой-нибудь драгоценности, ведь она из «бывших», должно же у нее сохраниться хоть что-то.

Лиза наконец закуривает сигарету, которую крутила в пальцах, но тут же снова забывает о ней.

— Конечно, до тех пор мне это и в голову не приходило. Верно, говорю, есть, но неужели ты думаешь, будто мать нам его подарит? С какой стати она должна дарить, ты ведь не маленькая, говорит он, сама можешь взять. Хочешь сказать — украсть? Зачем красть — просто взять, ты умеешь красиво говорить, тебе ничего не стоит человека и в петлю заманить — так попроси у нее взаймы. Надо им что-то дать в залог, чтобы они оставили меня в покое, а потом мы его выкупим. На какие шиши ты его выкупишь? Это проще простого, говорит он, но сперва надо посмотреть, подойдет ли для этого дела твоя семейная драгоценность. . . У матери было несколько колец, некоторые она носила, но самый дорогой перстень никогда не надевала — завернутый в шелковую бумагу, он хранился в большой коробке, под стопкой писем и фотографий. По словам матери, перстень стоил целое состояние, об этом она

от своего отца слышала; береги его, сказал он ей однажды, это целое состояние, хотя, по-моему, ничего особенного, перстень как перстень, только с потрясающе красивым изумрудом. Я рассказала Лазарю об этом перстне, дала ему понять, что наверняка он стоит больше трех тысчонок, а он мне: ладно, давай неси, будет видно. Да ты в своем уме, спрашиваю, он хранится в комнате матери, а если бы даже и в кухне, в жестянке с черным перцем, все равно я не притронусь к нему, пока не скажешь, как ты собираешься его выкупить. Это проще простого, говорит он. Ты же слышала, что старик обещал мне денег на «москвич», если сдам экзамены. В таком случае сдавай экзамены — и дело с концом. Но на это уйдет три месяца, а они держат меня в руках, я должен плясать под их дудку, сбывать краденое барахло, не сегодня-завтра меня могут накрыть. . Что ж, думаю, в эти три месяца мать едва ли обнаружит пропажу: перстень тот она вообще не надевает — разве станешь носить на руке целое состояние? А почему бы тебе не сообщить про этого Мони в милицию? — спросила я без особой надежды. Я, говорит, не предатель. И потом, влипнет Мони — значит, и я влипну, или ты думаешь, за такие операции премию дают? А где гарантия, спрашиваю я, что по возвращении денег они вернут перстень? Об этом, говорит, не беспокойся, все будет сделано по всем правилам, ты давай неси кольцо, сперва надо поглядеть, стоит ли оно таких долгих разговоров. На другой день я принесла перстень и показала Лазарю, а он, верно, уже навел справки, как ценятся изумруды, потому что у него глаза на лоб полезли. Эта штуковина, говорит, пожалуй, нас устроит, но тут не обойтись без специалиста, чтобы все было чин чинарем. Мы, говорит, свяжем тебя с одним человеком, отнеси ему это колечко, тебе надо убедиться, что оно попадет в надежные руки и что мы сможем взять его обратно.

Бросив взгляд на зря сгоревшую сигарету, зажатую ее белыми тонкими пальцами (белыми, тонкими, но несколько неухоженными из-за домашней работы), Лиза бросает окурок в пепельницу и устремляет свои темные глаза на меня, снова как бы проверяя, слежу

ли я за ее рассказом. Как не следить. Из всех ее историй эта особенно меня трогает.

— Встреча произошла на другой день, в Докторском саду, когда этот сад бывает немноголюдным. Я сидела на скамейке одна, подошел и сел рядом человек, которого я узнала по описанию — пожилой мужчина с седыми усиками, какие были в моде в прежние времена, с коричневым плащом на руке. Славный нынче денек, говорит он (хотя собирался дождь). Это был пароль, и я ответила: да, хороший денек. А он: ну-ка, показывайте, что вы там принесли, только осторожно — незаметно придвиньте вашу руку к моей, и я придвинула, он осмотрел перстень, прикрывая его полой плаща, и, видно, нашел, что перстень неплох, потому что сказал: пожалуй, я смогу быть вам полезным. А у нас была такая договоренность — если он скажет, что сможет быть полезным, я оставляю у него перстень. Так что я уехала, и какое-то время дела шли неплохо, а потом Лазарь снова начал якшаться с ними и опять разболтался, экзамены якобы отложил на осень и, что самое главное, ни разу даже не заикнулся о перстне, а я с ужасом ждала, когда мать обнаружит пропажу. Одурачил он меня, этот мальчишка, но теперь и я решила его одурачить и однажды говорю ему: мы дали маху с тем перстнем, мать через неделю уезжает на воды и теперь-то наверняка обнаружит пропажу, и все полетит к чертям, лучше бы мы взяли ожерелье. Какое ожерелье? — спрашивает Лазарь. Тоже изумрудное, отвечаю, это из одного гарнитура. Двенадцать камней, точно таких, как в перстне, но что толку, если оно заперто. . . Так отопри, говорит он, велика важность. Раз невелика важность, иди отпирай сам, и нечего прикидываться идиотом — неужто не соображаешь, что прежде чем можно будет отпереть, мать должна уехать на воды, а перед тем как уехать, она обычно прячет все драгоценности и наверняка обнаружит, что перстня нет, так что вначале она меня выгонит из дому, а потом сама уедет. Ты права, говорит, дело нешуточное, надо все как следует обмозговать. И, должно быть, в тот же вечер он «обмозговал», конечно с их помощью, потому что, когда мы встретились

на другой день в кафе-кондитерской, что возле «Головных уборов», он приволок с собой Мони и, едва мы уселись, говорит: погляди-ка, что Мони тебе принес, пожалуй, сгодится для подмены. Мони принес какой-то перстень, честно говоря, дерьмовый, мой отличался от него как небо от земли, и лишь по форме они были похожи, так что, когда я завернула его в бумажку, на душе у меня стало немного спокойней — может, мать не хватится? Я, конечно, рассчитывала, что мне вернут настоящий перстень, в этом был смысл моей задумки, однако Лазарь сказал: нет — откуда взять столько денег, чтобы выкупить залог, и вообще это сейчас не играет роли, так как ожерелье открывает новые возможности, ты только поскорей волоки его, Лиза, вот когда мы заживем.

— Так что вы и ожерелье «увели»?

— Может, я и решилась бы на эту глупость. . . если бы смогла.

— Ваша матушка почувствовала что-то неладное?

— Нет, ожерелья просто-напросто не существовало.

— Ясно.

— Откуда у матери такие сокровища? Я решила прибегнуть к этой лжи с единственной целью — заставить Лазаря вернуть мне перстень. Но вместо того чтоб получить перстень я увязла пуще прежнего, он ежедневно приставал ко мне, требовал, чтобы я как можно скорее выкрала ожерелье. Он всячески давил на меня, а я откладывала, пускай, мол, сперва мать уедет. А в это время и она на меня обрушилась — обнаружила все-таки пропажу. . . Не знаю, как это произошло, только она тут же сообщила в милицию. Деваться некуда, надо было спасать человека. Я сказала, будто взяла перстень поносить и потеряла. Мать, конечно, в истерику, стала хвататься за сердце и рухнула на диван — ее вечные штучки; я ей принесла стакан воды и валерьянку и как была в летнем платье, так и пошла куда глаза глядят. Вернулась через несколько дней — взять хоть что-нибудь из белья, — но вместо белья мать вручила мне повестку. Ступай теперь, говорит, сама выкручивайся, посмотрим, как-то они поверят твоим россказням. Пришлось идти. Насчет

перстня меня особенно не допрашивали, зато вытащили на свет прежнюю историю и снова принялись за старое: с каких пор и почему не работаешь, что ж, говорю, найдите мне работу, и я пойду работать. И они нашли, только на другом краю света — об этом я вам уже рассказывала, — мне стало невмоготу, бросила, мать снова в обморок, я ей дала валерьянки — и снова в бега.

— Этот номер вы, похоже, частенько выкидывали. . .

— Частенько, — соглашается Лиза.

— Какая же была польза от этих побегов?

— Не думала я о пользе. Почему обязательно должна быть польза?

— Но если поступок не приносит пользы, какой смысл его повторять?

— Кое-какая польза все же была, — бормочет она, небрежно пожимая округлыми своими плечами. — После каждого моего побега мать, бывало, до неузнаваемости размякает. Родненькая. . . Дитятко мое. . . Радость моя. . . Ненадолго, правда, но все-таки размякает.

Сбежать. Простейший и самый верный способ избавиться от всего и от всех. Вероятно, это вошло у нее в привычку с детства, уже после первых домашних конфликтов. Может быть, преследуемого зайца такой примитивный рефлекторный порыв может спасти, но в человеческом обществе, где существуют удостоверения личности и прописка, проку от него немного. Бегство длится до определенного момента — до тех пор, пока тебя не сцапают.

— Это все? — спрашиваю я.

— Почти. Было у меня еще одно увлечение, да неохота сейчас рассказывать. Это совсем другая история.

— Ваши увлечения меня не интересуют. Я о другом.

— Ну так это все.

— Чего же они теперь от вас хотят?

— Теперь они требуют перстень — тот, который мне дал Мони. А на самом деле им ожерелье спать не дает.

— Скажите, что его нет и не было.

— Я говорила — не верят.

— Получается, что ваши выдумки убедительней вашей правды.

— Это вам решать, — произносит она с равнодушным видом.

— Предложите им обмен: они возвращают ваш перстень, а забирают свой.

— Предлагала, да не такие они дураки. У них теперь своя версия: они не имеют никакого отношения к моему перстню. И вообще не знают, кому я его отдала и зачем. Самое скверное то, что так оно и есть, — они с самого начала так все подстроили.

— Может быть, вернем им деньги за перстень Мони — и делу конец?

— И на это они не идут. Это, дескать, семейная реликвия или что-то там еще. . . Я же вам сказала — они тянутся к ожерелью.

— А не боятся они дотянуться до милиции?

— Вот уж нет. Они понимают, что я не пойду жаловаться. Кто прошел через чистилище, жаловаться не станет. А если бы я была из тех, что жалуются, мне бы не пройти чистилища. . .

— И вам безразлично, что они считают вас дурой?

Лиза смотрит на меня, как видно решая, промолчать ли в ответ на мой комплимент. И лишь минуту спустя отвечает устало:

— Знаете, если бы то там, то сям не попадались дураки, Тони, в этом мире некого было бы уважать. . .

Она снова замолкает, а чуть позже говорит с ноткой оптимизма в голосе:

— Ладно. Как-нибудь да выкарабкаюсь.

Нет, в ней все-таки есть что-то симпатичное, в этой гусыне. Не столько в ее глупых историях, сколько в том, как она к ним относится. А относится она к ним именно как гусыня. Выйдет из воды на бережок, отряхнется и говорит как ни в чем не бывало: а теперь пошли дальше.

Ты и сам ничего не любишь принимать близко к сердцу и не имеешь привычки изображать себя мучеником. Что-что, а это уж ты хорошо себе уяснил: никто ничего тебе не должен, потому что никто ничего тебе

не обещал, и если ты не в долгу перед этим миром, то и он ничем тебе не обязан — словом, вы квиты.

И все-таки где-то там, на самом-самом дне, в самых тайных глубинах, шевелится у тебя мыслишка, что ты жертва. Неизвестно отчего и почему, но жертва. Несмотря на то, что все твои драмы, сваленные в одну кучу, вряд ли могут сравниться с тем, что эта гусыня пережила за каких-то пять лет. Однако она вовсе не считает себя жертвой, не сетует на жизнь. Напротив, с невозмутимостью истинной гусыни она в очередной раз вылезает из болота, отряхивается и бодро произносит: а теперь пошли дальше. Может быть, даже не спрашивая себя куда. Скорее всего, к другому болоту.

Ничего не поделаешь, придется мне вмешаться в эту изумрудную аферу. Я, конечно, мог бы сказать: не впутывайте меня в эти ваши истории, я не настроен заниматься глупостями. Но я этого не скажу. Наверное, потому, что я начал просыпаться от спячки. Да и как не проснуться, когда тебя словно дубиной по голове огрели? Проснешься, если ты еще жив.

Единственный след — адрес Лазаря. Но к чему он мне, этот адрес? Да на черта он мне сдался, этот адрес, повторяю я про себя на другой день, обдумывая в одиночестве, как быть дальше.

«Они» (как называет их Лиза) живут словно раковые больные. А твоя жизнь и вовсе не похожа на жизнь живого человека. Каждый по-своему с ума сходит. Какие у тебя основания им мешать?

Трудный вопрос. Ты мешаешь им, желая прийти на помощь ей. Но это не ответ, потому что тут же возникает следующий вопрос: а с какой стати ты должен ей помогать? Где сказано, что ты должен помогать кому-то? В Библии? И если ты получил удар однажды, может ли это служить для тебя основанием лезть под новые удары?

Один вопрос цепляется за другой. Они вяло, как бы по инерции проплывают в сознании, не особенно даже тебя и задевая, так как решение ты уже принял. Принял еще до того как сосредоточился над привычным вопросом. «Какой смысл?» А раз решение принято, вечером прямо из редакции я отправляюсь в Лозенец

разыскивать чердак Лазаря. Адрес приводит меня к двухэтажному дому, ничем не примечательному. Внизу светятся два окна. По старому софийскому обычаю парадная дверь открыта, а на лестнице (по тому же обычаю) — грязь и запустение. На чердаке я попадаю в тесный коридорчик с тремя дверьми. При свете карманной зажигалки мне удается разглядеть на одной из них скромную табличку: «Лазарь Симов, студент». Студент отсутствует. Две другие двери, вероятно, ведут в какие-то кладовки. Снизу слышится пальба: по телевидению передают фильм, как сказал бы со вздохом Илиев, опять про войну. Какая досада. Против тематики телепередач я ничего не имею, но если на лестнице послышатся шаги, то при этом грохоте едва ли я их услышу.

Притаившись в дальнем углу темного коридорчика, я замираю в ожидании. Отец как-то сказал: если ты не наделен железной волей, то по крайней мере упрямства тебе не занимать. Дай бог!

Стоило мне подумать, что ждать, верно, придется долго, как дверь со стороны лестницы распахивается, и на каменный пол коридорчика падает длинный светлый прямоугольник. К счастью, он не достигает моих ног. Затем в нем возникает длинная тонкая тень, тень передвигается по светлому полю прямоугольника, слышится звук отпираемого замка.

— Войдем вместе, — предупреждаю я хозяина, очутившись позади него. — И без лишнего шума. Люди смотрят телевизор.

Лица белобрысого мне не видать, но я подозреваю, что оно сейчас не слишком приветливо.

— Включите свет и закройте дверь.

Он машинально выполняет мой приказ и, как видно, собирается что-то спросить, но я, крепко взяв его за горло, требую:

— Никаких вопросов! Вопросы буду задавать я.

У меня нет ни малейшего намерения его душить — только этого мне не хватало — душить людей! — но скромный мой опыт подсказывает, что, пока на такого паршивца не нагонишь страху, по-человечески разговаривать с ним невозможно. Так что, нагнав на него

страху, я перехожу к допросу. Результат поистине жалкий. Лазарь ничего не знает: ни о нападении возле «Славии», ни того, кто в нем принимал участие.

— Кому вы пошли звонить?

— Мони. Мы договорились: как придет Лиза, я тут же ему позвоню.

— И что же сказал Мони?

— Если она с тем — испаряйся, об остальном я сам позабочусь.

— Куда вы звонили Мони?

— К нему домой.

— Врешь.

После дополнительного воздействия на психику и на горло собеседника мне удается установить, что Мони ждал его на ближайшей улочке, неподалеку от «Славии», и что с недавнего времени он живет в каком-то гараже.

— Не подумай с ним связываться, — предупреждаю я. — И учти: отныне любое своеволие дорого тебе обойдется. Ясно?

Безвольный мальчишка. Его лоб и верхняя губа покрылись капельками пота, глаза смотрят уже не нагло — жалко, низкий хрипловатый голос дрожит. От всего его героического облика ничего не осталось, кроме кожаной куртки.

Гараж всего в двух кварталах отсюда — низкая пристройка во дворе какого-то неказистого домишки. В задней части пристройки светится оконце, занавешенное пергаментной бумагой. Я тихо барабаню пальцами по стеклу, словно бью в бубен — точь-в-точь как советовал Лазарь, — и замираю у входа в гараж. В тот момент, когда дверь начинает приоткрываться, я хватаю хозяина за грудки.

— Прими-ка должок, — бросаю я вместо объяснения.

— Эй, сколько можно? — спрашивает не без основания Мони. — Ты уже расквасил мне нос когда-то!

Дальнейший разговор переносится в комнатенку в глубине гаража — чуть больше клозета, она все же пригодна для короткого делового диалога. По сравнению с Лазарем Мони кажется хилым, но гораздо более хладнокровным и умным.

— У меня достаточно данных о твоей милости. А сейчас, видимо, поступят и дополнительные. Смею заверить, пять лет тебе гарантированы, — заверяю я Мони. — Однако, учитывая, что я не служу в милиции, брать тебя я не буду. При одном условии: раз и навсегда оставьте в покое эту женщину.

— Ну, это проще простого!

— Это зависит не только от тебя.

— Ну, насколько зависит. . .

— Полдела меня не устраивает, — предупреждаю я. — Мне надо потолковать с остальными.

Вначале Мони пытается убедить меня, что слово «остальные» ничего ему не говорит — дескать, никаких «остальных» он не знает, но, когда до его сознания доходит, что подобные увертки не принесут ему ничего, кроме телесных повреждений, он вынужден признать:

— Все зависит от Киро.

— Как его найти, этого Киро?

Мрачное выражение сменяется у Мони каким-то подобием доброжелательной улыбки:

— Слушай, ты вроде бы культурный человек. . . Чего ты суешься под затрещины? Да будь у меня желание с тобой расквитаться, я сам бы толкнул тебя в нежные объятия Киро — пусть бы он снял с тебя мерку! Но ты приятель Жоржа, у нас общие знакомые. . . Послушай доброго совета: сиди-ка ты, милый, и не рыпайся, не накликай беду на свою голову!

— Весьма тронут, — киваю я. — И все-таки давай адрес. И по возможности настоящий.

Мони неохотно сообщает адрес.

— Кто из этих троих Киро? — спрашиваю я на всякий случай.

Доброжелательная ухмылка Мони становится насмешливой:

— Ты же культурный человек, Павлов. . . Неужели не усек, что те трое — статисты?

— А теперь садись и пиши! — требую я.

Он оторопело смотрит мне в лицо:

— Что писать?

— Расписку. О том, что гражданка Елизавета Димова возвратила тебе деньги за перстень.

— На кой она тебе, расписка? Я ей все прощаю.

— Прощаешь. . . Ишь, нашли дурочку. . . Сказано тебе — садись и пиши!

Спрятав в карман клочок бумаги с нацарапанной на нем распиской, я предупреждаю Мони, чтобы он не подумал связаться с Киро, и спешу по указанному адресу.

Лишь в самом начале этой небольшой и темной улочки горит фонарь, а дальше — полнейший мрак. Я двигаюсь медленно, не столько опасаясь засады, сколько боясь сломать ногу. По старой софийской традиции тротуар основательно разбит. Нужный мне номер висит на низком дощатом заборе. На дворе — одноэтажная, барачного типа постройка с двумя темными окнами. Дверь, должно быть, с другой стороны.

Бесшумно открыв деревянную калитку, я иду по неровной булыжной дорожке. Медленно обогнув фасад, пробираюсь вдоль стены. Еще два окна — тоже темные. Дверь действительно с другой стороны. Только ее обнаружить мне не удается. В тот момент, когда я достигаю угла дома, моя голова взрывается. Меня охватывает странное чувство невесомости, и перед взглядом моим открываются вдруг невероятные, необозримые сияния нашей родной галактики.

Глава девятая

Классический ад, насколько я помню его по гравюрам к поэме Данте, не лишен колорита и даже некоторой жизнерадостности. Играют языки пламени, и в их отблесках перед вами словно оживают стройные женщины, полные сил и кипучей страсти. Смотришь и думаешь: да разве это ад? Поистине это пир для наших глаз, полный любопытных деталей.

Настоящий ад — сплошь белый, бактерицидный, стерильный, ограниченный четырьмя стенами, из которых ты, весь забинтованный, можешь созерцать лишь одну-единственную, с широким современным окном, за которым видно только небо, затянутое той самой высокой облачностью, — не небо, а какая-то беспредельная пустота.

Настоящий ад — этот вот ни с чем не сравнимый больничный запах, этот казарменный ритуал осмотров, перевязок, раздачи лекарств, это казарменное сосуществование с несколькими такими же беднягами, как ты, которых не видишь, зато постоянно слышишь, как они стонут на все лады.

От боли, конечно, никуда не денешься, однако вдвойне мучительно то обстоятельство, что терпеть ее приходится именно здесь, в этом стерильном аду, полном гнетущего запаха, в этой неуютной белой пустоте, создающей гнетущее ощущение, что пребываешь в подвешенном состоянии где-то между жизнью и смертью.

Именно в подвешенном состоянии. Это чувство не покидает меня, даже когда удается забыться, и сны мои тяжелы и невнятны, как большинство моих сновидений, но на сей раз это не чаща лесная, а неосвещенная улочка: я иду этой улочкой и проникаю во двор ветхого дома, ищу дверь, но главное — стараюсь обойти место, где уже ждут незваного гостя, ждут, чтобы огреть его дубиной по голове. Похоже, мне все таки удалось миновать то роковое место и даже найти дверь, потому что я уже в комнате; вокруг стола расположились Мони, Лазарь и еще кто-то — у меня нет ни малейшего сомнения, что это Киро. Не пойму, как удалось мне проникнуть сюда и затаиться в темном углу, но я сознаю, что укрытие мое ненадежно, меня вот-вот обнаружат, и я напряженно думаю, где бы мне спрятаться получше, и вдруг мысленно хлопаю себя по лбу — вот голова садовая, как же я раньше не сообразил, ведь надо повиснуть над ними в воздухе, люди обычно глазеют по сторонам и редко когда задирают голову. . . Так что я повисаю над этой компанией, лишь изредка лениво шевеля то одной ногой, то другой, чтобы легче держаться, — так делают пловцы, когда плывут по течению, — напряженно прислушиваюсь к разговору. Но вот беда — говорят очень тихо, невнятно, и меня уже зло берет, что моя шпионская затея идет насмарку, но тут повышает голос Мони:

— Послушай-ка, Павлов! Хватит тебе висеть там под потолком и сучить ногами. Есть к нам дело — спускайся сюда, потолкуем, как нормальные люди.

Он цедит все это, даже не глядя в мою сторону, и я, пристыженный, спускаюсь на пол и подхожу к столу.

— Так, говоришь, — продолжает Мони, — что мы ведем такую жизнь, будто мы раковые больные? А скажи на милость, чем ты лучше нас? Твою-то жизнь вообще не назовешь жизнью. Ты ведь готовый покойник. А еще хорохоришься!

Все это сказано довольно кротким тоном, почти дружески, но я со свойственной мне проницательностью чувствую за этой кротостью какую-то уловку. Я понимаю, что сейчас самый подходящий момент пролить свет на свое поведение, и с места в карьер начинаю говорить до того убедительно, что сам себе удивляюсь:

— Ты прав, как бог, Мони. . . Но лишь отчасти. — Моя невинная шутка вызывает благосклонное оживление в зале. — Ты прав в том смысле, что у меня, в общем, нет оснований хорохориться. И все-таки, надо полагать, ты, как честный человек. . . — новое оживление в зале, — . . . не можешь не согласиться, что жить, уподобившись мертвецу, вроде бы достойней. Мертвец ничего не делает, Мони. Значит, он не делает и мерзостей. Ты, должно быть, не раз замечал: в облике мертвеца — какое-то своеобразное выражение достоинства. . .

Я обвожу взглядом всех троих, как бы проверяя, какое действие оказывает на них моя аргументация, но вместо почтительности на их лицах недоумение, и только теперь до меня доходит, что я начисто потерял голос и самую главную часть моей защитительной речи они вообще не слышали. Я пытаюсь повторить ее, силюсь закричать, но из горла вырывается лишь какое-то глупое бульканье, словно из перекрытого водопроводного крана.

— А ведь этот тип над нами потешается, — враждебно замечает Лазарь. Киро молчит, но я вижу: он что-то прячет за спиной, и, со свойственной мне проницательностью, догадываюсь, что в руке у него какой-то твердый и достаточно тяжелый предмет, а потом Киро делает шаг в мою сторону, и еще шаг, и именно в этот миг, уже зная, как это больно, я отчаянно пытаюсь проснуться.

Я уже не сплю. Мне и в самом деле больно. Не от того удара, которого я ждал во сне, а от прежнего. Мне все так же больно, и я все так же продолжаю висеть где-то между жизнью и смертью.

И дело тут не в том, что я склонен отдать предпочтение тому или другому, но, бог мой, как отвратительно висеть, словно паук, в белой пустоте. Я уже третий день домогаюсь, чтобы меня выписали, а они ни в какую — еще, мол, предстоят дополнительные обследования, чтобы исключить сотрясение мозга, им и невдомек, что опасность сотрясения существует, когда голова цела, в противном же случае никакой опасности быть не может — сместившись, ролики постепенно займут нормальное положение.

Напрасно я пытаюсь втолковать врачу, что, кроме черепной коробки — треснутой или целой, — у человека есть еще и психика и что одно присутствие друга — ореха, заглядывающего в окно моей комнаты, — будет способствовать выздоровлению. Врача не интересуют никакие орехи, он доказывает, что если меня держат в больнице, то вовсе не для того, чтобы со мной в бирюльки играть, но в конце концов, ускорив обследования, он уступает моим домогательствам — видать, осточертело ему препираться с психами.

И вот я снова в нашем мавзолее, как сказала бы Лиза, в этом тихом пансионе для потерпевших кораблекрушение. Голова моя уже почти свободна от бинтов, я лежу, опершись на высокую подушку, ощущаю приятное тепло — впрочем, далеко не избыточное — от электрического рефлектора и разглядываю спинку кровати, увенчанную двумя латунными шарами, и нарисованный на ней экзотический пейзаж. Меня никогда не оставляло смутное ощущение, что этот пейзаж находится именно там, где ему и положено быть, то есть на спинке кровати, но только сейчас я вижу его во всей красе и все более убеждаюсь в том, что это настоящий шедевр кроватной живописи; если судить по стоящим справа трем кипарисам и по широкому морскому заливу с левой стороны на спинке изображен Неаполь, а если судить по торту треугольной формы в глубине, над которым вьется призрачный дымок, создается

впечатление, что на картине запечатлено вулканическое явление, — может быть, Везувий.

Выходит, чтобы ты как следует раскрыл глаза, прозрел, тебя надо было огреть дубиной по голове, ведь лишь после этого до тебя дошло, что кровать, на которой ты спишь, — настоящий шедевр. Ты, верно, по достоинству оценил бы неаполитанский пейзаж, если бы Жорж догадался включить его в стоимость обстановки, но так как он достался тебе даром, ты даже не потрудился обратить на него внимание, — мы привыкли ценить лишь то, что дается нам дорогой ценой.

Порой я прикрываю глаза, просто так, для разнообразия, и тотчас же погружаюсь в дремоту, а проснувшись, устанавливаю, что прошло уже два или три часа; с легким беспокойством я поворачиваю голову к окну, чтобы убедиться, что орех все еще на месте, он не ушел на цыпочках, пока я легкомысленно дремал. Ореха почти не видно (белые полупрозрачные гардины опущены), но силуэт его угадывается — значит, он здесь.

Все остается на своих местах, и это не может не радовать меня, потому что дом — он как скрипка или курительная трубка, словом, нечто такое, что должно основательно послужить тебе и заметно постареть, чтобы обрести душу и характер. И наивные люди, так легко расстающиеся со старыми жилищами, чтобы водвориться в новую квартиру, даже не подозревают, что бетонная коробка — это еще не дом, что настоящий дом имеет свои особые приметы, пусть это даже будут признаки обветшания — и свои особые звуки — будь это даже поскрипывание старого паркета — и свои неповторимые запахи — пусть даже это будет запах плесени или, если угодно, розового масла.

Бледный свет, падающий из окна, исторгает звучный зеленый цвет из стоящей на столике темно-зеленой бутылки с розовой гвоздикой. С некоторых пор у этой бутылки появилось постоянное место, я все время боюсь случайно ее столкнуть; в ней теперь всегда красуется цветок. Присущая Лизе манера украшать интерьер. Она бы, наверное, всю комнату заставила цветами, будь у нее побольше денег, но, слава богу, она

ими не располагает, зато через равные промежутки времени покупает по одному цветку. В ближайшем цветочном магазине о ней, вероятно, говорят: та, что всегда покупает по одному цветку.

Гипсовая голова тоже на месте. Богиня любви. А может, богиня мудрости. Но скорее всего — безучастности. Она, как всегда, демонстрирует Лизе свою легкую холодную усмешку, как бы внушая: не обращай внимания на то, что я усмехаюсь, это не имеет никакого значения.

Удостоверившись, что все на своих местах, я не вижу надобности и дальше держать глаза открытыми. Лиза на цыпочках пересекает комнату. Слышится легкий шорох гардин, и под мои веки проникает зеленый свет, словно я в лесу. Лес поначалу редкий, простреливаемый отблесками солнечного света, потом он становится гуще и глуше, и черно-зеленая листва окутывает смутно проступающие стволы вековых дубов, а тропинки давно заросли травой — вот она, лесная чаща моих сновидений.

— Тони, вы спите? — слышится голос Лизы, но, вероятно, это происходит значительно позже, потому что комната уже залита розовым светом абажура.

— Сплю, — отвечаю я, — но это не основание для того, чтобы выключать рефлектор. Я не страдаю от жары.

— Я его выключила, чтобы вскипятить для вас чай, — поясняет Лиза. — Не смогла найти тройник.

— А, вы плитку включили. — Плитка установлена на краю тумбочки. — Надеюсь, вы не станете жарить здесь биточки?

— Какие биточки? Я ее купила, чтобы чай для вас кипятить. Вам не кажется, что ради чашки чая или кофе нам с вами не обязательно спускаться вниз?

— Верно, — соглашаюсь я. — Но когда вы что-то затеваете, надо хорошенько поразмыслить, чтобы понять ваши истинные намерения. . . Вы случайно не поругались с Илиевым?

— Чего нам ругаться? — равнодушно отвечает Лиза.

Подняв крышку чайника, она опускает в него два пакетика чая, затем снимает чайник с плитки и выдергивает штепсель

— Сейчас станет теплей, — обещает Лиза, включая рефлектор. — Конечно, — рассуждает она, — здесь такие большие окна, все тепло выдувает. . .

— Напрасно вы ругаете наш мавзолей, — упрекаю я ее. И вдруг, неожиданно для себя, перехожу к другой теме:

— Теперь у Илиева в самом деле нет оснований на вас сердиться. После того как он узнал, что ребенок — не ваш.

— Илиев ничего не понял, — отвечает Лиза, притрагиваясь к чайнику.

— И все же почему вы не сказали ему, что ребенок не ваш?

— Хотелось приучить его к мысли, что ребенок мой. И еще потому. . . — Она останавливается на полуслове. — Потому, что, в сущности, этот ребенок — мой.

— Да-а, — говорю я. — Пока разгадаешь ваши истинные намерения. . . Значит, вы обманули не его, а меня? Для чего? Ведь это он женится на вас, а не я.

— Потому что не он задает мне вопросы, а вы.

— Профессиональная привычка, — говорю я. — Задаешь вопросы, тебе на них отвечают — вот и готово интервью. . . Да, так что из того, что я задаю вопросы?

Прежде чем ответить, Лиза слегка покачивает чайник, чтобы чай заварился поскорее.

— Если бы я сказала, что ребенок мой, вы бы тут же поинтересовались, кто его отец.

— Неужто вы не знаете, кто он?

— Послушайте, Тони, может женщина иметь право на тайну? Я была готова рассказать вам все что угодно, только не это. Потому что это нечто совсем иное, непохожее на другие связи, нечто очень сокровенное. . . Я бы почувствовала себя так, будто меня раздели догола.

— У меня не было ни малейшего желания вас раздевать. И мои вопросы — вспомните-ка! — носили главным образом деловой характер. Упаси меня боже вникать в ваши тайны. Особенно в тайну большой любви.

— Я не говорила о большой любви, — возразила Лиза, приподнимая крышку чайника, чтобы проверить, хорошо ли заварен чай.

Затем она достает из шкафчика две чашки, массивные, с голубыми цветочками на боках.

— Значит, вы не можете сказать, что ваш ребенок — плод любви? Жаль.

— Я решила родить его просто так. наперекор собственной бедности.

— Всего лишь?

— Вернее, не просто наперекор, а потому, что этот ребенок имел право родиться на свет. Любой ребенок, если уж он зачат, имеет право родиться на свет.

— Подобные идеи приводят к демографическому взрыву, — печально замечаю я.

— Как вы сказали?

— Перенаселенность! И ее последствия: из-за отсутствия другой пищи люди начнут поедать друг друга.

— Да они и сейчас это делают.

Она приносит чашки одну за другой, поскольку в моем холостяцком хозяйстве нет подноса, и ставит на столик, придвинутый для большего удобства к моей кровати. Затем натюрморт пополняется ложечками, сахарницей и печеньем на блюдце.

Приподнявшись, опершись на подушку, я беру чашку, громоздкую и тяжелую, словно кувшин. Чай, печенье и задушевная беседа — ну совсем как во времена молодости моей тетушки.

— Значит, большая любовь — это особая глава. . . — говорю я. — Успокойтесь, я не буду настаивать, чтобы вы ее рассказали.

— Если бы и захотела, не смогу. Такой главы просто не существует.

Отпив из своего «кувшина», Лиза бросает взгляд на меня и спрашивает:

— Тони, если вам повстречается на улице женщина, при виде которой у вас внезапно екнет сердце, как вы поступите?

— Я не знакомлюсь на улице.

— Но если вы встретите женщину, я хочу сказать — ту, единственную, без которой ваша жизнь окажется бессмысленной, вы пройдете мимо?

— Знаете, разница между «всеми» и «той единственной» не особенно бросается в глаза.

— Почему она должна бросаться в глаза? Ее необходимо ощутить.

— Как?

— Так же, к примеру, как если бы вас ударило током.

— Когда бьет током, люди шарахаются в сторону.

— А вы всегда шарахаетесь в сторону?

— Иногда по глупости не делал этого. О чем впоследствии жалел.

Лиза молчит — кажется, она шокирована, — и какое-то время мы целиком поглощены своими «кувшинами».

— Как старики? — спрашиваю я.

— Димов немного оклемался. Стал выходить в гостиную.

— Все еще злится на Несторова?

— Нет, они поладили. Первое время сидели молча, не обращали внимания друг на друга, но теперь опять переругиваются. Вчера вечером, например, поцапались — была передача о молодежи.

— Ясно: Несторов твердил, что у нынешней молодежи ветер в голове, а Димов доказывал обратное.

— Не совсем так — они оба ее поносили, только с разных сторон.

— Старики всегда считают, что молодежь нынче никудышная. К здоровому организму склероз обычно относится с подозрением.

— Возможно, — соглашается Лиза, и берет сигарету. — Но когда приходит смертный час, вполне естественно поразмыслить над тем, что остается после тебя. И кому ты все оставляешь, в надежные ли руки передаешь. . .

— Вот именно: разве может склероз обойтись без сомнений и подозрений? Как подумаю, что и мне осталось не так много до этого возраста, меня просто в жар бросает.

Лиза закуривает и задумчиво глядит на меня:

— Вам нечего бояться.

— Считаете, мне не грозит склероз?

— Считаю, что вам нечего завещать. . . да и некому. . .

— Верно, — киваю я. — И вы не можете себе представить, как это меня утешает.

Да, она «успокаивает» меня подобными замечаниями, размышляю я, когда Лиза удаляется в свой чулан. А главное, невольно приходишь к мысли, что она права. Но после долгих размышлений я все-таки думаю, что она права лишь наполовину. А если я наполовину бесчувственный, наполовину мизантроп, наполовину беспринципный — много это или мало? И почему наполовину? Мне вдруг начинает казаться, что этого «наполовину» вполне достаточно, чтобы меня презирали.

Следующий день начинается с того, что меня навещает старый знакомый — тот, что служит в милиции. Это уже второй его визит ко мне. Первый, в больнице, был совсем короткий, поскольку тогда я еще плохо соображал, и беседа касалась только имен и адресов.

— Теперь ты мне расскажи все с самого начала и как можно подробнее, — просит он, когда Лиза уходит.

Я рассказываю. Он молчит; молчание его длится и после того, как я умолкаю, будто ему жаль обронить хотя бы словечко. Наконец гость признает:

— Да, немало ты потрудился, чтобы тебя так отдубасили. Если бы они тебе накостыляли там, куда ты забрел сначала, тебе по крайней мере не пришлось бы так много ходить.

— Это все, что ты можешь сказать?

— А что еще?

— Например, поймали ли Киро.

— Никакого Киро не существует.

— Но ведь он живет в том доме, возле которого меня нашли.

— Тебя нашли не возле дома, а посреди улицы. И ни там, где ты сказал, ни поблизости никакой Киро не проживает.

— Так. . . Мони меня одурачил. Но он, должно быть, все-таки что-то знает!. .

— Неизвестно, где он, этот твой Мони. Гараж, как выяснилось, принадлежит его двоюродному брату. — Мой знакомый недовольно косится на меня. — Говорил

же тебе, не вмешивайся не в свое дело. Самодеятельностью ты только осложняешь работу нам. Теперь они все до одного попрятались.

— Куда они денутся, — бросаю я, чтобы его успокоить.

— Если на то пошло, то у них и прятаться нет оснований.

— Но это же отпетые мошенники, бандюги.

— Так ты считаешь. А где факты?

— Вот, пожалуйста, чем не факт? — тихо говорю я, касаясь рукой забинтованной головы.

— Тогда скажи мне, кто это сделал.

— А история с перстнями?

— И здесь то же самое. Если уж докапываться, если уж выводить кое-кого на чистую воду, то неизбежно наталкиваешься на твою приятельницу.

— Обобрали ее как липку!

— Кто? Когда? Каким образом? — Он опять недовольно смотрит на меня и добавляет: — Может, у вас в журналистике и можно чего-то добиться словом. Но в нашем деле нужны улики, вещественные доказательства, свидетельские показания, а их пока что нет.

— Будут они у вас! — говорю я.

Он, как видно, уловил какой-то скрытый смысл в моих словах, потому что, вскинув вверх указательный палец, назидательно изрекает:

— Они у нас будут, если ты перестанешь путаться у нас под ногами. Считай это нашим тебе предупреждением!

Ну и сухарь. Мог бы хоть спросить, как моя голова.

Голова так себе. Во всяком случае, я чувствую, что пока она у меня на плечах. «Очень горько сознавать, что вы пострадали из-за меня», — сказала Лиза, когда пришла навестить меня в больнице. Я ответил, что пострадал вовсе не из-за нее, и это правда. Как бы ты ни присмирел после того как тебя порядком отдубасили, этого хватает ненадолго — ты неизбежно будешь пытаться взять реванш. По крайней мере до тех пор, пока тебе не влетит дополнительно. Что и случилось.

После обеда мне наносят еще один визит. Я думал, это Илиев — так спокойно, четко и деловито мог сту-

чаться только он. Но я ошибся — это пришел Димов.

— Заглянул вот вас повидать. . . Не помешаю?

Напротив, говорю я и предлагаю ему сесть. Он опускается в кресло — любимое место его дочери. Раньше он, заходя ненадолго, разговаривал стоя, но при теперешнем самочувствии, видно, не может позволить себе такую роскошь. За последнее время Димов заметно ссутулился, синий его халат кажется слишком для него просторным, а голос звучит глухо, так глухо, что задорные нотки совсем в нем не слышны.

— Мне стало известно, что вы доблестно защитили Елизавету от банды злоумышленников, — несколько торжественно произносит Рыцарь, словно вручая мне какую-то грамоту. — Искренне вам благодарен.

Я думаю о том, что все-таки новости внешнего мира поступают в наш дом в искаженном виде, особенно когда их приносит Лиза. Что-то бормоча в ответ Димову — вроде того, что все, мол, пустяки, всякое бывает, — я отмечаю вдруг, что старик все больше становится похожим на свой литературный прообраз, особенно того периода, когда Дон Кихот, начитавшись рыцарских романов, все больше начал смахивать на чокнутого. Не хочу сказать, что Димов чокнутый, тем более не хочу сказать, что это вызывает у меня смех. У меня его прообраз никогда не вызывал смеха, и, читая о нем в детстве, я скорее, готов был плакать оттого, что на голову этого героя вечно обрушиваются всяческие беды. Впрочем, о голове лучше не упоминать.

Да, в самом деле, Димов поразительно похож на Дон Кихота, каким мы знаем его по гравюрам Доре; весь его облик стал каким-то призрачным, и лишь в карих глазах еще светится жизнь; мало сказать, «светится», нет — они горят лихорадочным блеском, они словно кричат: ничего, что я стал похож на призрак, я еще жив, жив!. .

— Насколько мне известно, вы тут недавно опять вели войну с догматизмом? — спрашиваю я, чтобы перевести разговор в русло будничной нашей жизни.

— Я всегда веду войну с догматизмом, Павлов. Даже когда заведомо знаю, что мне не победить. — Он пронзительно глядит на меня своими лихорадочными

глазами, протягивает к потолку костлявый указательный палец и драматично произносит: — Вот откуда придет конец догматизму.

— Никак не думал, что вы религиозный человек, — удивляюсь я, следя за движением указательного пальца.

— Я имею в виду не бога, а космос, — поясняет Димов. — Или, если угодно, науку. Новые знания неотвратимо оборачиваются новыми истинами. А при их свете становится еще более очевидной вся несостоятельность допотопных схем.

— А что мешает догматику отбросить и новые истины?

— Нет уж, дудки! — Тонкие губы Рыцаря растягиваются в усмешке. — Без них уже не обойтись. Нигде, ни в какой области производства. И в области создания нового оружия — тоже. Ничего не получится!

— Значит, кроме других неприятностей, наши потомки и догматизма недосчитаются.

— А что тут особенного? — Димов вскидывает угловатые брови.

— Боюсь, это счастливое завтра может оказаться просто-напросто царством скуки.

— Не стоит так уж заботиться о потомках, — советует Рыцарь.

Судя по всему, он не настроен сейчас продолжать спор. Я не верю, что мне удастся его растормошить, но все же пытаюсь:

— Но ведь потомки не должны знать никаких забот? Ведь нынешнее поколение, если помните одно высказывание, призвано страдать и умирать ради грядущего поколения, которое придет только затем, чтобы пользоваться благами, которые ему создали другие?

— Извращаете, дорогой! — снисходительно бормочет Рыцарь. — Никто так вопрос не ставил.

— Почему же? Разве вы забыли крылатое выражение: «Они умерли, чтобы жили мы»? Потом было сделано уточнение, ради чего нам следует жить: нам надлежит построить фундамент коммунизма. Те, что придут нам на смену, займутся стенами и потолком. Третьи будут штукатурить и красить, пока наконец в светлое здание

коммунизма не пожалуют счастливцы, которым останется пользоваться готовеньким — то есть благоденствовать.

— Извращаете, дорогой! — повторяет Димов.

— В свое время попы обещали простодушным райскую жизнь на том свете. Мы и того не обещаем, поскольку мы бережем рай для трутней будущего.

— Чего же вы хотите? Чтобы мы начали лгать, как лгали когда-то попы?

— У меня, к сожалению, пока нет позитивной программы. Но разговоры о счастливом будущем представляются мне аморальными.

— Аморальными? — снова вскидывает брови Рыцарь. — В таком случае с вашей стороны аморально пользоваться электричеством: Ампер, Фарадей, Эдисон и другие ученые не пожалели своих жизней, чтобы дать его человечеству. . . А язык, с помощью которого вы сейчас выражаете свои мысли, а ботинки, что у вас на ногах, а жизнь, которую вы живете или транжирите, — разве всем этим вы не обязаны своим предкам?

— Вы слишком упрощаете.

— Как же не упрощать, если вы беретесь оспаривать такие простые истины? — раздраженно продолжает Димов. — Я упрощаю! Но я не вижу ничего мудреного и в ваших рассуждениях. Вас злит, что приходится маленько постараться ради тех, кто придет после вас, вместо того чтобы жить в свое удовольствие, — вот в чем загвоздка!

— Ну что вы так горячитесь? Сто лет мы все равно не проживем, бесклассового общества мы все равно не увидим.

— Дорогой мой, мне и десяти лет не протянуть, даже и пяти. . .

— Не надо вмешиваться в то, что зависит от господа бога, — замечаю я небрежным тоном.

— Не от бога это зависит, а от нашей медицины. И я прекрасно понимаю, на что я могу надеяться в самом лучшем случае. Если бы меня призвали сейчас в армию, я вряд ли дослужил бы до конца.

— Тем более не понимаю, почему вы так горячитесь.

— Да потому, что не сумел сделать немножко больше для тех, следующих, которые вам так не по душе. Нет, наверное, ничего более утешительного, если ты перед тем как навеки закрыть глаза сможешь сказать: «Я сделал все, что мог».

— Я думаю, у вас все-таки достаточно оснований для подобного утешения, — говорю я, замечая с облегчением, что в дверях появляется Лиза.

— Нет, недостаточно. — Димов качает головой. — Непредвиденные обстоятельства, которые вам отчасти известны, сбили меня, вышибли из живой жизни. Я давно перестал быть активным деятелем, Павлов. Я теперь только наблюдатель и резонер. . .

— А чего бы вы хотели? — пытается успокоить его дочь. — В вашем возрасте заводов не строят.

— Есть вещи, которые можно строить в любом возрасте, — задумчиво отвечает Димов. — К примеру, коммунизм.

— Выпьете чайку? — спрашивает Лиза.

А этой — чай.

И вот настает день, когда я могу сбросить наконец больничную чалму, снова прийти в свою редакционную комнату с двумя письменными столами и позвонить Бебе без особой надежды застать ее, поскольку послеобеденные часы она обычно посвящает покеру. На мое счастье, игра в данный момент происходит у нее дома.

— Где ты пропал? Я уж было подумала, что ты меня бросил, — слышится в трубке любимый холодный голос.

— Бросить? Тебя? Скажи лучше, когда ты свободна?

Оказывается, Беба свободна весь сегодняшний вечер.

— Только я бы хотел застать у тебя Жоржа.

— Послушай-ка. — Ее голос звучит еще более холодно. — Я не любительница группового секса, и наконец, это же свинство — держать меня у телефона, когда три человека меня ждут.

— Это очень важно, пойми.

— Ладно, посмотрю, что можно сделать, приходи после восьми.

В урочный час я иду к Бебе. Она дома одна.

— Зачем тебе понадобился Жорж?

— Да тут одна история с драгоценностями, потом объясню.

— Не впутывай меня ни в какие истории. И сам не впутывайся — искренне тебе советую.

— Не беспокойся. Явится Жорж — можешь уйти на кухню. У тебя ведь не кухня, а мечта!

— Только ужинать на кухне сегодня не придется, — перебивает Беба. — Поведешь меня в ресторан.

Жорж объявляется пятью минутами позже, и Беба, как и было договорено, оставляет нас одних.

— Не догадалась принести чего-нибудь выпить, — недовольно ворчит Жорж. — Тони, ну-ка пошарь в буфете, ты тут свой человек.

В качестве своего человека достаю из буфета и ставлю на стол водку и два фужера.

— Окажи мне небольшую услугу, — прошу я. — Мне не случайно пришло в голову обратиться именно к тебе. Ты ведь у нас спец по драгоценностям. . .

— Привет! — пожимает он плечами. — Когда тебе предлагаешь, ты нос воротишь. А теперь все кончилось.

— Мне не драгоценности нужны, а ювелир, — уточняю я. — Тот пожилой, с седыми усиками. . .

Жорж смотрит на меня настороженно:

— Тони, за кого ты меня принимаешь? Я не доносчик.

— Подожди, — говорю. — Я объясню, в чем дело. Начни я действовать по-другому, я бы обратился в милицию, а не к тебе.

Жорж снова недоверчиво смотрит на меня, затем пропускает глоток водки, медленно закуривает.

— Ладно, — говорит он наконец. — Слушаю.

— Речь идет об одной семейной драгоценности, о каком-то перстне. Дочь, кажется, заложила его, а может, продала, а старики хотят его выкупить. Люди когда-то сами натерпелись от милиции, так что теперь и слышать о ней не желают. Им надо повидаться с этим человеком и все уладить лично. Они готовы заплатить за перстень, в общем-то дерьмовый, гораздо больше, чем он стоит — он им дорог как память.

Жорж, смакуя, отпивает еще глоток. Это его манера —

сидеть вот так и потихоньку, не торопясь потягивать спиртное.

— Это меняет дело, — задумчиво говорит он. — Только не вздумай втянуть меня в какую-нибудь следственную канитель.

— С какой стати? Да этого человека знает пол-Софии, не ты один!

— Пол-Софии его не знает. Но так уж и быть, дам тебе сведения о нем. При одном условии: ты тоже окажешь мне услугу.

— Если смогу.

— Сможешь, сможешь. Я настроился проехаться весной по Средиземноморью в составе туристской группы. Затруднений с паспортом вроде быть не должно. Но если возникнет какая заминка, приду к тебе.

— Договоримся, — согласно киваю я. — Если смогу — сделаю.

— Сможешь, сможешь.

Затем он сообщает фамилию и адрес усатенького ювелира и даже наставляет меня, как ему звонить, чтобы мне открыли.

Я все тщательно записываю, удивляясь сам себе. Мне непонятно, почему я никак не развяжусь с этой шайкой. Может, из упрямства? Или в силу инерции, которая заставляет нас доводить дело до конца? Во всяком случае, не из чувства мести. Это просто безобразие — не иметь понятия, что такое жажда мести. Я совсем как Петко, который с полнейшим спокойствием расправился как-то с хулиганами в парке возле садовой скамейки. . .

— Что это за ювелирная история? — спрашивает меня Беба несколько позже, когда мы сидим за ресторанным столиком.

— Ты ведь все слышала. . .

— Я спрашиваю, потому что ты был слишком краток. Надо полагать, эта дурочка, дочь бедных стариков, — новая крошка твоего гарема.

— Вот что значит техника, — говорю я. — Даже из кухни слышала наш разговор! У тебя там что, специальное устройство?

— Ты свой человек, Тони, от тебя скрывать не ста-

ну. Есть такое устройство. — Беба смотрит на меня заговорщически и вместе с тем лукаво. — Нужда, Тони. Люди теряют всякое понятие о приличии. Даже моим покерным друзьям верить нельзя. Ну, и если во время игры они что-то замышляют, я ненадолго бегу на кухню и слушаю, о чем они шушукаются в мое отсутствие. Хочешь верь, хочешь нет, но это устройство уже дважды меня выручило.

На сей раз мы в «Болгарии», в Красном зале. Здесь умиротворяющая тишина, грохот оркестра из большого зала почти не слышен, он лишь напоминает, что не все такие счастливые, как мы. Какой-то патриархальный дух витает в этом Красном зале, и в то же время все в нем довольно аристократично — чего стоит, например, открывающийся отсюда вид на соседний сад с вековыми деревьями, искусно подсвеченными неоновыми фонарями. Я любуюсь садом сквозь широкую витрину, пока не приходит официант и не зашторивает ее красной бархатной портьерой, словно давая понять: «Гляди в свою тарелку».

— Я не льстец, Беба, но у тебя на кухне гораздо милее. И вкуснее, — говорю я, разрезая безнадежно остывшее филе.

— Только у меня на кухне мне приходится готовить самой, — напоминает Беба, пытаясь справиться со своим куском мяса. И возвращается к теме нашего разговора: — Так ты усек, что он замышляет, этот Жорж?

— Что он замышляет? Человек собрался в туристскую поездку.

— Ты ему поверил или по своему обыкновению прикидываешься дурачком?

— Честно говоря, планы Жоржа меня не особенно занимают.

— Но ведь он друг твоей бывшей жены.

— Я ему очень признателен, но это еще не основание считать его заботы своими.

— Жорж собирается сбежать, — говорит Беба, задержав на мне многозначительный взгляд.

— Скатертью дорога.

— И оставить Бистру с носом.

— Я бы не стал его осуждать. — И, чтобы не казать-

ся совершенно безразличным ко всему, что так волнует мою даму, я спрашиваю: — А ты откуда знаешь?

— Ха! Чтобы я да не знала! — насмешливо восклицает Беба.

В самом деле: чтобы она да не знала!

— Уж не предложил ли он тебе умахнуть вместе? — роняю я как бы невзначай и понимаю, что попал в точку.

— Ну надо же — догадался! — бормочет Беба одобрительно и в то же время разочарованно: я лишил ее удовольствия самой раскрыть мне потрясающую новость. — Вот в чем состоит грандиозный проект нашего Жоржа. И дело не в том, что он жить без меня не может. У меня там есть богатая тетушка. «Давай, Бебочка, укатим к твоей тетушке, случись твоей благодетельнице отдать богу душу — и мы с тобой автоматически вступаем в право наследования. . .»

— Умно.

— Жорж — он такой!

— Но тебя не проведешь. Ты решила уехать одна.

— К твоему сведению, я решила не уезжать. Этими своими подначками ты меня не проймешь.

— Профессиональная привычка, — оправдываюсь я. — Значит, ты не склонна менять место жительства?

— Будь у меня желание поменять место жительства, меня бы давно тут не было.

— Верно, — киваю я. — Кофе будем пить?

— Ты же знаешь, по вечерам я кофе не пью. Закажи мне миндальное пирожное.

Когда пирожное попадает на стол и официант удаляется, я говорю ей:

— Ты меня совсем сбила с толку. Я-то полагал, что ты человек западного образца.

— Я действительно западного образца, поскольку живу на Востоке, — поясняет моя дама. — Имея триста долларов в месяц, я живу тут как принцесса. У меня связи, меня многие знают, завидуют мне. . . А там что такое триста долларов? За них можно трижды переночевать в отеле. А чтоб тебе завидовали? Да на тебя и не посмотрит никто. Уж если быть Бебой, так только здесь.

Несколько позднее, когда мы уже в ее спальне (но какая спальня!), Беба предупреждает меня:

— Не вздумай сказать Бистре то, что я тебе брякнула насчет Жоржа!

— Не говори о Бистре — когда я с тобой, другие женщины для меня не существуют.

— Заткнись! — говорит Беба, снимая платье. — Все вы многоженцы.

— Только не я. Хотя верно, ты у меня не единственная, потому что стоишь двух жен. Постой-ка перед зеркалом.

— С какой стати?

— Как это с какой стати? Хочу — смотрю на тебя спереди, хочу — сзади. Сказал же тебе, что ты стоишь двух жен.

Когда на следующий день я сообщаю данные о ювелире своему знакомому из милиции, он не выражает восторга. Записав что-то в блокнот, мой бывший однокашник бросает с равнодушным видом:

— Известный тип. И достаточно хитрый. Но, как говорит пословица, лукава лисица, да в капкан попадает. Будем надеяться, что так оно и произойдет.

— Лисица — это ваше дело, — отвечаю я. — А для меня главное, чтобы девку оставили в покое.

— Втрескался, а? — по-свойски спрашивает мой знакомый.

— Нисколько. Но она совсем не такая, как ты думаешь.

— А я ничего не думаю. Времени не хватает. . .

Он собирается сказать еще что-то, но звонит телефон. Я встаю и подаю ему пропуск. Он перебрасывает трубку из правой руки в левую, говорит: «Да, слушаю», смотрит на часы, отмечает в пропуске время, ставит подпись и даже не забывает погрозить мне пальцем — смотри, мол, не наломай дров. Уплотнено время у человека, ничего не скажешь.

У меня — тоже. Ведь я обещал матери заглянуть к ней сегодня, а Лизе — купить елку, а Янкову — явиться для тяжелого разговора к Главному.

Желто-зеленый свет зимнего дня похож на бледный ромашковый чай, однако в воздухе пахнет не ромаш-

кой, а каменноугольным шлаком. Шагая по улице, я стараюсь дышать не особенно глубоко и поменьше думать о предстоящем визите. И сокрушаюсь я не потому, конечно, что предстоит отдать матери деньги (я их каждый месяц ей отдаю), а потому, что она грозилась угостить меня обедом. Значит, начнет пичкать каким-нибудь жирным кушаньем, в котором количество лаврового листа намного превышает количество мяса.

Я поднимаюсь по узкой неприбранной лестнице, такой знакомой и уже такой чужой, звоню у двери, на которой еще виден след давно снятой латунной таблички («Рашко Павлов, журналист»), слышу неторопливое шарканье шлепанцев, потом возню с двумя замками и наконец знакомый сонный голос:

— Тони, родной ты мой!. .

Мать, кажется, стала еще ниже ростом, но объем все тот же, и теперь она с трудом носит тяжелое тело — вечный крест своей житейской голгофы. Следуя за ней, я попадаю в старую, тоже вроде бы ужавшуюся гостиную, где в честь моего прихода светится голубоватый, засиженный мухами шар, и сажусь на шаткий стул, уцелевший лишь благодаря тому, что мать на него никогда не садилась.

— Минуточку, Тони, у меня уже почти готово. . .

— Не беспокойся, мама, я не голоден.

Затем следует обмен обычными в подобных случаях репликами, и я заранее стараюсь дать ей понять, что если и съем что-нибудь, то самую малость.

Вещи вокруг тоже как будто уменьшились: когда ты мал, все тебе кажется большим. Кроме того, мать давно перегородила квартиру надвое, чтобы продать половину; ветхую мебель, которую следовало бы выбросить на свалку, поставила в этой убогой гостиной. А вот маленькое свидетельство душевного благородства: прямо передо мной на стене висит репродукция «Острова мертвых». Недурно устроились покойники.

Когда посторонних нет, в гостиной совершенно темно, дневной свет сюда не попадает, и мать все время проводит в спальне — в открытую дверь я вижу ее любимое место: кушетку у окна, на которой она днюет и ночует. Двуспальная супружеская кровать давно от-

несена на чердак, чтобы не напоминала о сладости и горечи прошлого.

Мать с самого утра знала, что я приду, но тем не менее не готова к моему визиту — она всегда была ужасно медлительна в домашних делах, а теперь тем более: помогать ей некому. Только дважды в месяц к ней приходит женщина постирать да помыть окна.

— Может, тебе помочь? — спрашиваю я, когда она наконец выныривает из кухни, окруженная, словно ореолом, густым запахом специй, неся в охапке скатерть и салфетки по случаю семейного обеда.

Мои слова — тоже часть традиционного ритуала, ведь я заранее знаю, что она ответит:

— Сиди, ради бога. Ты ведь гость.

Так что я сижу и терпеливо наблюдаю, как постепенно накрывается стол, и меня ни на минуту не покидает смутное горестное чувство при виде одинокой и несчастной женщины с ее трогательной иллюзией, будто она устраивает сыну маленький праздник. При виде этой теперь почти чужой мне женщины — моей матери.

— Как тетя? — спрашиваю я во время обеда.

— Неплохо. Если бы что-то не так было, она бы уж дала знать. Давненько не заходила.

Эти реплики тоже из вечного репертуара. С некоторых пор — то есть со смерти отца — отношения между сестрами чрезвычайно натянуты. После того как под диктатом тетки и Цецы мать совершила непоправимое, она постепенно пришла к мысли, что из черной зависти они толкнули ее на роковой шаг. Мысль недалека от истины, да что теперь толку. Конечно, мать слишком нерешительна, чтобы совсем порвать с теткой, она просто старается избегать ее. А тетка и не испытывает потребности заходить к сестре. Наша квартира имела для нее какую-то притягательную силу до тех пор, пока она была семейным гнездом, которого сама тетка была лишена. Но когда гнездо разорили, когда дом стал приютом одиночества, тетка утратила к нему всякий интерес — одиночеством она и сама сыта была по горло. Так и живут сестры — близко (их разделяет всего один этаж), но и далеко (они почти не видятся), однако и на полный разрыв идти не решаются, потому что ес-

ли одна, не приведи господь, сляжет, то кто же придет к ней на помощь, если не сестра?. .

Наступает самый тяжелый момент в этом застолье — когда мать говорит мне с укором:

— Да ведь ты ничего не ел!

— Проклятое курево, — виновато бормочу я. — Сегодня малость перестарался, ничего не поделаешь — нет у меня никакого аппетита.

Мать горестно разводит руками, и, чтобы как-то переключить ее внимание, я говорю ей перед уходом:

— Оставил тебе немного денег на этажерке.

— Последние два месяца ты подсовываешь деньги под дверь! — напоминает мать. — Неужто тебе не хочется со мной повидаться?

— Да я тут прохожу так поздно, — оправдываюсь я как всегда. — Не будить же тебя среди ночи.

В редакции Янков уже на стреме. У него спортивный вид, лицо напряжено — совсем как у спринтера перед стартом. Это объясняется тем, что, как он сам меня информирует, в любую минуту может вызвать Главный. Дня не проходит, чтобы Янков не побывал у Главного, и, хотя это стало для него привычным, всякий раз, когда ему предстоит идти к шефу, он цепенеет: поди знай, зачем тебя требует начальство.

Что касается его спортивного вида, то это продиктовано модой. Когда мода на джинсовую небрежность только еще пробивала себе дорогу, Янков с упреком поглядывал на синие раструбы моих брюк, теперь же он озадачен моим строго официальным костюмом и белой сорочкой с галстуком. Бедняга явно сбит с толку этой мешаниной вкусов и безвкусицы, именуемой «модными тенденциями». И заботит его не столько мода, сколько вечный вопрос: а что скажут люди?

На общем фоне моих будней Янков смотрится как некое невыразительное пятно. Он напоминает статистов, которые окружают в фильме главного героя, заполняя пустоту вокруг него, но зритель их вряд ли замечает. Так вот и я почти не замечаю его, хотя каждый день мы вместе и мое служебное положение в значительной мере зависит от него. Похоже, сам того не желая, я следую совету Петко, который доказывал:

надо выработать в себе привычку смотреть сквозь пальцы на людей, которые могут тебе напакостить. А мой непосредственный начальник на такое способен. Не потому, что он желает мне зла — просто под каждый удар, направленный непосредственно на него, он для удобства норовит подставить меня.

Когда мы переступаем порог кабинета, шеф смотрит на нас с холодным недоумением, главным образом на меня. Но и на Янкова тоже, что может означать: а этого ты зачем притащил?

— Мы пришли вместе, потому что Павлов непосредственно занимается этим делом, — торопится объяснить Янков.

— Ладно, садитесь, — кивает Главный, окидывая недовольным взглядом куртку и пуловер моего спутника.

Если бы я так вот вырядился, он, наверное, сказал бы: «Ты не мог приличней одеться?», но Янкову Главный ничего не говорит. Не знаю, чем это объяснить, только шеф определенно недолюбливает меня, хотя я смотрю на него почти как на родственника, ибо габаритами он напоминает мне мою родную матушку, а необыкновенной способностью впадать в притворную истерику — мою тетку. Старая школа, а вот поди ж ты: между ним и Несси нет ничего общего. Рядом с ним Несси показался бы просто-таки удалым молодцем.

— Так что там происходит с трубами? — спрашивает Главный, заняв по отношению к нам фронтальную позицию.

Иные начальники, желая лишний раз подчеркнуть свое превосходство, заставляют посетителя сидеть на неудобном стуле. А вот наш, будучи более гуманным, позволяет тебе потонуть в кожаном кресле, а сам торчит у тебя над головой. Словно памятник какому-то древнему римлянину — грузный, монументальный.

— Несколько месяцев назад мы командировали туда Павлова, — рапортует Янков. — Не знаю, помните ли вы об этом. . .

— Давайте не будем пускаться в воспоминания, — перебивает шеф, как бы защищаясь от удара пухлой ладонью. — Что дала проверка?

И так как Янков отфутболивает вопрос мне, я начинаю докладывать:

— Большинство приведенных в письме фактов подтвердилось.

Затем перечисляю важнейшие из этих фактов.

— А где материал? — спрашивает Главный.

— Какой материал? — прикидываюсь я дурачком.

— Твой, наш — тот, который ознакомит общественность с выявленными безобразиями! — сердито поясняет шеф.

Когда Главный вот так злится, даже когда он взрывается, он не очень опасен. Но разве узнаешь, что на него найдет в следующую секунду?

— Кое-что надо проверить дополнительно, — скромно говорю я.

— Раз надо, то почему бы тебе этим не заняться?

— Я занимаюсь.

— И до каких пор ты собираешься этим заниматься? — Он поворачивается к столу и, схватив короткими толстыми пальцами какую-то бумагу, начинает размахивать ею у меня перед глазами: — Люди шлют новые письма, и на сей раз лично мне: почему про нас забыли, год кончается полным провалом, как можно так относиться к подобным ненормальностям? Что я должен им отвечать? — И, поскольку я молчу, Главный теряет терпение: — Ты, как видно, на работе не надрываешься. . .

— Сказал же: я работаю. Хотя и не вижу особого смысла.

— Не видишь смысла?

— Если так дело пойдет, то может случиться, что опять не окажется виноватых.

— Вот как? И на «Ударнике» тоже?

— И на «Ударнике». Я был там, собрал необходимую документацию. Нельзя сказать, что они ни в чем не виноваты, но если вникнуть в существо вопроса, то ответственность за создавшееся положение ложится не на них.

— То есть как?

— Трубы, о которых идет речь, нестандартны. Чтобы производить стандартные, надо было бы построить

два новых цеха. Их спроектировали и построили без учета длины и диаметра труб, так что цеха есть, а толку от них никакого. И тут уж вина не «Ударника», а проектировщиков. «Ударник» не несет ответственности и за то, что его не обеспечили материалом для производства труб. . .

— Да им поставили свыше пятисот тонн металла! — грубо обрывает меня Главный. — Только тамошние умы по своему произволу, исходя из внутриведомственных соображений, использовали полученный металл не по назначению.

Стоя все в той же монументальной позе, Главный смотрит на меня с чувством собственного превосходства — дескать, мы тоже не лыком шиты.

— Так считает управление, — спокойно замечаю я. — Только эта версия не подтверждена фактами. Металл, о котором шла речь, не пригоден для производства требуемых труб. И чтобы не сидеть сложа руки, люди сделали из него другие трубы, тоже нужные в народном хозяйстве и тоже использующиеся на стройках государственного значения. О каком же произволе может идти речь?

— У тебя есть доказательства?

— Целая папка.

— У нас все документировано, — подает голос Янков, приободренный моими доводами.

— И что же следует из твоей папки? — спрашивает Главный, не обращая внимания на Янкова. — Что виноватых нет? — Пока я колеблюсь, Главный взрывается: — Слушай-ка, Павлов! Какой же ты к черту журналист, если до сих пор не сообразил, что̀ она, в сущности, означает, эта папка, которую ты держишь у себя в столе? Неужели тебе не ясно, что конфликт между управлением и заводом — дело десятое, что вопрос упирается в нечто более важное? Опять мы сталкиваемся с вопиющим примером перекладывания вины на другого, бегства от ответственности, с попыткой спрятаться за вечной формулой «виновных нет» или прикрыться удобным тезисом о разделенной ответственности, из которой опять же следует, что виновных нет. Ясно тебе это?

Приходится признать, что ясно.

— В таком случае когда же ты сообразишь, что у тебя в руках поистине золотой материал? Дав ему ход, газета смогла бы наконец разорвать этот порочный круг, указать конкретных виновников столь крупного провала, со всей остротой поставить вопрос об ответственности!

— Мне не по плечу поднимать такой вопрос, — скромно говорю я. — Раз вы разобрались во всем этом, укажите, кому именно адресовать обвинение. Через два дня материал будет готов.

— Ах, вот оно что! — восклицает шеф. — Я должен диктовать, а ты — записывать! Да у меня для такой цели машинистка есть, Павлов. Зачем ты мне нужен, зачем мне нужен Янков, если мне самому приходится решать ваши проблемы?

Янков недовольно косится в мою сторону, но я молчу, сохраняя независимый вид.

— Ты что, сам не в состоянии определить, кто главный виновник — завод или управление? — спрашивает Главный, обозленный моим молчанием.

— Ни завод, ни управление, — отвечаю я.

— Тогда кто же? Проектировщики или те, кто не обеспечил поставку металла?

— Отчасти и они. Но главным образом другая инстанция. Несколько повыше.

— Доказательства?

— Как раз сейчас я их подбираю. Хотя и не вижу в этом смысла. — Разговор возвращается к тому, с чего начался. И, чтобы шеф не повторял мне свои реплики, я объясняю: — Материал будет, товарищ главный редактор. Но вы не станете его печатать.

— Ну, если тебе все наперед известно. . .

— Так же, как и вам.

— Мне известно другое! — снова повышает голос шеф. — Об этом еще моя бабушка толковала: заставь ленивого работать, так он тебя уму-разуму научит. — Он хмуро смотрит на меня и спрашивает уже другим тоном: — Так в чем же вопрос: тебе действительно лень довести дело до конца или ты нос задираешь?

— С какой стати я стал бы нос задирать?

— Откуда я знаю. Может, ты затаил обиду — на меня, на газету. . .

— Вовсе нет. Если хотите, я вам скажу откровенно, что эта работа меня больше устраивает, чем прежняя.

Не знаю, поверил ли Главный или только сделал вид, что поверил, но кивнул в ответ, и его надутые щеки расслабились.

— В таком случае дело за малым: чтобы твоя работа устраивала и меня. И чтобы ты не думал, будто от нее все равно не будет никакого проку. — Он оборачивается к столу, берет начальнический карандаш красно-синего цвета и что-то черкает на письме из управления. — Возьми! Вот тебе моя резолюция, и пусть никто не думает, что я даю задний ход. — Затем Главный обращается к Янкову: — Уточните, когда будет готов материал, и сдавайте в набор.

Когда мы выходим в коридор, я бросаю взгляд на письмо. В верхнем левом углу размашисто начертано толстым синим карандашом: «Завершить проверку фактов и подготовить критическую статью!»

Синий карандаш — зеленая улица. Зеленей не бывает.

— Тони, ну можем мы допустить такое безобразие — именно в праздник оставить их одних? — спрашивает Лиза.

— Вот и не оставляйте.

— Но было бы хорошо, чтобы и вы посидели с нами хотя бы немножко.

Не знаю, хорошо это, нет ли, но получается, что я должен встречать Новый год одновременно в трех местах: с матерью, с Бебой и с нашим маленьким коллективом потерпевших кораблекрушение. Придется каким-то образом выведать секрет у моего знакомого из милиции, которому удается говорить со мной, слушать, что ему сообщают по телефону, писать и делать многозначительные жесты в одно и то же время.

В конце концов после мучительных переговоров с заинтересованными сторонами я устанавливаю оптимальный вариант программы: ранним вечером придется зайти поздравить мать, затем посидеть в компании

соседей по квартире, а после полуночи перекочевать к Бебе, которая, конечно, будет веселиться в своем окружении. Просто уму непостижимо, чтобы никому не нужный, лишний человек вроде меня понадобился вдруг стольким людям одновременно.

Пиршество у матери протекает не менее вяло, чем обычно, в нем фигурируют обычные в таких случаях блюда и, конечно же, баница, ну а раз на столе баница, то за столом не может не присутствовать и тетушка, потому что только она и умеет печь настоящую баницу, к тому же по старой традиции этот большой праздник сестры встречают вместе.

Я вдыхаю масленый дух баницы и украдкой посматриваю на тетушку, задавая при этом себе вопрос, та ли это истеричная женщина, которая сыграла роковую роль в моем детстве. Она стала совсем маленькой, лицо у нее худое (она всегда поражала своей худобой — полная противоположность матери), и пергаментная кожа перерезана морщинами, будто после каждой ее истерики время оставляло на ней свою отметину. Особенно густо исполосована вертикальными мелкими морщинками ее верхняя губа — они кажутся мне похожими на швы, словно давным-давно кто-то зашил ей рот. . . Чистейшая фантазия. Попробовал бы кто-нибудь зашить ей рот.

Присутствие тетушки довольно тягостно, но имеет и положительную сторону — оно освобождает меня и мою мать от необходимости обмениваться пустыми фразами, потому что бремя разговора целиком взваливает на себя тетушка, и это не просто разговор, а нескончаемая тирада или, если угодно, повесть о том, как люди жили в былые времена и как жилось ей самой в ее молодые годы, когда жизнь все еще чего-то стоила, и о том, как мой дедушка Стефан — то есть ее отец — послал ее для получения высшего образования в Женеву, впрочем, не столько ради образования, сколько ради изучения языка, хотя если иметь в виду язык, то было куда больше смысла послать ее прямо в Сорбонну, но надо сказать, что мой дедушка Стефан более всего на свете дорожил моралью, а что правда, то правда — Париж всегда пользовался сомнительной репу-

тацией, так что мой дедушка Стефан. . . и прочее и прочее, включая сюда и географическое положение и описание Женевского озера, Женевы, ее быта, ну и, конечно, пансиона, в котором ей довелось жить.

Все это я слышал уже десятки раз и примерно в том же ключе, потому что тетушка настолько лишена воображения, что даже чуток приврать не догадается, чтобы получилось хоть немного интересней. Но в чем-то мне все же повезло. Когда тетушке пришло время снова уезжать на год, нежданно-негаданно, вспыхнула война, и тогда дедушка Стефан сказал: «Эта война, дочка, может обернуться по-всякому, так что оставайся-ка ты лучше дома». Мудрая мысль дедушки Стефана спасает меня от необходимости терпеть новую главу о достопримечательностях Женевы, но это вовсе не означает, что тетушка выговорилась до конца, отнюдь, она продолжает жить не менее интересно и здесь, в Софии, но только в той, былой Софии, когда улица Леге славилась своими магазинами и американской кондитерской, однако тут уже примешивается столь же трагическая, сколь и неясная история о том, как она тогда почти что вышла замуж, но брак все же не состоялся. Эта история излагается со всякими недомолвками, рассказывая ее, тетушка то и дело вкрадчиво поглядывает на мать — видимо, дедушкина непоколебимая верность морали передалась и ей, тетушке, поэтому она не может ни с того, ни с сего безо всякого стеснения касаться такой деликатной темы — говорить о том, как она почти что вышла замуж, но брак все же не состоялся.

К счастью, эта последняя часть тетушкиного монолога адресуется главным образом мамочке, и главное его предназначение — утереть нос моей родительнице, дать ей понять, что если уж толковать о любви и браке, то у нее нет особых оснований задирать нос, потому что и тетушка, если на то пошло, вопреки своим моральным устоям кое-что познала в любви, да и в браке, хотя он и не состоялся, и если кто-нибудь попробует бесцеремонно выставлять напоказ свои чувства, ему не мешало бы сперва поразмыслить, чем несостоявшийся брак хуже расторгнутого. Словом, в заключи-

тельной части монолога тетушка в очередной раз бередит старую рану, она не может не припомнить сестрице ее старую вину: пока тетушка прилежно изучала красоты Лемана и многочисленное племя галлицизмов, ее младшая сестра позволила себе коварно обогнать ее и найти себе жениха. Разумеется, позже, много лет спустя, грешница получила по заслугам, потому что, как говорил мой дедушка Стефан, за добро жди добра, а за худо — худа.

Справедливости ради следует отметить, что баница сегодня куда более съедобна, чем матушкины кушанья, и что в кулинарном деле тетка человек не случайный, и только когда она подает на стол зеленый салат, надо смотреть в оба, чтобы не полакомиться каким-нибудь червячком.

После баницы и выпитого вина старушек разморило (ничего не поделаешь, Новый год, не Новый год — они давно отвыкли от долгих бдений) и для меня это самый подходящий момент встать из-за стола, достать принесенные подарки, вечные и неизменные, — кофту для матери и теплую шаль для тетки. Подарки неравноценные но это тоже установившаяся традиция, потому что в конечном счете ни та, ни другая не была мне матерью. После неизбежных восклицаний «Какая красивая!» и «Какая теплая!» наступает и моя очередь принимать подношения: от матери — галстук, а от тетушки — носки, опять же по установившемуся обычаю (носки все же могут найти применение, а что касается галстука, то он доброго слова не стоит — моя мамочка наделена каким-то особым нюхом, он позволяет ей безошибочно находить галстук, в котором ни один нормальный человек не рискнет показаться на людях).

Отчаянный бросок по заледенелым, скованным морозом улицам — и я уже в потомственном замке Жоржа. Лиза как раз начала накрывать праздничный стол с помощью верного пажа — инженера Илиева. Сбросив пальто, я тоже включаюсь в дело, теша себя надеждой, что с большей частью работы управились еще до моего прихода. Складчину обсудили накануне, чтобы никто не чувствовал себя нахлебником и не шел на разорительные траты. Так как в нашем общежитии обжор-

твом никто не страдает, Лиза заботится не столько о количестве еды, сколько о разнообразии — широкий стол пестрит всевозможными угощениями, начиная с колбасы разных сортов и кончая апельсинами и орешками, и получается — глаз не оторвать.

Да, чуть было не забыл про елку, которую я самолично доставил с рынка. Лиза нарядила ее, развесив несколько стеклянных игрушек и щедро разбросав по ветвям клоки ваты. Елку поставили в стороне, чтобы она никому не мешала и в то же время была у всех на виду. Пускай-ка теперь кто-нибудь случайно к нам войдет — ему сразу станет ясно, что у нас не собрание при домоуправлении, а настоящая встреча Нового года.

Да, елка, установленная как раз под моей картиной (той самой, что называется «Плот «Медузы»), кажется совсем не к месту в этой мрачной гостиной. Не к месту здесь наивная прелесть детских игрушек. Возможно, и Несторов пришел к такому заключению: когда хлопоты вокруг стола подходят к концу, я вдруг замечаю, что он замер перед елкой и рассматривает ее с каким-то озадаченным видом.

— Напоминает вам детство? — спрашиваю я его.

— Напоминает новогоднюю ночь в горах. В конце сорок второго стояли лютые морозы. . .

Тем временем Лиза зовет нас к столу. Она садится между отцом и Владо, а мне определено место между двумя стариками — чтобы они случайно не скрестили шпаги. В отличие от Несси, сидящего с расстегнутым воротом, Димов выглядит очень торжественно, хотя мне кажется, ему больше подошли бы панцирь и ржавый шлем, нежели этот синий костюм с галстуком. Старик поразительно стал похож на изможденного Дон Кихота с гравюры Доре.

Ужин протекает оживленно, вполне непринужденно, пока Илиеву не приходит на ум, что ради приличия полагается произнести тост. Должно быть, в нем пробудились воспоминания той поры, когда он был директором и в этом качестве участвовал в разных застольях.

— Не худо бы тост услышать! — восклицает он.

— Можно и без тостов, — бормочет Несси, но так тихо, что слышу его один я.

Но тут вступает Лиза:

— Это вам, Тони, следует произнести тост — вы, журналисты, мастера по этой части.

— Совсем не мастера, — возражаю я, однако машинально встаю и так же машинально гляжу вокруг, при этом мой взгляд естественно цепляется за висящую напротив картину. Меня подмывает сказать: «Я предлагаю выпить за потерпевших кораблекрушение!», однако такой тост представляется мне слишком мрачным для новогоднего вечера, и я произношу нечто более неопределенное:

— Давайте выпьем за тех, кто в море!

— За тех, кто всегда в бою! — слышится умиротворенное рычание Несси.

— Кто сражается за справедливость! — уточняет Рыцарь, чтобы напомнить: сражаются ведь за разные вещи.

— На нашей стороне! — снова рычит Несси, убежденный, что справедливость — понятие неопределенное и смутное.

Словом, поправка следует за поправкой, но тост провозглашен, и мы пьем, после чего продолжаем пировать по-прежнему — без особого оживления, однако вино в конце концов делает свое дело, судя по тому, что расчувствовавшийся Рыцарь шепчет мне на ухо:

— Как подумаю, сколько годков я не садился за стол вот так, с людьми. . .

— Если есть охота посидеть с людьми, то ступай в ресторан, — советует Несси. — Там в одиночестве не останешься.

— Сколько годков. . . — бормочет Димов, не обращая внимания на своего вечного оппонента. — Начнешь считать — собьешься. . .

Ужин закончился. Пора включать телевизор — праздничная программа в полном разгаре, так что до ссоры едва ли дойдет. Старики погружаются в свои кресла, устремляют глаза на голубой экран, продолжая потягивать из бокалов.

— Эти уже порядком надоели людям, — тихо замечает Несси по адресу какого-то эстрадного ансамбля.

Раз уж и он такого мнения, хотя всего-то какихнибудь три месяца смотрит телевизор. . . Но в том и

состоит магическая сила маленького экрана: ворчишь — и все же смотришь и смотришь в это голубоватое оконце.

А на диване царит идиллическая атмосфера: отношения между Лизой и Владо, по-видимому, совершенно безоблачны, и мне здесь больше делать нечего. Итак, мир вам.

Новогодний фейерверк застает меня посреди пустынной морозной улицы — приятное завершение этого вечера. По крайней мере я застрахован от пьяных лобзаний расчувствовавшихся полузнакомых и вовсе незнакомых субъектов. На фоне сумрачного городского неба, висящего над домами, словно дым, распускаются в ярком сиянии огненные цветы. Созерцая эту феерию, я осторожно иду по скользкому тротуару — сейчас немудрено и ногу сломать — и думаю о том, сколько людей с надеждой и упованием встречают этот год, который, может быть, несет им смертельную болезнь — какой-нибудь грипп, какой-нибудь инфаркт. . .

Вопреки ожиданиям атмосфера в доме, где я застаю Бебу, не столько праздничная, сколько деловая. Собравшиеся в гостиной картежники разделились на три четверки, и, если не считать хозяйки, занятой только тем, чтобы подкладывать закуски и добавлять вина в бокалы, я — единственный бездельник в этом трудовом коллективе.

— Иди-ка сядь ко мне, а то мне что-то не везет, — подзывает меня Беба.

Я подчиняюсь, обуреваемый мрачными предчувствиями, что при таком соседстве ей еще больше не повезет, но, как всегда, предчувствия меня обманывают. Бебе идет бешеная карта, потом страсти немного утихают, затем — снова начинается бешеное везенье, и, когда наконец под утро, в шестом часу, мы вытряхиваемся на улицу с тупыми от бессонницы головами и резью в глазах от табачного дыма, моя дама, опьяненная выигрышем и вином, шепчет мне:

— Тони, миленький, ты мой талисман!

— Не валяй дурака, — укрощаю я ее. — Тебе не идет. — И спрашиваю: — А теперь куда?

— Да хоть на край света! — изрекает Беба, беря меня под руку.

— Зачем так далеко? Не лучше ли махнуть к твоей тетушке?

— Идет. С тобой я готова куда угодно.

Эта тема, как и любая другая, хороша тем, что позволяет нам незаметно преодолеть километровое расстояние до уютного жилища Бебы, и мы небезуспешно ее разрабатываем.

И лишь потом, после того как мы улеглись в постель и после того как к утраченному времени прибавились минуты обычных упражнений, я, уже готовый погрузиться в мои лесные чащобы, спрашиваю сонным голосом:

— Но ты ведь не хотела уезжать?

— С тобой — куда угодно, — так же сонно отвечает Беба. — Ты не Жорж.

Я начинаю углубляться в лес — правда, все еще редкий, пронизанный бликами света, когда мой слух улавливает утихающий вдали голос:

— С тобой, Тони, не рискнешь уехать. . . Ты не из тех, кто уезжает. . .

Просыпаюсь я перед обедом. Беба еще спит, и моя первая мысль — повернуться на другой бок и составить ей компанию, но потом что-то мне начинает нашептывать, что было бы не худо воротиться домой, поскольку день сегодня необычный, и, хотя предчувствия меня обычно обманывают, я с трудом поднимаюсь, привожу себя в порядок и иду домой.

Прихожу как раз вовремя — только что явились дети. Я было забыл о них, а вот они о нас не забыли. Ничего удивительного — их головы не перегружены именами близких людей.

Лиза тоже не забыла. Во всяком случае, то ли она, то ли Дед Мороз, но кто-то все же поставил под елочкой бурого медвежонка для Гошо и куклу для Румяны.

— А под елкой, кажись, что-то есть! — говорит вездесущий инженер Илиев, присоединяясь к нам.

Дитя технического прогресса, быстро склонившись, подхватывает кокетливо свернутый пакетик, на котором, естественно, значится: «Лизе» — и в котором,

естественно, флакон духов — не французских, но все же импортных.

Затем наступает время праздничного обеда. Кроме пенсионеров, в нем принимают участие и дети, так что за столом царит поистине патриархальная, теплая атмосфера, и теплота эта как нельзя кстати, если принять во внимание, что нагревательные приборы, установленные руками инженера Илиева и Лизы, еле-еле справляются с ледяным дыханием большой гостиной.

Приятное послеобеденное время омрачает горечь проводов, да это неудивительно — за всякую радость приходится платить горечью, а люди с присущей им глупостью никак не могут уразуметь, что, если не хочешь испытать горечи, старайся подальше держаться от радости.

Углубившись в подобные размышления, я дремлю, сидя на диване в обществе Димова и Несси, поскольку Лиза ушла наверх, а Илиев удалился к себе. Насколько я понимаю в сердечных делах, эта парочка собирается вечером куда-то пойти.

Похоже, я и в самом деле задремал. Открываю глаза — я один в тихой гостиной, старики разошлись, устав от стольких волнений. Мало того, что меня оставили в одиночестве, так вдобавок еще и в зверском холоде.

Поднимаясь по лестнице, смутно припоминаю, что мне предстоит сделать еще одно дело, но при этом я боюсь показаться смешным. . . После холода гостиной моя комната кажется настоящей Ривьерой. Постучавшись в дверь чулана и услышав привычное «Это вы, Тони?», я вхожу и застаю Лизу, кое-как закутанную в банную простыню — вероятно, она только что из ванной.

— Извините, — бормочу я. — Забыл вас поздравить. . .

И протягиваю ей крохотную вещицу, завернутую в бумагу — пардон, мало чем отличающуюся от туалетной. Хотя вызвать у Лизы удивление не так просто, она, кажется, все же удивлена — как моим жестом, так и мизерными размерами подарка. Молча развернув бумагу, она вскрикивает:

— О, Тони! Я не верю своим глазам.

— Это не изумруд, — предупреждаю я ее во избежание недоразумений.

— О, Тони! Я не ожидала такого внимания. . .

Я тоже не ожидал, что она способна так раскиснуть из-за перстенька, который я купил в тот вечер у Жоржа, только бы он отвязался. Темные глаза ее слегка увлажнились (при ее обычном равнодушии это равносильно бурному плачу), и прежде чем я успеваю удалиться полная белая рука обнимает меня за шею и Лиза крепко целует меня в щеку. Мой растерянный взгляд невольно останавливается на ее почти оголенной груди: берегись, говорю я себе, шутки плохи, твоя жизнь поставлена на карту, уставишься глазами куда не надо — и твоя песенка спета.

Вырвавшись кое-как на свободу, я оставляю дверь чулана полуоткрытой. Нет, я не думаю, что моя квартирантка последует за мной и мы окажемся в постели, но тем не менее спешу начать деловой разговор.

— История между управлением и «Ударником» совсем запуталась, — говорю я.

— Почему? — слышится голос Лизы.

Не спрашивает, какая история, какое управление или какой «Ударник», а просто — «почему».

— И, как всегда в последнее время, втравили меня в эту историю опять же вы.

— Почему? — повторяет Лиза. — Я же не выдумала ее, эту историю.

— Верно, но вы меня в нее втравили.

— Помилуйте, Тони, но это же ваша работа! — слышится из чулана. — Не помню, говорила я вам или нет, что начальник управления — муж моей двоюродной сестры. . . И вот однажды за обедом он стал рассказывать о своих неприятностях, а я ему и говорю: мой сосед по квартире в Софии — журналист, он, говорю, занимается подобными делами, и надо, говорю, написать в редакцию письмо. . .

— Черт побери, кофе кончился, — бормочу я, открыв коробку, что стоит рядом с электрической плиткой.

— В тумбочке, на нижней полке, целая пачка, —

подсказывает мне Лиза. — Я бы сама сварила, да не успею, меня Владо ждет.

Достав пачку и отмерив три ложечки кофе, я добавляю щепотку сахарного песку, наливаю кофейник водой и ставлю его на плитку.

— Странно, как я сразу не догадался, что именно вы ее заварили, эту кашу. . .

— Не слышу. Что вы говорите?

— Слышите, слышите.

— Вы напишите разгромную статью! — подбадривает меня Лиза.

— Знаете, что получится? Всю эту переписку сложат в толстую папку и сверху напишут: «В архив».

— Как это — в архив?!

На этот раз голос ее звучит совсем рядом — она стоит на пороге чулана, не совсем голая, но и не совсем одетая. Последнее время у нее появилась привычка сновать мимо меня в довольно-таки распакованном виде — то в ванную, то из ванной. Поначалу я думал, что ей не терпится продемонстрировать свое сходство с героинями Доре (если папочка похож на его героев, почему бы дочке не походить на его героинь?). Но потом, по мере того как близость между Лизой и Владо становилась все более очевидной, я решил, что просто она махнула на меня рукой — меня ведь ничем не проймешь.

Лиза смотрит на меня с удивлением. А я на нее. Она весьма недурна в черной комбинации — красивая грудь, четко обрисованные бедра, стройные ноги в бежевых чулках, — весьма недурна. Вот только взгляд бы ей чуть поприветливей. . .

— Глядите чуть приветливей, — говорю я. — Вы же на свидание идете, не на войну.

— Как это так — в архив?! — возмущенно повторяет она, словно не слыша моего совета.

— Очень просто: берут бумаги, складывают их в папку — и дело с концом! Все попадает в папку, а не на газетную полосу, ясно?

— Но в этом письме все — чистая правда.

— Да, однако «Ударник» возражает. Оказывается, в его позиции — тоже правда.

— Какие у него могут быть возражения?

— Очень веские, представьте себе. План они выполнили и даже перевыполнили. . .

— Знаем мы эти перевыполнения: планируют одно, а делают другое.

— Погодите! К вашему сведению, они делали не булавки, а те же трубы, только другого диаметра.

— Значит, они виноваты!

Приходится объяснять, что не они. И чтобы не быть голословным, я даже привожу некоторые факты. Лишь некоторые — как-никак сегодня Новый год и разговариваю я не с Главным. Но Лиза реагирует не хуже Главного:

— Значит, виновных нет?

— Если и есть, то не «Ударник».

— А кто же? Найдите их.

— Прежде всего вы там скажите своему родственнику, пусть он не затевает грызню с заводом. Пользы от этого никакой.

— А вы что собираетесь делать?

— Буду искать способ как-нибудь выпутаться из этой истории. В которую вы меня втравили.

— Очень сожалею, что я это сделала.

— Не стоит извиняться.

— Я не извиняюсь. Меня зло берет, что все оказалось напрасно, — устало говорит Лиза, поворачиваясь и уходя к себе.

— А почему вы-то злитесь? Если кому-то нужны трубы, он их найдет рано или поздно. . .

Лиза почти скрылась за дверью, но тут же появляется снова. Нет, она весьма недурна. . .

— Да не из-за труб я злюсь — из-за вас!

— А! — догадываюсь я. — Вы меня в это втравили с лечебной целью. Чтобы растормошить. . .

— Как вы смеете прятаться в кусты, когда только вы способны разобраться в этом беспорядке?

— Иногда при виде беспорядка самое умное — уйти в сторонку.

— Тони, как вы можете такое говорить! В чем же тогда смысл жизни? Я думаю — в том, чтобы вам до всего было дело, чтобы вы во всем принимали участие, отстаивали свое. . .

— Не знаю, в чем смысл жизни, — прерываю я ее. — И не потому, что я над этим не думал, но ответ пока что мне не дается. А во всем остальном мы, похоже, не совсем поняли друг друга. Я все сделаю, что от меня зависит, не бойтесь.

— Так в чем же все-таки дело?

— Переливание из пустого в порожнее — больше ничего. Там замешана более высокая инстанция. И как только это всплывет на поверхность, шеф скажет: «Стоп!»

— Тогда направьте материал куда следует.

— Куда? В ту самую более высокую инстанцию?

— Есть ведь и другие, еще более высокие.

— Вы сказали, вас внизу ждет Владо. . .

— Я сказала, есть более высокие инстанции.

Рассуждения эти начинают меня утомлять.

— Поймите, — терпеливо втолковываю я. — Это бюрократы, они без запинки ответят любой инстанции, у них для этого подготовлены горы бумаг, при любых обстоятельствах они выйдут сухими из воды. . .

— И все же где-то есть выход. Не может быть, чтоб его не было. Иначе ведь и свихнуться недолго.

— Выход один: разорвать этот порочный круг, пусть даже ценою скандала.

— Так устройте этот скандал! Что, боитесь стать его первой жертвой?

— Да не боюсь я. Просто мне лень.

Прежде чем уйти, Лиза, обернувшись ко мне, произносит тихим голосом (но почему сказанное тихим голосом звучит иногда так громко?):

— Если вы этого не сделаете, я вас возненавижу.

— Вот и любовное признание, — констатирую я. — Хоть и выраженное в негативной форме. . .

Топот дамских каблучков слышен в коридоре, затем на лестнице. Не легкий озорной топоток, позволяющий вообразить кокетство и грацию убегающей женщины, а чеканная поступь уверенной в себе статной дамы.

Топот кобылы — так, наверное, сказал бы я четырь-

мя месяцами раньше. Но четыре месяца срок немалый, и, сам не знаю почему, последнее время я делаюсь слишком снисходительным к этой женщине. До чего дошло — обсуждаю с нею служебные дела, дарю ей перстни. А она исцеляет мои раны, полученные по ее же вине, и вообще всячески меня спасает.

А должно быть наоборот. Мне надо было сказать ей тоном, не терпящим возражений: перестаньте вы наконец меня спасать. Чем больше вы меня спасаете, тем вернее засасывает меня болото ваших историй. Спасайте Владо.

Но она-то знает, что Владо не нуждается в ее заботах. Он нуждается кое в чем другом — в лучезарной ее улыбке, в пышных ее прелестях, только не в назиданиях. Этот человек — человек на своем месте и занимается общественно полезным трудом. А я. . . Чем я лучше Жоржа, пусть даже и суечусь в интеллектуальной сфере? Какая-то полукоммерческая-полуинкассаторская профессия, с той лишь разницей, что я не занимаюсь перепродажей импортных товаров, а сбываю собственные изделия и получаю за них кое-какие деньжонки, называемые гонорарами. Производим штучный товар и получаем за него, кто сколько даст.

Из глубины комнаты надвигается сумрак. Меня всегда занимал вопрос, почему сумрак идет из глубины комнат, хотя никакого специального источника сумрака там нет. Вероятно, он заводится в углах тем же таинственным образом, как заводились мыши в нестираном белье (по крайней мере, так считалось когда-то).

Не сказал бы, что раньше моя жизнь протекала бесцельно. Напротив, иногда мне хотелось воскликнуть: довольно, хватит, осточертело мне преследовать всякие цели — то я должен обзавестись квартирой, то найти себе работу получше, то раздобыть денег, чтобы жена хотя бы на месяц убралась с моих глаз на Золотые пески. Проза жизни, но куда от нее денешься? И если ты вечно в заботах, вечно в долгах — моральных и материальных, — нечего удивляться, что времени для достижения более возвышенных целей (свя-

занных, к примеру, с судьбами человечества) у тебя не остается вовсе.

Старый дом притих, в комнате у меня сгустился мрак, вот-вот я бессознательно пойду блуждать в лесных чащобах моих сновидений. Скорее бы погрузиться в забытье, но леса все еще не видно, ум продолжает копошиться в реальности, мысленно я даже заглядываю вниз, к Несси, который, укрывшись шинелью, дремлет с утренней газетой в руках, или к Димову, который лежит в постели, закутанный, словно мумия, вытянувшийся, как будто бедняга заранее решил отработать позу, отвечающую грядущему дню — дню печальному и торжественному. . . Но пока еще он жив, и пока еще он сокрушается, как много не сделано и как мало осталось жить, и успеть ничего невозможно, ибо все опутано, словно паутиной, причинами и следствиями, и никто не скажет, где их начало и где конец. . . Затем ни с того ни с сего я снова вспоминаю Лизу, а заодно инженера Илиева; должно быть, они сейчас в каком-нибудь ресторане — сидят себе, воркуют, обсуждают волнующую тему: как мы устроим свою жизнь, когда поженимся. Как-нибудь устроитесь, говорю я, могу даже чулан вам уступить, чтоб было куда Петьо поместить, с Петьо мы как-нибудь найдем общий язык, вот только комнату вам уступить не смогу — не потому, что она мне так уж нужна, но, согласитесь, было бы бесчеловечно покинуть своего старого друга — орех. Нет, орех я вам не отдам.

Вы можете считать меня скрягой или даже сумасшедшим, но орех мне очень дорог. Даже сейчас, когда облетела листва и он стоит совсем голый, он все равно живой, одухотворенный — только поглядите, как он распростер и тянет кверху ветви, словно держа в объятиях весь небосвод. . . Отдать вам орех? Нет уж, дудки!

Затем, в силу каких-то нелогичных ассоциаций, я переношусь мысленно к пожилой, усталой, совершенно чужой мне женщине — моей матушке. Как она постарела после развода! Потеряв друга жизни, она потеряла смысл жизни вообще. А смысл был — ежедневно стряпать еду (ту самую, которую одинаково трудно и готовить, и поглощать). К тому же и я все реже на-

вещаю старуху, предпочитая раз в месяц подсовывать конверт ей под дверь, хотя и понимаю, что меня ждут упреки: «Почему же ты не зашел, я бы накормила тебя обедом». Ей и в голову не приходит, что именно ее обеды отпугивают меня. . . И вот, забыв о своем единственном призвании, сидит она, одинокая, всеми забытая, в неуютной, почерневшей от копоти квартире, в своем привычном углу — на кушетке у окна, словно старая кошка, грузная, пришибленная. Это ее давнишнее занятие — сидеть, пригорюнившись, у окна: тут и на свет божий можно поглядеть, и подремать. Мне начинает казаться, что она все меньше глядит на белый свет и все больше пребывает в дремоте. В дремоте, усталости и апатии, за которыми неминуемо последует вечное забытье.

А двумя этажами выше, вероятно, так же сидит и дремлет моя тетушка. Сейчас, после хлопот с приготовлением баницы и новогоднего вечера, жизнь кажется ей лишенной всякого смысла, и ностальгическая мысль уносит ее в прошлое, когда она вклинилась в семейную жизнь своей сестры, чтобы и самой вкусить этой семейной жизни, которой, по воле жестокой судьбы, была лишена, и чтобы распоряжаться мною как собственным сыном, а по праздникам демонстрировать Рашко свое кулинарное искусство и, пользуясь языком зеленого салата, баклажанов и свеклы — как влюбленные пользуются языком цветов, — убеждать того самого Рашко, что, делая выбор между сестрами, он совершил роковую ошибку.

Моя тетушка. Все же иногда она решала за меня задачи и не только щипала, но и ласкала своей тощей, пропахшей валерьянкой рукой. И оба эти действия — и ласка, и щипки — были проявлением одного чувства — любви, признаться, слегка деформированной, но что только не деформирует эта жизнь, когда швыряет тебя в одиночество, а потом в истерию. . .

Моя тетушка. Она по-своему любила меня и, вероятно, сама таскалась по зимним улицам, чтобы купить мне традиционную пару новогодних носков. Она выбирала их со стыдливо скрываемой любовью, тогда как я в поисках традиционной шали для нее испытывал

только досаду. Говорят, даже растение чахнет, если не окружить его вниманием и заботой, а этой женщине за всю жизнь никто не выказал ни капли любви. Даже я.

Да, лес моих сновидений еще не окутал меня своим мраком, я все еще бреду по опушке — безрадостной, неприютной, пронизанной отсветами и отзвуками дня. И мысль моя произвольно обходит стороной близких и далеких людей, но меня грызет это странное чувство жалости, это идиотское чувство жалости — я нарочно подтруниваю над ним, пытаюсь заглушить в себе голос сострадания, однако заглушить не удается, и, не знаю почему, мне больно за них: за моего отца, которого уже нет, и за его жену, о которой ни слуху ни духу, и даже за Бистру — какое падение! — даже за Бистру.

И, может быть, только теперь, устыдившись собственного падения, я наконец засыпаю.

Глава десятая

— Лизы нет, — тороплюсь я сказать, когда Владо, просунув голову в дверь, заглядывает в комнату.

Лизы и в самом деле нет. Она, как бывало и раньше, исчезла на день-два. Это никого не тревожит: теперь мы знаем, что она поехала проведать ребенка.

— Ясно, — отвечает Владо, входя ко мне. — Потому-то я и пришел.

— Значит, предстоит мужской разговор. И, вероятно, на женскую тему.

Он садится, хотя я его не приглашаю, берет сигарету, хотя я ему не предлагаю, закуривает, обводит глазами комнату.

— У вас уютно. Извините, конечно, но когда я пришел к вам первый раз, здесь было довольно убого.

Неопределенно кивнув, я жду продолжения.

— Не знаю, говорила ли вам Лиза. . . Наши отношения идут к тому — в общем, к женитьбе.

Гость смотрит, какое впечатление произвела на меня эта потрясающая новость, и я снова киваю.

— Но вам ведь понятно, что слово «женитьба» свя-

зано со словом «жилье». . . Вопрос непростой, и прежде чем обсуждать его с Лизой я решил поговорить с вами.

— Почему «непростой»? У вас самая лучшая комната в квартире.

— А ребенок? Молодая супружеская пара в одной комнате с ребенком, довольно уже большим. . . Неудобно, сами понимаете.

Понимаю, конечно, как не понимать. Но я-то тут при чем?

— И вот когда я думал об этом, мне вдруг пришло в голову, что мы с вами могли бы произвести обмен — разумеется, если будет на то ваше согласие. Опять же с Лизой я пока не говорил. Это моя идея.

— Идея неплохая, — признаю я. — Особенно для вас. Что же касается меня, то мне одной комнаты вполне достаточно. Но я люблю уединение. . .

— Внизу оно вам будет обеспечено. Правда, там общая ванная, но должен вас заверить, старики не сидят в ней безвылазно, и при желании можно так все отладить, что они неделями не будут попадаться вам на глаза. А если говорить о комнатах, то согласитесь — моя куда приятнее этого вашего холодильника.

Меня так и подмывает сказать: «В таком случае оставьте ее себе». Словно почувствовав это, Илиев спешит добавить:

— Все дело в этом чуланчике. Сразу снимается вопрос, куда девать ребенка. . .

— Чуланчик? Да, я обещал отдать его Лизе в качестве свадебного подарка.

— Серьезно? Она мне не говорила.

— Ну я вам говорю — какая разница?

— Чудесно, — соглашается Илиев без особого энтузиазма. — Но неужели присутствие ребенка не причинит вам беспокойства? Он будет ходить туда-сюда, Лиза тоже станет наведываться. . .

— Вы что? Ревнуете?

— Глупости, Павлов. Я просто не могу понять, почему вы так держитесь за этот холодильник.

— А орех?

— Орех? — Владо смотрит на меня с искренним удив-

лением. — Да ведь он просто заслоняет свет. Из-за него ваша комната такая мрачная.

— Может, она не светлая, но уж никак не мрачная. А когда дерево зазеленеет, когда листва распустится. . . Представьте, вы входите в роскошный лес. Входите все глубже и глубже. Разве можно зеленый лес назвать мрачным? Я в какой-то мере лесовик, Илиев.

— Вот уж не думал, — отвечает гость. — Я полагал, вы коренной житель Софии.

— Ладно, подумаю, — обещаю я, чтобы поставить точку на этом разговоре. — Моральное преимущество на вашей стороне. Молодая семья, новая ячейка нашего общества. . .

— Не знаю, почему вы иронизируете, — спокойно говорит Илиев. — Дело не только в семье, но и в моей работе. Не хотелось бы хвастать, но придется сказать: я очень продвинулся по работе.

— Похвально, — говорю я. — Только не забывайте, что все работают, все так или иначе продвигаются.

— Не скажите. Кое-кто преуспевает только в трепотне. Щеголяют терминами из области кибернетики. Выглядит это весьма современно, в духе технического прогресса. Заседания, совещания, протоколы. Ксероксы выстреливают горы бумаги. Все запланировано, запрограммировано, гарантировано, а в итоге — этот не выполнил, потому что тот не поставил, а тот не поставил, потому что кто-то не снабдил сырьем, кто-то не снабдил, потому что. . .

— Кибернетика.

— Я не утверждаю, что дело не делается, но делается оно не всегда разумно. Я хочу сказать, не хватает должной организации. Нам нужна не суетня, а жесткая система.

— Я полагаю, лично у вас система железная. Не сомневаюсь, что вы далеко пойдете. . .

— Вы считаете, меня только это заботит? — обиженно бормочет инженер.

— Извините, я неловко выразился. . .

— Я люблю свою работу, Павлов. И говорю об этом вовсе не потому, что напрашиваюсь на интервью. Да и может ли работа не быть увлекательной, если она

организована по выверенной системе? Совсем как в шахматах. . .

— Все-таки несколько сложнее, верно?

— Нет, как в трудной шахматной партии. И чем трудней, тем увлекательней.

— А бывает, что ваша личная система наталкивается на людей, которым система как таковая противна?

— Безусловно.

— А может такое случиться, что кто-нибудь вышвырнет вас вместе с вашей системой?

Илиев снисходительно усмехается:

— Она не только моя. Так что вышвырнуть — дело не простое. Вместо меня может вылететь кто-то другой. Экономика, Павлов, в конечном счете упирается в политику. А с политикой шутки плохи. . . Я ведь говорил: наша сила в главной целесообразности, имя которой — строй.

— Совершенно верно, — киваю я. — Хотя и чересчур абстрактно. Давайте-ка опустимся на землю, и послушайте, какую я загадаю вам загадку.

— В нашем деле загадок нет, — возражает инженер. — Мы решаем задачи, а не разгадываем загадки.

— Ну хорошо, называйте это задачей.

И я коротко излагаю ему историю, над которой сам ломаю голову. Он курит, напряженно слушает, а затем я слушаю его выводы:

— Допущены ошибки во всех звеньях, хотя и не равнозначные. Тут целая пирамида ошибок, Павлов, главных и второстепенных, изначальных и производных. Начнем: некачественное проектирование новых цехов, в проекте—грубые ошибки, совет экспертов относится к этому крайне легкомысленно и одобряет проект, а соответствующая инстанция утверждает его. Таким образом, провал был заранее запрограммирован. Мало того: когда брак обнаруживается, люди ищут компромиссное решение, вместо того чтобы радикально изменить проект. Словом, это не что иное, как проектирование «на колене», или, как вы выразились, «кибернетика». . . За этим следует затяжка строительно-монтажных работ, изъяны в предварительной спецификации, несоблюдение договорных условий. Практи-

ческий контроль на местах подменяется перепиской. . . — Помолчав, Илиев докуривает сигарету и заключает: — В общем, загадка ваша неплохо иллюстрирует тему моей работы: люди не сидели сложа руки, затраты труда огромные, а в итоге — провал. И произошло это из-за некомпетентности должностных лиц, из-за бездумного отношения к делу, не была обеспечена синхронность всех процессов. . . Я прав?

— Полагаю, что да. Я ведь не специалист, — отвечаю я.

И добавляю про себя: «Что же касается ореха — дудки!»

Стоящая у парадной двери высокая женщина немолода, но, как видно, изо всех сил старается молодиться. У нее черные, явно крашеные волосы, на лице толстый слой косметики, она в шубе из ламы и в пестром шерстяном платке. Чем-то она мне знакома, эта женщина, но чем именно, никак не могу понять. Наконец она сама объясняет:

— Я мать Лизы. — И, не дожидаясь моей реакции, добавляет: — Вы ее приятель, верно?

— Мы тут все ее приятели, — уклончиво отвечаю я.

— Но она живет у вас.

— Да, если иметь в виду один и тот же этаж. В действительности она живет при своем отце.

— Ее отец меня не интересует, — заявляет женщина. — Я хочу поговорить с вами.

И эта тоже. Не понимаю, почему все, кто имеет отношение к Лизе, непременно лезут ко мне.

Я провожаю ее в гостиную, надеясь, что суровый климат этого помещения будет способствовать краткости разговора.

— Может, тут не слишком удобно? — спрашивает посетительница, озираясь.

— Напротив, очень удобно.

Окинув скептическим взглядом все четыре двери, женщина все-таки садится в кресло, не подозревая, что это кресло ее бывшего супруга, а я занимаю место Несси.

— Лиза, наверное, говорила вам обо мне. . .

— Говорила, что у нее есть мать, больше ничего.

Гостья и это воспринимает скептически. Как бы для того, чтобы выиграть время, она медленно расстегивает шубу, а потом вдруг говорит с доверительными нотками в голосе:

— Если бы вы только знали, сколько забот мне доставляет этот ребенок!. .

Ребенок? Ну конечно, — раз мать так молода.

Молодая мать снимает платок, аккуратно складывает его и начинает несколько сбивчиво, не скупясь на вводные предложения знакомить меня со своими проблемами, связанными с трудным характером этого, в общем, доброго, но страшно упрямого, странного, непрактичного существа — ее дочери.

Я терпеливо слушаю, но сам бросаю взгляд на часы: надо же мне и в редакцию наконец попасть!

— Очень вам сочувствую, — говорю я. — Мне только непонятно, чего вы хотите от меня.

— Чтобы вы ее вразумили! Объясните ей, что она должна вернуться домой.

— А если она предпочитает жить при отце. . .

— Какой он ей отец? Он и не вспоминал о ней столько времени. А теперь, в старости, когда ему нужна прислуга, сиделка. . .

«Почему бы вам не обсудить эти вопросы с ее женихом?» — не терпится мне сказать, но я вовремя спохватываюсь: этак недолго и выдать Лизу. Заявится мамаша к Илиеву и выложит ему все Лизины тайны. Может, и пустяковые — например, историю с какой-то там семейной драгоценностью или связи с разными там отпетыми типами, — но все же тайны.

— Я поговорю с вашей дочерью.

— Поговорите, серьезно поговорите, — наставляет меня мать. — Вас-то она послушается. Вы как-никак ее приятель. . .

Вечером Лиза возвращается. Как всегда в подобных случаях, настроение у нее подавленное.

— Я плохая мать, Тони, — говорит она, оставляя в чулане пальто и сумочку.

— Да, вы мне кстати напомнили, — бормочу я. — Тут недавно была другая плохая мать — ваша.

И коротко излагаю смысл разговора.

— Да как она посмела! — гневно восклицает Лиза. — Я видеть ее не желаю.

— Мне нанесли еще один визит, — продолжаю я свою информацию. — Заходил ваш жених, предлагал поменяться комнатами.

— Как это — поменяться?

Приходится выкладывать все. Лиза снова взрывается:

— Ну и нахал! Делать подобные предложения без моего согласия!

— Погодите, — говорю. — В его предложении нет ничего такого. . .

— Считайте, Тони, что этого разговора не было. Я сама с ним поговорю.

— Ни в коем случае! — предупреждаю я. — Это был мужской разговор.

— Мужской!. . — ворчит она. — Не будь у меня ребенка. . .

— Ну-ну! — подбадриваю я ее. — Жизнь не так уж плоха. И Владо тоже не так уж плох.

— Я не говорю, что он плох. Вначале все неплохие. Только ничего это не меняет. . .

— Почему же?

— Вы не поймете. . .

— А когда вы поняли, что люди неплохие? Когда тот тип, вместо того чтоб помочь вам поступить в институт, затащил вас к себе в постель? Или несколько позже, когда Миланов вас вышвырнул? Или еще позже, когда Лазарь вас ограбил? Или в тот вечер, когда. . .

— Да это все внешнее, наносное, это всего-навсего защитная оболочка. А доброе начало заложено в каждом из нас.

— Если вы подразумеваете инстинкты. . .

— Инстинкты? При чем тут они? Инстинкты — в брюхе. И ниже. А здесь — другое! — объясняет она, приложив руку к груди.

— Да, но вы упускаете из виду самый верхний этаж, а именно от него все беды, — говорю я, постукивая себя по лбу.

— Да ну? — Лиза качает головой. — Зависит от

того, с чем ваш верхний этаж больше связан — с сердцем или со всем тем, что пониже. Но сердце есть у каждого, Тони, и каждому слышен его голос.

— Вы говорите точь-в-точь как один мой приятель.

— Какой приятель?

— Один мой покойный друг.

Своими наивными рассуждениями она и в самом деле напоминает мне Петко, в частности, один давний разговор с ним, когда, не помню уже по какому поводу, я сказал ему, что не знаю, как мне поступить.

— Человек всегда знает, как ему поступить, — спокойно возразил Петко.

— Какой человек? Ты или я?

— И ты, и я. Разве вот тут ничто тебе не подсказывает: сделай так или не смей так делать?. .

Да-да, внутренний голос. Прислушивайся к своему внутреннему голосу, и все будет в порядке.

— «Все», — слишком сильно сказано, возразил Петко.—Я чаще всего совершаю промах, когда прислушиваюсь к своему внутреннему голосу. Он правдив, но непрактичен.

— Тогда зачем же к нему прислушиваться?

— Прислушивайся, если хочешь. Дело твое. Если уж совершать промах, то хоть небольшой. Мы ведь заботимся о том, какое впечатление производим на окружающих. Но человека не всегда окружают люди, в конце концов он остается наедине с самим собой. И плохи твои дела, если внутренний голос начнет тебя распекать.

Велика важность. Можно заставить его замолчать.

Да. Ты хватаешь его за горло и душишь. Потом снова и снова, пока он не смолкнет навсегда. Вот это и будет настоящее самоубийство.

А если выброситься с шестого этажа, как это называется?

Те, кто совершает настоящее самоубийство, из окон не выбрасываются. Скоты на такое не способны.

Выходит, самоубийцы живут в добром здравии, как ни в чем не бывало. . .

И обычно прекрасно себя чувствуют.

Даже когда остаются наедине с собой?

Да как же они могут быть наедине с собой, когда они себя убили? В лучшем случае они могут быть наедине с собственным желудком. Или еще с кое-какими органами.

Да, вот тебе и внутренний голос.

Интересно, что доводы добросердечных по большей части идут изнутри, они бездоказательны, тогда как мизантроп оперирует очевидными фактами и грубыми примерами. Однако спорить с добросердечными бессмысленно. Так что вместо этого я спрашиваю у Лизы:

— Вы говорили со своим родственником?

— Конечно. Я ему рассказала, с какими трудностями вы столкнулись и как собираетесь довести дело до конца.

Могу себе представить, каких глупостей она там нагородила.

— Вы, Тони, даже не представляете, как люди на вас рассчитывают.

Остается выяснить, на кого же рассчитывать мне. Пока что главным образом на собственные ноги. В последние дни я обошел ведомства, так или иначе связанные с пресловутыми трубами, и заручился всеми возможными справками. Не могу сказать, что меня встречают с распростертыми объятиями, но на мои вопросы все же отвечают. Обращался во все инстанции, за исключением одной, назовем ее Учреждением. Стоит связаться с такой высокой инстанцией, неприятностей не оберешься.

Как говорит Петко: «А ты читал Кафку?»

Кафку я не читал. И при всей своей наивности отправляюсь к секретарю, осуществляющему связь с печатью. Служащий внимательно слушает, что-то помечая в своей записной книжке, и, прощаясь, заверяет меня, что на поставленные вопросы мы получим письменный ответ.

Однако ответ не приходит, по крайней мере в последующий десяток дней. И так как Главный нажимает, я должен снова заглянуть к секретарю, осуществляющему связь с печатью. Только сегодня он

кажется совершенно необщительным, и я решаю обратиться к его начальнику.

Секретарша — довольно милая девушка, но, вероятно, мила она только с начальством. А со мной это маленький айсберг. Отбеленные волосы и неприветливый взгляд. И все же, узнав, что я журналист, айсберг выслушивает, что меня сюда привело, и идет докладывать.

— Он очень сожалеет, но принять вас сейчас не может, — сообщает девушка минуту спустя. — А письмо мы вам пошлем в ближайшие дни.

Наконец письмо приходит. Оно составлено в лучших традициях канцелярского крючкотворства, настолько гладко — не за что зацепиться. Совершенно пустое, оно надежно держится на каркасе соответствующих распоряжений, постановлений, производственных программ, нормативов, коррективов, спецификаций и прочее и прочее. Наболевший вопрос оставлен без ответа. Зато строго соблюдена бюрократическая традиция — не заметно ни малейшего нарушения бумажного ритуала.

И все же вопрос остается открытым, деваться некуда, кому-то я должен его задать. И конечно же, не автору полученного письма — его сочинил вышеупомянутый секретарь. И вот я снова в приемной у его начальника.

— И не надейтесь, что он вас примет, — заявляет айсберг, едва завидев меня. — У него совещание.

— Я могу подождать.

— Сегодня исключается, я вам уже сказала.

— В таком случае спросите, когда он сможет меня принять.

— Сейчас я не смею его беспокоить.

— А когда посмеете?

— Приходите к концу дня.

Иду под вечер и убеждаюсь, что никаких перемен в старинном обряде проволочек не наступило. Все идет как заведено.

— Сегодня он не сможет вас принять.

— А завтра?

— И завтра тоже.

— Но когда-то он все-таки должен меня принять?

— Приходите в приемный день. В пятницу после обеда.

Иду в пятницу после обеда, притом пораньше, чтобы опередить других посетителей. Мой расчет оправдался — в приемной только белобрысый айсберг.

— Вам придется подождать, — холодно уведомляет он меня. — Он еще не пришел.

— Так-то соблюдаются приемные дни? — спрашиваю я, лишь бы не молчать.

— Можете и об этом написать в газете, — вставляет секретарша.

— Прекрасная идея, — киваю я. — Непременно воспользуюсь вашим советом.

— Вы что, шутите? — сверлит она меня неприязненным взглядом. — Он дает обед иностранной делегации. Или вы вообразили, что он только вашим делом занят?

Довод серьезный и хорошо мне запомнился, поскольку я его слышу пять раз подряд — по мере того как с неравными интервалами являются еще пять посетителей. Ничтожное количество, если иметь в виду приемный день. Вероятно, гостеприимство начальника приобрело широкую известность.

Так вот мы и сидим вшестером в теплой компании айсберга, который замыкает собой несчастливое число — семь. В довершение всего айсберг не разрешает курить. Я единственный курю в этой компании, и то лишь мысленно. Когда куришь мысленно, это избавляет от необходимости пользоваться пепельницей и от соблазна мысленно ругаться. Как говорил Петко, если, препираясь с противником, ты начал трепать себе нервы, значит, противник уже взял верх. Лично я немного упростил эту аксиому: зачем злиться самому, если можно позлить другого. Так что я сижу тихо-мирно, мысленно курю и жду, что будет дальше.

За час до конца рабочего дня является Неуловимый. Он немного не такой, каким я себе его представлял, но это только внешнее впечатление. В общем, он не кажется ни деспотичным, ни высокомерным, его, скорее, можно отнести к другому типу — вежливых и

холодно-безучастных. Начальник даже благоволил кивнуть в неопределенном направлении, как бы говоря: вот вам мое приветствие, поделите его между собой, как сочтете нужным. Затем исчез в кабинете в сопровождении секретарши. Айсберг остается там целую вечность, потом возвращается и приглашает одного из шестерки. Не меня.

— Я пришел первым, — кротко напоминаю я секретарше.

— Товарищи записались раньше вас.

— А почему же вы не записали меня тогда, пять дней назад?

— Товарищи записались раньше, — стоит на своем айсберг.

— Ладно, — уступаю я. — Но все же попытайтесь объяснить своему шефу, что на сей раз я буду ждать до конца.

Секретарша не считает нужным отвечать, однако в какой-то момент находит повод прошмыгнуть в кабинет начальства. Впрочем, от этого мое ожидание не становится более коротким. Лишь после того как всех пятерых одного за другим удалось выпроводить, наступает и моя очередь. Для пущей ясности необходимо отметить, что, когда я получаю наконец разрешение войти в святая святых, рабочее время истекло.

Вопреки моим ожиданиям начальник вежлив, принимает меня с холодной учтивостью.

— Чем могу быть полезным?

Я объясняю.

— Мы вам направили письмо. Зачем же мы составляли это письмо, если вы снова обращаетесь к нам по тому же делу?

— Вы, должно быть, не обратили внимания, что в письме не дано ответа на наш вопрос.

— Не могу допустить, — сухо отвечает начальник. — Разумеется, я не писал его собственноручно, но не могу допустить. . .

— Чего тут допускать? Письмо при мне.

— Ладно, не будем спорить, — бросает все так же сухо начальство. — Приходите завтра к секретарю и с ним все выясните.

— Я был у него. И если жду вас целую неделю, то не для того, чтобы вы снова отослали меня туда.

Он смотрит на меня несколько озадаченно, словно не ожидал подобной дерзости.

— Видите ли, какая вещь, — говорю я. — Пусть вам не кажется, что для меня такое большое счастье проводить время в обществе вашей секретарши или что я так уж дорожу вашим ответом. Для редакции все уже достаточно ясно и без ваших пояснений. Я просто соблюдаю порядок, чтобы завтра, когда я дам в газете материал против вас, вы не смогли возразить, что я к вам не обращался.

У меня такое чувство, что словечки «против вас» довольно-таки неприятно кольнули его слух. Он беспокойно ерзает на стуле и посматривает на миниатюрное устройство, которое я с небрежным видом держу в руке.

— Вы и магнитофоном запаслись. . .

— Это в наших общих интересах, — объясняю я. — Чтобы никто не мог сказать, будто я что-то исказил в ваших высказываниях.

— Но я не готов делать заявление перед микрофоном, — произносит начальник уже с ноткой беспокойства. — Я должен иметь под рукой справки, документы. . .

— Какое заявление? Это обычная запись служебного разговора. Простая формальность.

— Формальность? Да вам ничего не стоит и по радио это пустить, кто вас знает. Я, дорогой мой, говорю не только от своего имени, и мне приходится помнить, что слово не воробей. . .

— Я не могу настаивать. Как хотите. Но к вашему секретарю я больше не пойду.

— Ладно, не ходите. Мы вам ответим письменно. Если вам хочется, чтоб лично я вам ответил, вы получите мой ответ.

В свое время, когда, оставшись в одиночестве, я проводил над собой клинические наблюдения — с целью диагностики, конечно, — я убедился: главный мой недостаток в том, что я не способен ненавидеть. Словом, известное житейское правило: «Любить так же

сильно, как и ненавидеть»[1] — ко мне совершенно неприменимо, в особенности во второй своей части. Я не испытываю ненависти даже в том случае, когда нежданно-негаданно получаю удар в спину. Я стараюсь только понять причину случившегося. А в данном случае причина состоит в том, что я сам лезу, куда меня не просят, вторгаюсь к этим людям, которые коротают свои дни, словно раковые больные. Больные, нет ли, но им все равно не позавидуешь, а раз так, то как же можно испытывать к ним ненависть? И вот мне кажется, что, если бы я был способен ненавидеть, я бы, скорее, возненавидел такого вот, как этот, который только что проводил меня с холодной вежливостью и который понятия не имеет, что это такое — быть в отчаянном положении, так как он с молодых лет научился надежно парить в небесах, может быть, не настолько, чтобы достичь высочайших вершин, но все же достаточно высоко, в чистых слоях атмосферы, на уровне служебного кабинета с персидскими коврами, имея в своем распоряжении «мерседес», штат сотрудников, которые отлично владеют полным регистром канцелярского витийства, чтобы оградить его от возможных аварий. Так что аварий нет, а если и случаются, ничего не стоит сделать вид, что их не было, все идет хорошо, и вверенная ему административная машина плодит главным образом никому не нужные циркуляры да вечную неразбериху, зато он уверенно парит в верхних слоях атмосферы — может, ему и не достичь высочайших вершин, хотя они не дают ему спать, но и на дне оказаться он тоже не рискует, несмотря на то, что именно там ему место. Да, такого я бы с удовольствием возненавидел, будь у меня способность к сильным чувствам.

«Вы получите мой ответ», — выказал холодное великодушие наш «летчик». Однако ответ не приходит. Приходит Ганев, один из тех знакомых, которых ты с трудом узнаешь и не можешь припомнить, когда и где ты с ним познакомился.

---

[1] Строка из стихотворения Христо Ботева «Моей первой любви». — Прим. переводчика.

— Надо поговорить, — таинственно изрекает он. — Очень важно.

И тащит меня в «Болгарию». Мы располагаемся у витрины с видом на зимний бульвар, по которому стелется поземка, и это мне напоминает те времена, когда здесь, в этом кафе, может быть, за этим же столиком, мы вдвоем с Петко обдумывали очередной сценарий. Только сейчас нам не до сценариев. Впрочем, если бы была в нем нужда, то сценарий уже готов.

Как только официантка приносит водку, Ганев приступает к делу:

— У меня к тебе вопрос — об истории с трубами и проектированием цехов. Только имей в виду, разговор чисто личный. Будь здоров! — Отпив глоток, он продолжает: — Скажи на милость, но только так, по-дружески: кто скрывается за всем этим делом?

— Два предприятия.

— Что касается предприятий, это и так ясно. Ты открой мне правду, откуда все это идет?

— От беспорядка.

— Ты опять за свое. А где его, Павлов, не бывает, беспорядка? У вас в редакции все идеально?

— Куда нашим до этих. Тут речь идет о миллионах. И люди возмущаются.

— Сказать тебе, почему они возмущаются? Потому что кто-то их науськивает, прячась у них за спиной: «Возмущайтесь! Поднимайте шум! Вправьте им мозги, тем, что наверху!» Кто он такой, этот «кто-то», вот что меня интересует!

— Понятия не имею.

— Не имеешь понятия? Лады! Я тебе верю. А тебе не кажется, что этот «кто-то» существует?

— Не исключено.

— Наверняка существует, не будь я Ганев. Дальше. Я слышал, будто ты схлестнулся с одним из наших начальников. Если ты распсиховался только из-за того, что он тебя не сразу принял, то это мелочность. А в остальном ты просто не прав. Что-то подмахнул человек не глядя — да ведь не кто-нибудь, а специалисты кладут ему на стол завизированное, проверенное, согласованное. При чем же тут он?

— Может, его вины в этом нет, может, тут виновата существующая практика. Но тебе же известно: отвечает тот, кто подписывает.

— Если отнестись формально! — вставляет Ганев, небрежно махнув рукой. — Дело в том, что у нашего, как и у любого живого человека, есть недруги, и они именно сейчас затеяли грязную возню. К чему лить воду на мельницу этих прохиндеев и накликать на человека беду?

— Какую там беду?. . С кем подобные вещи не случаются?

— Вот именно. . . И если хочешь знать, шефу особенно нечего бояться. Нарушений нет. Все в ажуре, А теперь представь себе, как дело может обернуться, если его начнут клевать в печати!

— Приятного мало.

— То-то же! И кому от этого польза, кроме завистников? Вы, к примеру, и ты лично, что от этого будете иметь? Может, орден заслужишь? Нет, не орден, кое-что другое могут навесить. Слыхал пословицу — паны дерутся, а у мужиков чубы трещат.

— Что ты имеешь в виду? — неуверенно спрашиваю я.

— Ничего особенного. Но если заваришь кашу, кто-то должен ее расхлебывать. Наши люди не такие уж беззащитные. Есть кому за них заступиться, если будет нужда. В прошлом году тоже перестарались было в одной газете, и, кажется, кто-то загремел. . .

— Случается, — киваю я. — Рано или поздно кто-то должен загреметь.

— Все под богом ходим, — кивает Ганев. — Но тебе-то какой смысл совать голову в петлю?

— Все будет зависеть от письма, — говорю я, поднимая рюмку. — Нам должны ответить письменно. Но если там вообразили, что можно отмолчаться. . .

— Насчет письма не беспокойся, — заверяет меня мой добрый знакомый, который, как видно, и в это посвящен. — Все будет «ком иль фо». А если надо, то и вашему Главному позвонят. Главные — они народ дошлый. Только ты не поднимай суматоху.

Я подношу ко рту рюмку, но мне что-то не по себе.

— Как видишь, я не закусил удила, — говорю в ответ.

— И правильно делаешь, уверяю тебя!

Мы уже расплатились, когда Ганев приступает к десерту:

— Так что мотай на ус, Павлов, — лихо помнится, а добро вовек не забудется. Уже к осени ты будешь иметь командировку в Вену. На осеннюю ярмарку. Я сам тебе ее обеспечу, чисто по-дружески, безотносительно к этой истории. Только не подумай, что я пробую тебя подкупить. Тебе в Австрии приходилось бывать?

«Сколько раз!» — отвечаю про себя, а вслух говорю:

— Только однажды.

Да, повторяю я потом, только однажды или много раз, в зависимости от того, что иметь в виду. И в моей памяти оживает та история за границей — заезд на стоянку, любопытство: посмотреть, что там, в портфеле, и езда все дальше, все дальше, а потом глухое одиночество в Альпах. Реальное смешалось с нереальным, будто я и в самом деле пережил такое, но теперь все это совсем потускнело в памяти и утратило смысл. Значит, воротился все-таки, говорю. И обо всем забываю.

Мне ведь сейчас не до воспоминаний. Игра зашла далеко, и — Ганев не зря предупреждает — как бы не пришлось расхлебывать кашу. Надо держать ухо востро.

На следующий день приходит наконец долгожданное письмо. И приносит его мне не наша полсекретарша, а сам Янков.

— Ну-ка, взгляни!

И, едва я успел пробежать глазами послание, спрашивает:

— Как?

— Чепуха. Как и в тот раз. Пытаются умыть руки, опираясь на формальности.

— И да, и нет, — уклончиво, как всегда, говорит Янков. — Формальности формальностями, но никуда не денешься, такой порядок: приходится считаться с установленной процедурой. Да и потом — почему мы прицепились именно к этому учреждению?

— И вообще — зачем было встревать во все это? — подсказываю я.

— Вот-вот!.. Что касается меня...

— Ну и нечего огород городить, — говорю я. — Надо сказать Главному — и дело с концом.

— А что сказать-то? — вздрагивает мой непосредственный начальник. — Мы ведь пока говорим между собой.

— Если иметь в виду Учреждение, я не вижу способа его обойти. Дело не в том, что вся вина ложится на него, но, если оставить его в стороне, многое повисает в воздухе — в общем, материал будет хромать на обе ноги.

— Впрочем, ты прав, — соглашается Янков после короткого размышления. — Может быть, в самом деле стоит поговорить с Главным. Но не так — ты одно, а я другое, а то опять скажет, что у отдела нет единого мнения. — Он выжидательно смотрит на меня. Я тоже жду. — Ничего путного из этого материала не выйдет, если ты хочешь знать мое мнение. Слишком многие в этом замешаны, у каждого рыльце в пушку. Значит, надо критиковать всех. И что получится? Сегодня они смотрят волком друг на друга, а завтра могут взъяриться на нас. Мы рискуем объединить их против себя.

Я не вижу надобности спорить. Но молчание раздражает Янкова даже в том случае, когда оно — знак согласия. Ему обязательно необходимо услышать твое «да», чтобы потом, в случае чего, можно было с чистой совестью взвалить на тебя вину.

— Как считаешь? — спрашивает мой непосредственный начальник.

— Смотри сам, — бормочу я, хотя мне хорошо известно, что именно эти два слова больше всего его раздражают.

— Я тебя спрашиваю!

— А мне все равно. Приказано готовить материал — я готовлю. Если завтра скажут «стоп» — перечить не стану. Мне все равно.

В сущности, материал уже готов, но Янкову этого не следует говорить. Чтобы панорама была законченной, осталось сделать один-два мелких штриха.

«Перестарались было в одной газете, и кто-то, ка-

жется, загремел. . .» Эта случайно брошенная фраза, конечно, дает повод для размышлений, но сама по себе ни о чем не говорит. Приходится провести какое-то время в справочном отделе, покопаться в подшивках за прошлый год, установить, кто же тогда оказался именинником.

На другой день я добираюсь до загадочного мистера Икса и испытываю легкое разочарование — оказывается, он вовсе не загремел, чему приходится только удивляться, потому что этот Марков — классический пример неугомонного человека, как сказал бы Главный. Вообще, как сказал бы Главный, мы с Марковым — два сапога пара. Точнее говоря, Марков — облагороженный вариант Павлова, или, если угодно, я — его выродившаяся разновидность, хотя, если иметь в виду внешность, то моя чуток поприличней.

Марков принадлежит к той категории людей — они вам знакомы, наверное, — которые вечно против кого-то или чего-то ведут войну. Если кто-то или что-то не нравится — это вполне естественно, но чтобы вести войну. . . Неврастеники да и только. Как говорится, они прекрасно знают, что дважды два — четыре, но это их не устраивает.

К тому же Марков мнит себя борцом за правду. А правда такая клиентка, от которой ничего другого, кроме неприятностей, ждать не приходится. Так что одни только фанатики продолжают ей служить. Люди, готовые стоять на своем до конца, я хочу сказать — до увольнения. Вроде этого Маркова.

— Уволить меня не уволили, — информирует меня мой коллега, когда мы сидим за обедом в клубе. — Только наказали.

— Значит, ты все же пострадал. . .

— Да, но не без оснований. Я допустил какие-то неточности. Тебе известно, как бывает: один говорит одно, другой — другое. . .

Неврастеник выражается весьма туманно и ведет разговор довольно неохотно. Люди, подобные ему, с течением времени становятся мнительными, даже подозрительными. Чтобы успокоить его, я вынужден открыть ему свои намерения.

— Действуй! — подбадривает меня Марков. — Действуй смело и жди взыскания.

— За что? У меня все проверено.

— Сколько ни проверяй, все равно к чему-нибудь да придерутся. Ты же понимаешь, что в этом их сила: по существу они виноваты, а с формальной точки зрения — нет. В свое оправдание они вытряхнут перед тобой целую кучу бумаг. Может быть, ты прав как бог, но поскольку ты все же не бог, то где-нибудь допустишь погрешность, она-то им и пригодится: почему ты об этом не сказал или, если и сказал, не внес ясность — и все такое прочее. Словом, найдут к чему придраться, чтобы дать тебе под зад.

— Но тебе-то не дали под зад. . .

— Со мной это сделать не так просто, — говорит Марков, отодвигая недоеденную запеканку и приступая к пирожному.

Его слова напоминают мне фразу Петко: «Я, браток, — магнитная аномалия».

— Меня они уже оставили в покое, — поясняет неврастеник, пытаясь проткнуть ножом твердую корку пирожного.

Проткнуть корку ему не удается, зато крем под ударом ножа разлетается по сторонам. Все же лакомство не устояло перед его напористостью и скоро превратилось в какое-то неаппетитное крошево. Ублажив таким образом если не голод, то по крайней мере свою неврастению, коллега оставляет крем-брюле, чтобы продолжить свою мысль:

— Пришли к заключению, что им меня не вразумить, и объявили меня неисправимым.

— Что-то уж больно загибаешь, — говорю я. — Можно подумать, только ты один и критикуешь.

— Так ведь то, что надо поддерживать критику, у нас каждый знает, в том числе и ваш Янков, — поясняет неврастеник. — Только критиковать приходится с оглядкой. Стоит назвать вещи своими именами, и ваш Янков или наш Станев тут же подымутся на дыбы. Это не конструктивная критика, скажут они. И добавят при этом: «Совсем распоясался человек». И сделают отметку в твоем паспорте.

— Но в твоем-то не сделали отметку?

— Потому что знают: со мною лучше не связываться, я не уйду, поджав хвост, а буду ходить по всем инстанциям, если будут пытаться заткнуть мне рот, я все равно не умолкну. А тебе дадут под зад.

Колючие серые глаза его глядят на меня злорадно, у него все какое-то острое — и тонкий нос, и вытянутый подбородок, и даже уши, торчащие вверх, как у сатира. Он, наверное, потешается над тем, как я реагирую на его речи, подвергает проверке мою смелость. Я же потешаюсь над ним. Такому фанатику и в голову не придет, что рискованный шаг вовсе не требует особой смелости. А главное, он не в состоянии понять, что если я преисполнен решимости продолжать начатое дело, то не потому, что мне так дорога правда, а потому, что я нисколько не дорожу своим местом.

— Ты решил меня запугать? Напрасно стараешься, — говорю я, чтобы испортить ему настроение.

— Приятно слышать, — кивает Марков. — Меня уже воротит при виде разумных людей.

И, окончательно убедившись, что с разумными у меня мало общего, он переходит к конкретным замечаниям.

— И все же как-то управляются, — вставляю я, воспользовавшись удобным случаем.

— Вот именно — как-то. Ведь и это наше проклятое успокоение исходит из того, что все как-то уладится, все образуется. Вроде того нового микрорайона, где я вчера побывал. Дома расположены таким образом, что, находясь среди них, ты невольно впадаешь в меланхолию и уныние. . . Архитекторы до такой степени нахалтурили, что просто диву даешься. . . Спросить бы, какая бригада строителей так отличилась — тут разворотили, там скособочили, кругом недоделки. . . А что особенного? Ведь люди все равно вселятся в эти дома, привыкнут, будут выколачивать половики, тушить баранину с картофелем, рожать детей. . .

— Ты не любишь баранины с картофелем?

— Я не люблю баранов. Эта баранья апатия. . . это разгильдяйство. . . Делай как бог на душу положит, шаляй-валяй, ведь формально все в порядке: выполнено, сдано, принято. . . Принимающие нисколько не

лучше тех, что сдают. Важно, чтоб формально все было в ажуре. Если за брак дают премиальные, чего тут мудрствовать.

— Ты слишком обобщаешь, — говорю я. — Как бы тебе опять шею не намылили.

Неврастеник вертит головой, словно говоря: черта с два, затем переставляет превращенное в руины крем-брюле, к которому даже не притронулся, и пробует только что принесенный кофе.

— Ничего я не обобщаю, Павлов. Я все это видел собственными глазами, установил, описал. Напечатают или нет, завтра скажем: было да сплыло, примемся за другое. В том-то и беда, что не решаешься обобщить, резюмировать. Как и в твоем случае. Я одно пощекотал — и забылось, ты другое пощекочешь — и тоже забудется. А если бы там копнуть как следует, разобраться во всем основательно и подвести черту, картина была бы не больно привлекательная.

— Так в чем же дело?

— Дело в том, что некому эту картину нарисовать. Ну скажи, кому это по плечу: тебе, мне?

Браться за большие фрески я бы не стал. На данном этапе меня заботят лишь отдельные детали. Так что я возвращаю собеседника к конкретным фактам. И правильно делаю, потому что уже после обеда меня вызывают к Главному. Одного меня. Предстоит разговор с глазу на глаз. А если уж предстоит разговор с глазу на глаз, надо быть готовым ко всему.

— Как обстоит дело, Павлов? — спрашивает Главный, оставаясь в сидячем положении и не указывая перстом на кресло. — Сегодня ты должен был представить материал.

— Вот он.

Главный смотрит на папку в моей руке, и его лицо выдает легкое разочарование. Человек явно настроился снять с меня стружку, и вот пожалуйста — зря настраивался.

— Так давай же, чего ждешь? И садись.

— В отделе возникли некоторые разногласия, — говорю я, положив папку на стол. — Янков, наверное, вам говорил.

— Да, говорил. Потому я тебя и вызвал. А не то вызвал бы вас обоих.

И без лишних слов Главный погружается в рукопись. Это не историческое исследование. Пять страничек на машинке, до предела нашпигованных фактами. Краткие суждения, определяющие позиции разных сторон и ставящие читателя перед вечным вопросом: кто виноват? А дальше — скупой комментарий, дающий представление об истинном положении вещей, и краткие выводы, чтобы все же внести ясность: кто же все-таки и в чем виноват. Сухая заметка. Без претензий на художественную ценность.

Главный читает внимательно — не по диагонали — и где рычит, где пыхтит, а где хранит загадочное молчание. Закрыв наконец папку, он отодвигает ее в сторону и говорит как бы про себя:

— Яблоко от яблони. . .

— Что? — спрашиваю я.

Это упоминание о яблоке наводит меня на размышления. Если уж он пускает в ход поговорки, дело ясное. Впрочем, оно с самого начала было достаточно ясным. Я заранее знаю, что вся моя работа пойдет прахом.

— В свое время твой отец сделал такой вот материал. И погорел на нем. . .

— Это же когда было! — напоминаю я.

— Да, — кивает Главный. — Но и сейчас нечего надеяться, что за такой материал нас по головке погладят.

— Насколько я понимаю, Янков того же мнения.

Шеф глядит на меня недовольно, собирается что-то выдать не слишком приятное, но, взяв себя в руки, спрашивает:

— А почему ты считаешь, что Янков того же мнения?

— Так. . . Прищемили ему хвост.

— С чего ты взял?

— А с того, что и мне пытались прищемить.

— Каким образом?

Я рассказываю в нескольких словах о беседе с Ганевым.

— Почему ты мне об этом не сказал?

— А о чем тут говорить? Частный разговор. Все недоказуемо.

— Это не частный разговор! — кипятится Главный.— И я не следователь, чтобы выискивать доказательства. О таких вещах принято сообщать, да будет тебе известно. . .

Раз кипятится, значит, настроение нормальное.

Главный молчит какое-то время, как бы что-то обдумывая. Потом опять спрашивает:

— Все факты выверены?

— От первого до последнего. В обоснование у меня целая папка документов.

— Принесешь ее мне. И сдавай материал в набор. — Стукнув кулаком по столу, шеф заканчивает: — Будем публиковать!

Старики опять схлестнулись. Реплики между двумя креслами пролетают словно молнии, а тем временем мы втроем беспомощно наблюдаем с дивана за разразившейся грозой.

Противники сидят друг против друга. Димов — хилый, с лицом цвета пожелтевшей от времени слоновой кости и ввалившимися лихорадочными глазами. Несторов — массивный и грузный, на его скулах то и дело вспыхивают багровые пятна. Прищуренные глаза, резкие черты лица, бронированного недоверием.

Начался вечер очень мирно, тем более что Димов слишком обессилел, чтобы сражаться, а Несторов малость простыл — от этого не застрахованы даже здоровяки, зябко кутается в какую-то старую шинель. Такая вполне идиллическая обстановка, верно, сохранялась бы до конца, если бы во время совершенно безобидной пикировки Рыцарь не обронил слово «догматик».

— Догматик? — ощеривается Несси. — Вы так произносите это слово, будто объявляете смертный приговор.

— Смертные приговоры не по нашей части, — возражает Димов. — На них специализируются другие.

— Ваша беда в том, что вы усматриваете догму в любой истине, особенно когда она простая и ясная,— продолжает Несси не слушая.

— Простых истин не бывает. — Рыцарь качает головой, глядя на дочь. — Если бы истины были простыми, то «Капитал» Маркса не был бы толстым, как Библия, а состоял бы всего из пяти фраз.

— В том-то и дело, что марксизм может вместиться и в пять фраз, — упорствует Несси. — И в каких-то случаях его и следует излагать пятью фразами, потому что не каждому дано освоить «Капитал». А эти пять фраз вы объявляете догмами.

— Мы уже видели, что остается от марксизма, когда его втискивают в пять фраз, — Димов снова обращается к Лизе. — Так извратили многие учения. Христианство тоже погубила догма.

— Христианство меня не волнует, — рычит Несси.— Хотя если говорить о католицизме, то именно в этом его сила: вместил все в несколько простых догм и завладел миром.

— Истину не втиснуть в догму, — качает головой Рыцарь. — Она слишком для этого велика.

— Глупости! — грубо отвечает Несси. — Существуют высшая математика и таблица умножения. Поскольку таблица умножения не высшая математика, то, может, объявить ее ошибочной?

— Догматизм всегда очень убедителен, — бормочет Димов, на этот раз как бы про себя. — Иначе он не был бы таким долговечным.

И они продолжают спорить все более яростно, один — в лихорадке, а другой — обреченный, они ожесточают свой изнурительный поединок в этой холодной и мрачной гостиной, на воображаемом историческом плацдарме, будто весь ход истории зависит исключительно от них, они продолжают оспаривать право на обладание скипетром вселенской власти, домогаются, чтобы жизнь развивалась только так, как желает каждый из них, и это после того, как жизнь уже изъяла их из обращения; они все еще не прекращают схватку, хотя враждующие полчища давно удалились, поле битвы давно утихло, и вокруг простирается глухая ночь, которая очень скоро поглотит их обоих. В этой свирепой и бессмысленной схватке — и подвиг, и самопожертвование, и трагизм.

Глядя на них, я начинаю подозревать: по существу, каждый из них ведет войну с самим собой, с чем-то внутри себя, с чем-то таким, что каждый из них носит где-то там, очень глубоко в себе, чего они боятся и что жаждут вырвать и испепелить в ходе этого бесконечного поединка.

— Догматик, говоришь? — грохочет голос Несси. — Да, если революционное насилие догма, я — догматик! И если классовая борьба догма, я — догматик! И если диктатура пролетариата догма, я — догматик! И, да будет вам известно, я этого не стыжусь!

Он встает — в накинутой на плечи шинели он кажется еще более грозным — и стоит, словно ожидая нового вызова, а затем медленно поворачивается и уходит к своей двери.

Однако на полпути он вдруг замирает и прислушивается: в парадную дверь звонят. Один звонок. Если один, значит, к нему.

Борец в шинели неторопливо поворачивается и идет в прихожую. Минуту спустя он опять в гостиной, но уже в сопровождении какого-то пожилого мужчины, почти такого же рослого, как он сам, но гораздо более привлекательного: у него еще свежее лицо с седыми бакенбардами, он в темно-синем пальто, в широкополой шляпе.

— Должно быть, к вам, — бормочет Несси Лизе и снова идет к себе.

— В чем дело? — спрашивает моя квартирантка с некоторой неприязнью.

Раз с неприязнью, то, вероятно, она знает его.

— Лиза, неужто вы меня не узнаете?

— Кто вы такой?

— Но, Лиза! — восклицает гость, смущенно улыбаясь. — Я ваш отец!

Несси, который уже взялся было за ручку двери, останавливается и удивленно оборачивается. Почти уснувший в кресле Димов таращит глаза.

— Вы ее отец? — спрашивает он. — А кто же я?

— Не могу знать, — невозмутимо отвечает незнакомец, не сводя глаз с Лизы.

— Должно быть, моя мать вас подослала, чтобы вы

разыграли здесь эту дешевую сцену? — спрашивает Лиза ледяным голосом.

— Да, ваша мать. Но почему сцену? Она просто подсказала мне, чтобы я зашел и постарался рассеять возникшее недоразумение.

— А почему только сейчас? И почему именно сейчас? — справляется Лиза все тем же ледяным тоном.

— Да потому, что на этом настояла ваша матушка. Поймите, это ее тайна. . .

— И вы явились сюда, чтобы открыть наконец эту тайну? — бросает Лиза и добавляет: — Вот уж вранье!

Эти слова звучат крайне неубедительно: если повнимательней вглядеться в его лицо, можно увидеть, что в нем проступают некоторые черты Лизы, быть может, огрубленные и в какой-то мере окарикатуренные, но все же сходство есть, никуда не денешься. Овал лица, подбородок, даже слегка вздернутый нос. . .

— Лиза, как вы можете! Я ваш отец. . . — растерянно говорит гость, как бы не веря своим ушам.

— Не лучше ли вам уйти? — отваживаюсь вмешаться я. — Вы маленько опоздали. . .

— Ну-ка, проваливайте, — вдруг заявляет Несси. — Мне сегодня нездоровится, но у меня хватит сил вышвырнуть вас на улицу.

И он медленно приближается к незнакомцу.

— Но, Лиза, как вы можете! — беспомощно повторяет гость.

— Ступайте, — советует Лиза. — Разве не видите, вам сейчас попадет. . .

Он, конечно, видит. И ему теперь совершенно ясно, что его миссия терпит провал. Так что прежде чем Несси поймал его за шиворот, он выкатывается в прихожую. А затем доносится стук парадной двери.

— Но это. . . это же. . . Неслыханно! — потрясенно шепчет Димов.

— Все нормально, — успокаивает его Лиза. — Вы забыли нрав вашей бывшей супруги. Если уж она что-то вобьет себе в голову. . . На любую глупость способна!

— Отвратительно! — застонала моя квартирантка

после того как мы поднялись к себе на верхний этаж.

— Что именно? То, что у вас два отца?

— То, что мое происхождение зависит от того, с кем спала моя мать — с законным мужем, которого терпеть не могла, или с любовником, которого тоже ни в грош не ставила.

— Иметь двух отцов — это прямо-таки роскошь. Два отца и любящая мать. . . Они, чего доброго, задушат вас в приступе родительской любви. Вы баловень судьбы, Лиза. Подумать только, вас любят, оспаривают родительские права. . .

— Еще бы, все они в таком возрасте, когда нуждаются в уходе. А прислуга дорого обходится да и обокрасть может. . . — Она вдруг замолкает, словно оборвав себя. — Бог ты мой, я ведь сама воровка, так что чья бы корова мычала. . .

— Неужто вы впервые видите. . . второго своего отца?

— Вовсе нет. Я знаю, что он материн приятель, помню его с детства. И когда я впервые убежала из дому, это случилось из-за него. Терпеть его не могла. И матушка какое-то время была вынуждена назначать рандеву у него на квартире, а не у нас.

— Это, разумеется, не имеет значения, — говорю я. — Но, похоже, все-таки он ваш отец.

— Я и сама подозреваю, что он. Чем ближе я узнавала Димова, тем становилось яснее, что он мне не отец. А этого, настоящего, ненавижу. За то, что он — мой отец безо всяких на то прав.

Она садится на свое обычное место, берет сигарету, но прежде чем закурить спрашивает:

— Ну и что?

— Ничего, разумеется.

— Вот именно: ничего. Вы сами говорите: иметь двух отцов — роскошь. Вот я и воспользуюсь этой роскошью и выберу себе в отцы того, который мне больше по душе. Я выбираю Димова.

— Димов все-таки вздорный старик, — напоминаю я.

— Вздорный, потому что вы его заводите.

— А этот мягкий, внимательный, все время улыбается. . .

— Естественно. Бывший торгаш. Все равно что предлагает поплин на блузку. . . И вы еще сравниваете его с Димовым!

— Да, пожалуй, вы правы, — уступаю я. И тут вдруг вспоминаю о другом: — Вы, похоже, не читаете газет.

— Как вам не стыдно? Читаю после обеда. Вы же знаете, как я занята с утра.

— Тогда не пропустите завтрашнюю. Ваш материал наконец печатается.

Материал действительно печатается. В последующие дни, как скажет Главный, на наши головы посыплются шишки со всех сторон. Но поскольку факты — вещь упрямая, возражения касаются в основном формы и сводятся к вечному вопросу: стоит ли устраивать сенсацию, когда можно было бы все поставить на свои места и без нее.

Дома тоже хлопот хватает. Несторова, как нередко случается со здоровяками, которые никогда ничем не болеют, вдруг сразил самый банальный грипп, поднялась температура, а в его возрасте. . . но не будем пессимистами. Когда Лиза ходит за покупками, я дежурю у постели больного, поскольку Илиев пропадает у себя на заводе, а Димов — неизвестно где.

— Тони, мне надо уйти, — говорит мне Лиза и в это утро. — Присмотрите, пожалуйста, за стариком, вдруг ему что понадобится.

Допив кофе и дочитав газету, я спускаюсь вниз. Спускаюсь бесшумно, потому что я сам не выношу шума. В доме тишина и полумрак. То и другое дополняет привычный запах плесени (или, если хотите, розового масла). Дверь Несси слегка приоткрыта, и я вдруг отчетливо слышу какой-то странный звук. Что-то вроде тихого рычания. В самом деле, какое-то протяжное рычание — не иначе как хозяин обзавелся собакой. Прислушавшись, я делаю вывод, что это все-таки не собака, а сам Несси, и он не рычит, а поет. Вполголоса, но достаточно ясно, чтобы можно было разобрать слова:

Темная ночь.
Только пули свистят по степи,
только ветер гудит в проводах,
тускло звезды мерцают. . .

Мне становится неловко, словно я подслушиваю чужой разговор, не зная, как быть — войти в комнату или уйти к себе, — сажусь на диван в полутемной гостиной и жду, когда закончится музыкальная программа. Несси поет. . . Просто не верится. И не какой-нибудь походный марш, а «Темную ночь». Просто невероятно. Я уже начинаю думать, что это плод моей фантазии, но вот снова доносятся знакомые слова:

Смерть не страшна,
с ней не раз мы встречались в бою.
Вот и теперь
надо мною она кружится. . .

И хотя всего минуту назад я испытывал неловкость, сейчас мне не терпится просунуть голову в дверь и шутливо заметить: «Песни поем, а? Да еще такие — военно-сентиментальные. . .»

Какой-то непрестанный нелепый зуд — поставить человека в неловкое положение, просто чтобы посмотреть, что будет. Как мне твердил один приятель: чтобы герой раскрылся, надо его ошарашить. Раньше подобные выходки меня забавляли, но потом я их прекратил. Вызовешь, допустим, шок — и разойдется человек по швам. Но не сам он, а его пальто. А под пальто — пиджак, а под пиджаком бог знает сколько еще всяких одежек. Некоторые люди похожи на лук: снимаешь одну шкурку за другой, а когда наконец снимешь последнюю, оказывается, что под ней уже и человека-то нет. Ничего. Поневоле задумаешься, стоило ли возиться, экспериментировать.

И все же интересно, что его заставило откопать в залежах своей памяти именно эту песню. Смерть, которая ждет, или любимая, которая тоже ждет? Скорее всего, первое, хотя после той давней истории с моим отцом трудно утверждать что-либо определенное. К

тому же бывает, что люди отличаются от лука: когда пальто разойдется по швам (а это вполне может случиться, особенно если оно старое, поношенное, затасканное, как больничный халат), то под ним может оказаться нечто невероятное — живое человеческое сердце.

Песня в комнате оборвалась. Я встаю и вхожу к больному. У него светлее, чем в гостиной, но ненамного. Окна завешены плотными выгоревшими шторами кирпично-бурого цвета. Луч зимнего дня, проникнув сквозь щелку в шторах, падает на кровать больного. Несси лежит с закрытыми глазами, однако ощущает мое присутствие, хотя воспринимает его по-своему.

— Лиза, это ты?

— Нет, это Антон.

Вероятно, он предпочел бы, чтобы это была Лиза, но не говорит этого. Я подхожу ближе.

— Может, вам что-нибудь нужно?

— Пока ничего, спасибо.

Я присаживаюсь на ближайший стул. Температура, должно быть, спала, хотя песня могла означать обратное. Больной расслабился на высокой подушке, укрытый до самого подбородка двумя солдатскими одеялами, поверх которых простирается шинель.

— Сейчас вам лучше? — спрашиваю я, лишь бы не молчать.

— Как-нибудь очухаюсь, — уклончиво отвечает Несси. — Не такое пришлось пережить, а уж грипп. . .

— У вас жизнь была не из легких.

— Жизнь, молодой человек, не может быть легкой, если ты решил прожить ее как настоящий мужчина. Подполье, партизанская борьба, фронт, а потом то, чего ваш Димов не может мне простить. . .

— Я думаю, он давно простил. Хотя вы всеми способами противитесь этому.

Несторов слегка приоткрывает глаза, потом снова устало их закрывает.

— Я его злю одним своим присутствием, — уточняет он.

— И всякими выдумками. . . Например, что вы вели следствие по его делу. Вы ведь это нарочно выдумали.

Старик молчит, сомкнув веки, будто прикидывается спящим. Потом, немного повернув голову, глядит на меня.

— Я это не придумал, — говорит он и пристально смотрит в потолок, высокий, как во всех старых домах, теряющийся в полумраке.

— Как же так, ведь вас в то время вообще не было в Болгарии.

— Может, и не было, — равнодушно произносит Несси. — Не помню.

— Значит, вы его обманули!

Он опять переводит глаза на меня, словно желая убедиться, в самом ли деле я настолько туп, как ему кажется, затем приподнимается на подушке, садится.

— Я его не обманывал, вы слышите? — говорит он. — Следствие я, конечно, не вел и даже не был в курсе дела, но я его не обманывал! —И, заключив по моему виду, что тупость моя непритворна, добавляет: — Мне надо было втолковать ему, что я готов нести ответственность.

— Неужто вы склонны оправдывать ошибки той поры?

— Ничего я не собираюсь оправдывать. Даже собственные ошибки. Но я их допускал не из любви к безобразиям. Время было такое.

— Ошибка с Димовым произошла не по вашей вине. Как вы можете брать на себя ответственность за то, чего не совершали?

— А вот так: я готов за нее отвечать. Раз другие умыли руки, должен же кто-то взять на себя ответственность? И если кто спросит у меня, готов ли я отвечать за все, что имело место в тот период, я отвечу: да, готов — за все! Раз я жив, значит, я в ответе!

Он обессиленно плюхается на подушку и опять закрывает глаза.

В дверь дважды звонят. Будем надеяться, что это не новый папаша Лизы. Я оставляю больного и иду открывать.

— Мать честная! — восклицаю я. — Ты воскрес? Как тебе удалось меня найти?

В дверях стоит Петко во весь свой внушительный

рост, в темных очках и в летнем пальто, которое служит ему во все времена года.

— Я и не думал тебя искать, — объясняет мой покойный друг. — Я ищу Лизавету.

— А! — снова восклицаю я. — Откуда ты ее знаешь?

— Длинная история! — Петко небрежно машет рукой. — Ты меня пустишь в дом или будешь держать здесь?

Мы поднимаемся в мои покои, я достаю из тумбочки кофейник и начинаю готовить кофе, а Петко, сбросив пальто, садится и, закурив, всматривается сквозь полупрозрачные гардины в очертания другого моего приятеля — орехового дерева.

— Так с кем же она тут живет, Лиза? С тобой? — спрашивает он.

— Со мной. Но, чтобы не ошибиться, не спеши пока делать выводы, — предупреждаю я, отыскивая сахар.

— Ладно, — кивает Петко. — Хотя мать уверяла меня, что ты ее новый приятель.

— Мать не в курсе. У Лизы вообще нет приятеля. Но у нее есть жених. Никак не найду сахар. . .

— Обойдемся, — говорит мой гость. — Я давно разыскиваю Лизавету. . . Еще в тот раз, когда мы с тобой повстречались в поезде, я приезжал, надеясь ее найти, но мать не знала, куда она девалась.

Поставив кофейник на плитку, я включаю ее, после чего сажусь на свое обычное место — на кровать.

— А что у тебя общего с Лизой?

— По сути дела, ничего. Кроме того, что я — отец ее ребенка, если это имеет значение.

— Ты что, смеешься?

— Почему смеюсь? — Петко невозмутимо смотрит на меня сквозь темные очки.

— Разве может не иметь значения то, что ты отец ее ребенка?

— Для меня это, конечно, имеет значение, в противном случае я не стал бы ее разыскивать. Но Лизавете, похоже, все равно. . .

— Ты так считаешь? Уверен, что, встретив тебя здесь, она впадет в стрессовое состояние.

— Ерунда, — возражает Петко. — Ты ее плохо

знаешь, хотя вы и живете вместе. Кстати, давно вы живете вместе?

И, не дожидаясь ответа, Петко принимается болтать — ему, должно быть, давно не представлялось такого удобного случая.

— Ты вот говоришь, «стрессовое состояние»... У меня уже в печенках сидят эти слова. Врачи, психологи, вся пишущая братия — все наперебой толкуют о стрессе... А ведь в основе этого понятия лежит страх. Но просто «страх» звучит слишком примитивно, а вот «стресс»... Ужасы настоящего и будущего не ограничиваются тем, что в мире гибнет столько народу. Они имеют и другое, психологическое выражение — уцелевших сковывает страх, страх перед войной...

— Это не ново, — отвечаю я, прислушиваясь к жужжанию кофейника.

— Да, внешний фактор. Но не следует упускать из виду потенциальную опасность психического взрыва. Материал для такого взрыва все накапливается и накапливается в пространстве. С одной стороны — озлобление, с другой — страх, а когда оба эти элемента насытят планету до критической точки, будет достаточно крохотной искорки, чтобы разразилась катастрофа.

— Раз уж ты заговорил о катастрофе, придумай-ка, как ее избежать.

— Это я придумал еще в гимназии. Мы с одним дружком решили было основать всемирную тайную организацию по уничтожению поджигателей войны. Начать надо с самых злостных, а остальных припугнуть, чтобы присмирели.

— Мудрый проект, — признаю я, продолжая вслушиваться в песню кофейника, теперь уже более громкую.

— Не стану утверждать, что мудрый, но он сильно меня занимал. Вся беда в том, что этих, злостных, не перечесть. Убрать одного — на его месте окажутся двое других, насилие будет порождать насилие. Вот в чем состоит драма терроризма. Психическая зараза требует психической дезинфекции.

— Так это ведь делается: правда, вместо того чтоб устранять злостных, мы их всего-навсего разоблачаем.

— А какой эффект? Тебе не кажется, что мы слишком терпеливо возимся с этой мерзостью — полемизируем, критикуем. . . Когда чересчур цацкаешься с мерзавцем, невольно попадаешь в его орбиту, он как бы приручает тебя, проникает в круговорот твоих мыслей и переживаний — следовательно, добивается своего. . .

— Тогда надо делать вид, будто мы его не замечаем, — предлагаю я, направляясь к плитке.

— Ему доставит удовольствие слишком пристальное наше внимание, — уточняет Петко. — Надо дать ему почувствовать, что он не властен повлиять на наши намерения и действия. Вот когда он начнет беситься. А это уже признак самораспада, самоуничтожения.

— Опять обобщения, абстракции. . .

— А что, по-твоему, тут может быть конкретное? — спрашивает Петко.

— Ага, значит, отвечать террором на террор ты не склонен. Тогда придумай что-нибудь другое.

— Придумал. Но ты опять скажешь: абстракция. Принцип — всегда абстракция, но тем не менее принцип решает все. . .

Я помешиваю ложечкой кофе. В этом занятии, кажется, больше смысла, чем в бесплодных спорах.

— Людям нужна мысль, понимаешь? — продолжает Петко. — Мысль доходчивая, убедительная. Спасительная мысль, которая полностью овладевает сознанием. Идея, владеющая миллионами людей, уподобляется грозовому разряду, превращается в ураган, изгоняющий силы мрака и очищающий пространство.

— Осталось только родить эту идею. . .

— Почему же, я отчетливо ее вижу. Надо только втиснуть ее огромный смысл в какую-то предельно лаконичную форму, сильную и яркую, как молния, понимаешь?

Он замолкает. Обернувшись к двери, я понимаю почему: совершенно бесшумно вошла Лиза и остановилась, удивленно глядя на гостя (в стрессовое состояние она, впрочем, не впадает).

— А, Лизавета! — произносит Петко, будто они расстались полчаса назад на трамвайной остановке.

— Ой, Петко! — отзывается она почти таким же тоном. — Оказывается, вы знакомы. . .

— С давних пор, — говорю я. — Никак не найду сахар. . .

— Да он у вас под носом, Тони! — Лиза кивает на жестяную коробку, которая и в самом деле стоит на тумбочке.

Лиза начинает хозяйничать сама.

— А тебе не кажется, — спрашивает Петко, — что мы слишком усердно обсуждаем поведение других людей, вместо того чтобы хоть немного разобраться в собственном поведении?

Он, кажется, совершенно не считается с присутствием Лизы.

— Ты это о себе?

— Да все мы этим грешим, — признает Петко. — Иной раз говоришь себе: довольно, хватит! Глядишь — и снова понесло по течению.

— Значит, есть у тебя причины возмущаться. . .

— Это нельзя назвать возмущением! — прерывает он меня. — Зло не изжить праздной болтовней. Мы, возмущаясь, ворошим мусор, но его гнилой дух странным образом нас опьяняет. . . И в пространство добавляется лишний смрад.

— Не успел порог переступить — и уже пускаешься в рассуждения! — замечает Лиза, подавая ему кофе.

— Не пускаюсь, а продолжаю их, — уточняет Петко. — Продолжаю разговор, начатый много лет назад.

Мы молча пьем кофе, курим, и я постепенно начинаю догадываться, что эти двое, наверное, не прочь остаться вдвоем.

— Я выйду на минуту.

— Никуда вы не пойдете, — возражает Лиза категорическим тоном, какого я до сих пор у нее не слышал. — Обед готов, а на улице холод.

— Если ты это делаешь из соображений такта, это совершенно ни к чему, — присоединяется к ней и Петко. — Я хочу сказать Лизавете несколько слов, но секретов у нас нет. Мы тут свои люди.

— Сперва давайте пообедаем, — говорит Лиза.

Она уходит на кухню, а мы продолжаем болтать, то есть Петко продолжает свои излияния, а я слушаю. Потом мы обедаем, потом снова пьем кофе, и наконец мой приятель вспоминает, зачем пришел.

— Я хотел спросить у тебя, Лизавета, не изменила ли ты своего решения. . .

— Нет.

— С той поры много воды утекло, вот я и подумал. . .

— Нет.

— Это я и хотел узнать. Принес тебе немного денег. Не для тебя, конечно, для ребенка. . .

— Если для ребенка — возьму. Не такая у меня сейчас жизнь, чтоб отказываться, — равнодушно произносит Лиза.

— Значит, не зря я все же пришел, — философски заключает Петко и встает.

— Постой, куда это ты? — останавливаю я его.

— Пойду. Мне надо успеть на поезд.

Он неловко делает два-три шага к Лизе, но она, отвернувшись к окну, разглядывает смутные очертания ореха сквозь ажурную занавеску. Петко нерешительно останавливается, затем достает из кармана голубой конверт и кладет его на тумбочку, рядом с плиткой. Дешевый, изрядно помятый конверт, очевидно, немало времени провалявшийся в его кармане. . .

— Что за невоспитанность! — говорю я Лизе. — Проводите хоть человека!

Она резко оборачивается. Петко тоже смотрит на меня; я не вижу его глаз за темными очками, но догадываюсь, что выражает его взгляд: «Оставь, браток, ни к чему это». Наконец Петко, растерянно потоптавшись, махнув мне рукой, открывает дверь. Лиза выходит за ним.

— Вы вот кричите, а сами ну ничего не понимаете! — говорит она мне чуть позже, возвратившись в комнату.

Глаза ее подернуты влагой. А взгляд. . . Так смотрит собака, которую ударили ни за что ни про что.

— Я на вас не кричал! — возражаю я, все еще злясь.— Он как-никак отец вашего ребенка.

— Не желаю я, чтобы он был отцом моего ребенка! — кричит Лиза.

— А вот вы кричите. И сами не понимаете, что говорите. Он — отец, хотите вы того или нет!

— Только физически, — отвечает Лиза, сбавляя тон.

— Дело ваше. — Я пожимаю плечами. — Насколько я могу судить, он намного порядочнее некоторых других ваших знакомых. Может, у него не все в порядке, но он не подлец, это точно.

— Конечно, не подлец, — соглашается она. — И, да будет вам известно, у него абсолютно все в порядке. Это у вас не все в порядке, а он-то вполне здоров.

— Я другое имел в виду, — бормочу я. — Я о том, что содержать семью он вряд ли может. . .

— Ничего вы не понимаете! — с досадой прерывает она меня. — Не может. Я как-нибудь и сама управлюсь. Но он такой же отец моему ребенку, как мне — муж. То есть никакой. Вы-то уж должны знать, если считаетесь его другом: он всегда сам по себе, он не нуждается ни в ком. Он может жить рядом, но не с вами, и вспоминает о вас только когда охота поболтать, а наболтавшись вволю, снова о вас забывает — не потому, что он такой бесчувственный, а потому, что живет он в своем выдуманном мире и до вашего ему дела нет, и вообще — ну можно ли жить с человеком, с которым невозможно поладить? С ним можно только делить кров, да и то если ему не приспичит сменить местожительство, как он однажды и сделал.

Она нервно ходит от стола к окну, потом садится в свое кресло, молчит.

— Ну вот, — усмехаюсь я. — Вы говорите, у него все в порядке, а сами изобразили его сумасшедшим. Самым настоящим сумасшедшим.

Лиза вертит головой, и зеленые черешни ее серег качаются, словно тоже хотят мне возразить.

— Послушайте, Тони, его поведение вовсе не говорит о безответственности. Он, видите ли, несет ответственность за судьбы всего человечества. Это, конечно, дико, но если человек непрестанно думает, как спасти миллионы женщин и детей, то для своей жены и для своего ребенка у него уже не остается времени. . .

— Все же он потянулся к вам, — говорю я. —

И не только как к женщине, но как к близкому человеку.

— Скорее я к нему потянулась, — отвечает Лиза, беря сигарету. — Мне вдруг показалось, что он намного лучше тех балбесов. . . А его речи, особенно когда слышишь их впервые, его идеи. . .

— Бредовые.

— Для вас. Но когда я это слушала среди сосен в лесу, который казался мне храмом. . .

— Вы познакомились в горах?

— Да. Мы пошли в горы — двоюродная сестра с мужем и я. Пока добрались до турбазы, я страшно устала, и мне совсем расхотелось подниматься к вершине.

Она продолжает рассказывать, как познакомилась с Петко, о чем он у нее спросил, что она ему ответила, какие стал развивать теории — слишком знакомые мне, чтобы я испытывал к ним интерес. Она продолжает рассказывать — она всегда охотно рассказывает, особенно о чем не просят, особенно если это тебя так мало интересует.

— Мы не расставались весь день, но вот день кончился, я должна идти с нашими обратно, а он говорит: неужели вы уйдете, посмотрите, уже высыпают звезды, там, в низине, вы никогда не увидите такое множество таких крупных звезд, а я ему: жалко, конечно, что я не увижу звезд, но нам пора спускаться. И мы пошли. . .

Она замолкает, словно хочет услышать: «А потом?» Но, так и не дождавшись, заканчивает свой рассказ:

— Через четверть часа я вернулась на турбазу. . . Не знаю, почему я это сделала. Наверное, потому, что, как вы сами однажды заметили, я сперва делаю, а уж потом думаю. Делаю глупость, а потом начинаю это понимать. Во всяком случае, я вернулась, так что, выходит, я сама ему навязалась.

— Звезды обладают большой притягательной силой, — говорю я. — И Петко, надо полагать, тоже, насколько я разбираюсь в мужчинах.

— Понимаю, на что вы намекаете. — Лиза смотрит на меня укоризненно. — И еще кое о чем догадываюсь: вы превозносите Петко, чтобы дать мне понять: Владо — тюфяк по сравнению с ним.

— Никогда не считал Владо тюфяком. Да и ни к чему мне вмешиваться в ваши сердечные дела.

О сердечных делах Лиза больше не говорит, но о моей дружбе с Петко высказывается:

— Удивительно: есть человек, к которому вы снисходительны.

— Нас связывало дело. Он подавал идеи, я записывал.

— Не только дело. Это единственный человек, о котором вы говорите хорошие вещи, хотя и с оговоркой, что у него не все дома.

— О хороших людях принято говорить хорошие вещи.

— Да вы ведь не верите в существование хороших людей! И Петко — ваша прямая противоположность, хотя вы тоже, бывает, чудите, когда на вас находит. Его интересуют все и вся, вас приходится волоком тащить поближе к жизни. . .

«Так вот какое у тебя хобби — тащить меня поближе к жизни?» — хочется мне сказать, но я молчу.

Возле самой редакции я вдруг сталкиваюсь с Бистрой. Случайность? Вряд ли. Бистра хорошо знает мое расписание.

— А, Тони! — В голосе ее звучит, кажется, неподдельная радость. — Какой сюрприз!

Я вежливо отвечаю, что это и для меня сюрприз, и отвожу ее в сторонку, так как бывшая моя супруга имеет обыкновение останавливаться посреди тротуара, не замечая, что мешает прохожим.

— Здорово, что я тебя встретила, — говорит Бистра. — Мне надо с тобой поговорить.

— Вечером я занят.

— Зачем вечером? Давай где-нибудь посидим сейчас, все равно где.

Я поднимаюсь в отдел, лишь бы объявиться, и веду ее в первый попавшийся кафетерий, совершенно невзрачный с виду, где только три столика; к счастью, все три свободны, так как посетители — местная молодежь — толпятся в основном у прилавка, где отпу-

скают бозу, и пьют стоя. Я приношу лимонад и пару окаменевших слоек, которые так и будут лежать до конца нашего свидания. Я жду, что Бистра, поморщившись, тихо скажет: «В более приличное место ты не мог меня повести», но она, видно, настолько сейчас озабочена собственными проблемами, что не обращает внимания на обстановку.

— Как поживает твоя новая приятельница? — интересуется она, доставая сигареты и тут же пряча, ибо заметила надпись: «Курить воспрещается».

— Ты, верно, чаще ее видишь, чем я.

— Я имею в виду не Бебу.

— Другой у меня нет, я же тебе говорил. А у той женщины, которая выполняет обязанности домработницы, есть жених — не я, другой.

— Очень рада, — кивает Бистра. — Тебе часто изменяет вкус, но дело не в том. Ты такой пассивный, что любая нахалка может прибрать тебя к рукам.

— Со мной только раз такое случилось, — напоминаю я.

Бистра смотрит, словно не понимая, о чем идет речь, и вдруг раскрывает карты:

— Тони, мы с тобой сделали ужасную ошибку. . .

— Сколько их было! Нам не привыкать.

— Какой злопамятный! — удивляется Бистра. — Я всегда вспоминаю нашу полудетскую дружбу. Пойми, если кто-то и жалеет, что мы еще тогда не связали свои судьбы, так это я. И если кто-то виноват в этом, так только ты. Не будь ты таким лопухом, прояви ты тогда волю, сграбастай ты меня, как ты сделал это потом. . . А ты боялся, не смел ко мне прикоснуться, а если и прикасался, то так, будто я стеклянная. . . Честное слово, Тони, если бы мы нашли тогда общий язык, все бы сложилось иначе. . .

Эти вещи я слышал столько раз, что вполне можно пропустить их мимо ушей. Куда интереснее наблюдать за толпящимися у прилавка юнцами или, опустив глаза, любоваться ножками Бистры — она так удачно выставила их на мое обозрение. Удивительные ножки, они до того изящны и обольстительны, что порой мне бывало неловко идти рядом с Бистрой по улице:

все мужики глядят ей на ноги, и начинает казаться, что идешь не с женой, а с парой соблазнительных ног.

— Ты меня не слушаешь. . .

— Как не слушаю? Я отвлекся на секунду, но если в этом кто-то виноват, то только ты. — И, поскольку Бистра снова делает вид, что не понимает, я уточняю: — Твои ноги.

— Можно подумать, ты их впервые видишь.

Что ей возразить? Лучше переменить тему.

— Как там Жорж? — спрашиваю я. — Не надоел тебе еще?

— Я больше не в силах терпеть этого человека! Его ничто не интересует, кроме денег. И была бы хоть какая-то польза от его махинаций, так нет же: все свои доходы он вкладывает в новые сделки! Знаешь, говорит, Биси, чем больше капитал, тем солиднее прибыль. Словом, типичный стяжатель. . . Ну ладно, черт бы с ним, но ведь страшно: а вдруг он влипнет, тебе ведь не надо рассказывать, чем он промышляет. . . Можно бы и на это махнуть рукой, но, мать честная, о чем можно говорить с мужчиной, у которого нет никаких культурных запросов, ну вот ни на столечко!. .

— Ты должна прививать ему культуру. . .

— Была охота! Боюсь, я скоро начну его бить, до такой степени он мне опостылел.

— Должно быть, и я в свое время тебе опостылел.

— Нет, Тони! Ты не опостылел, ты меня привел в отчаяние. Ты ведь совсем перестал меня замечать. И если я затеяла флирт с этим дураком — видишь, я ничего не скрываю! — то исключительно ради того, чтобы тебя подразнить. Может, думаю, ты наконец начнешь меня замечать.

— Довольно грубый прием.

— Пока я действовала не слишком грубо, ты и виду не подавал, как только я закусила удила, ты словно только того и ждал.

— Что старое поминать. . .

— Верно, кто старое помянет, тому глаз вон! — подхватывает Бистра. — Я, к примеру, начисто все забыла. А если и ты забыл, мы могли бы начать все по новой. . .

— Ну, ты даешь! Как это по новой? Хочешь стать посмешищем в глазах всех, кто нас знает?

— Наоборот, обычно все умиляются, когда муж и жена снова сходятся. Вот, говорят, что значит любовь! Это трогает людей.

И так как я молчу, она продолжает, следуя своему правилу — ковать железо, пока горячо.

— Думаешь, почему я до сих пор не вышла за Жоржа? Я никогда не была уверена, что он мне не надоест. Я ему так и заявила, что если ты решишь вернуться ко мне, то он немедленно уберется обратно в свою комнату. За какой-нибудь час все станет на свои места, вот увидишь.

— Заманчивая перспектива, — признаю я, снова разглядывая ноги своей бывшей жены.

Однако будь у меня желание снова пообщаться с ними, совсем не обязательно снова жениться на ней. Не такой уж я олух, как ей кажется.

— Заманчивая перспектива, — повторяю я. — Но такие вещи не решаются за стаканом лимонада. Мне надо подумать.

— А чего тут особенно думать? — спрашивает Бистра, и в голосе ее слышны холодные нотки. — Ты только не подумай, что я тебя насилую. С какой стати? Такие вещи делаются добровольно.

Она замолкает, надеясь услышать от меня что-либо более определенное — может быть, время и место нового свидания. Но как раз этого я и не собираюсь говорить: стоит только начать. . .

— Ну, вернешься ты ко мне — это же ни к чему тебя не обязывает, — продолжает Бистра после паузы. — Не захочешь расписываться, я не буду тебя неволить, не бойся.

— Чего мне бояться? — бормочу я. — Будто мы не знаем друг друга.

В том-то и дело, что знаем. Для «Биси» главное — прибрать тебя к рукам, а там. . . пойдешь ты расписываться или нет, но уж точно пойдешь плясать под ее дудку.

— Так что думай, но не слишком долго. Иначе можешь меня проморгать. . . — И доверительно мне

сообщает: — Ты у меня единственный, Тони, и всегда был единственный. . . А все остальное — так, чепуховые интрижки. Я сейчас так одинока, у меня просто безвыходное положение. А когда я в безвыходном положении, со мной такое творится — я себя не помню. На любую глупость способна, так что учти, я могу клюнуть на удочку какого-нибудь кретина, и тогда не пришлось бы и мне, и тебе сожалеть. . .

В этом монологе, как нетрудно заметить, слышны одновременно и исповедь, и угроза — что ж, она всегда была такой, бывшая моя жена. Мы встаем, и, провожая ее, я повторяю, что мне надо подумать, и даже обещаю дать о себе знать в ближайшее время, а на лице Бистры вера отчаянно борется с недоверием, и я не могу не заметить, как бедная ее головка напрягается, чтобы в последнюю минуту придумать что-нибудь такое, чем можно было бы меня заарканить, но все средства, включая и ноги, уже использованы, ничего больше придумать не удается, и Бистра хватается вдруг за свою сумочку, как утопленник за соломинку, достает из нее фотографию (лето, берег моря) и говорит: «Возьми, не забывай свою Биси», я прячу фотографию: «Как ты можешь такое говорить», и мы наконец прощаемся — если не совсем, то потому, что ее переполняет ярость из-за неудавшейся попытки с ходу добиться своего, а я чувствую едва уловимый запах сирени, горький аромат первой любви, слабый-слабый, может быть, лишь воображаемый — как запах роз, о котором говорил Жорж.

Запах сирени. . . А может быть, уже идет весна? В этом году южный ветер подул в марте, намного раньше обычного: как говорят старые люди, все так перемешалось, что уж и не знаешь, когда зима, а когда весна, и тем не менее дует южный ветер, идет весна, и Лиза решает превратить утоптанный плац нашего двора в настоящий сквер. Я твержу ей, что ничего путного у нее не выйдет, но она взбалмошная женщина, бегает, суетится, обходит соседей, вербует себе единомышленников, спорит с ними, и, когда ее спрашивают, где же тогда будут играть мальчишки, она тут же говорит в ответ: какие же это игры — бить

людям окна? Существуют, мол, и другие, более умные игры, и потом, как можно заботиться об одних мальчишках, а о девчонках забывать, разве они не ваши дети?

Проблема непростая, и взбалмошной нашей Лизе приходится идти за помощью в домоуправление, поскольку имеется в виду не один двор, а разгороженные дворы трех жилых домов — каменные заборы давно разрушились, из-под земли выступают остатки былых оград, но это не мешает мальчишкам по целым дням гонять мяч. В закрытом пространстве двора удары его гремят, как орудийный салют, когда со звоном сыплются оконные стекла, порою грязный мяч врывается в развешанное на балконе белье, и тогда из окна возмущенно кричит какая-нибудь женщина в домашнем халате или выбегает во двор мужчина в пижаме и разгоняет мальчишек. На полчаса. А затем все начинается сначала.

Так или иначе, в следующее воскресенье Лизе удается вывести на воскресник почти всех соседей, кроме тех, кто накануне перепил и не в состоянии подняться. В колодце между новыми зданиями и нашим домом — настоящий трудовой праздник, а так как территория невелика, то уже к вечеру все клумбы вскопаны, аллеи намечены, на газонах посеяна трава, остается только цветы посадить и установить четыре скамейки — эту задачу берет на себя пенсионер, бывший когда-то лесничим.

Кроме пьяниц, только старики не принимают участия в благоустройстве двора. Я — тоже: Несторов все еще плох, и на меня возложены обязанности сиделки. Рыцарь не только не поправляется, но ему стало хуже — у него жар, он постоянно бредит. Врач говорит, что, вероятно, у него воспаление легких.

Только к вечеру удается подняться наверх и поесть. Трудовой энтузиазм Лизы лишил нас обеда. У нас сегодня гость; нетрудно догадаться, что это инженер Илиев. Дружба между ним и моей квартиранткой становится все более тесной. Иначе и быть не может: Владо принял решение, оно для него закон, а уж после того, как его чувство выдержало испытание

ребенком, ничто, конечно, не может помешать ему заключить брачный союз.

Я не любитель домашних пиршеств, и Лиза это знает. Должно быть, Илиев явился в нашу обитель по собственному желанию, с присущей ему непринужденностью, но, как ни странно, долго он у нас не задерживается: после ужина спешит к себе — поработать, наверстать время, упущенное днем по вине Лизы с ее блажными затеями.

Мы, как всегда, коротаем вечер вместе: Лиза — в своем кресле, я — полулежа на кровати.

— Когда я смотрел, как вы там сегодня вкалывали, — говорю я, — мне подумалось: вы все, за что ни беретесь, делаете с увлечением. Можно спросить почему?

— Не все, — отвечает она. — Но дело доставляет мне удовольствие и приносит радость другим. . .

— Это, конечно, от сознательности, — смеюсь я, — а призвание, призвание в чем?

— Я не уверена, что оно у меня было.

— А актерское поприще?

— Для него талант нужен. Не могут же все желающие стать актерами. Места на сцене не хватит. Особенно если все будут такие здоровенные, как я. И, если все полезут на сцену, кто останется в зале? Говорят, без зрителей нет актеров. Выходит, зрители тоже нужны.

— Хорошее оправдание придумали вы для капитуляции.

— Я над этим долго ломала голову, скрывать не стану. Оказаться на мели и не спросить себя, отчего и почему. . .

— Только оправдание, даже самое убедительное, ничего не меняет.

— Да это не оправдание, Тони! Это просто объяснение. Вы ведь бывали в театре.

— Сопровождал иногда свою жену.

— Ну вот: что такое театр? Сцена? Но на сцене, если взять ее отдельно от зала, находятся всего несколько человек, они ведут между собой какой-то чудной разговор — чудной, потому что пользуются

чужими, не своими мыслями и словами. Представьте себе, что посреди нашего двора несколько человек что-то кричат друг другу и гримасничают как ненормальные. Смешно, правда? Даже если это Гамлет или Макбет — все равно смешно. Но стоит представить себе три стены вокруг них, а вместо четвертой — большой, переполненный народом зал, — и все меняется. Это уже театр, правда?

— Конечно.

— А не кажется вам в таком случае, что именно маленькие люди делают жизнь — те, что в зале, или те, что в поле, или другие — те, что в заводских цехах. . .

— Насколько мне известно, жизнь делают не маленькие люди, а именно великие.

— Вы меня не поняли. Я знаю, великие люди ее вычерчивают, я знаю, что прежде чем построить новую машину ее надо придумать. Но именно маленькие люди строят эту машину, как муравьи строят муравейник, а пчелы — соты из воска.

— Ну ладно, — говорю. — Это и дети знают. К чему такой пафос?

— Но в этом и состоит главное призвание человека: приносить пользу другим. Раз ты создаешь что-то хорошее, полезное, значит, ты творишь. Взять хотя бы наш двор. Он десятки лет был бельмом на глазу, позорищем. А сегодня два десятка людей взялись за дело засучив рукава, и уже через месяц здесь будет сквер и вдоль аллей расцветут цветы. . . знаете, наверное, даже ваш орех станет теперь краше. . .

— Эти рассуждения напомнили мне слова Петко.

— Какие? — спрашивает Лиза без особого интереса.

— Как-то я ему сказал: «Боюсь, что у меня нет таланта». Знаете, что он ответил? «Это, говорит, хорошо. С талантом, браток, сплошная морока. Талант оскорбляет посредственность, вокруг него клубятся ядовитые испарения зависти, над ним парят на крыльях злобы стервятники — в общем, неуютно. Талант — это вовсе не лавровый венок, как воображают некоторые, а тяжкий крест».

— Это он хотел вас успокоить, — говорит Лиза.

— Нет. Вы же знаете, Петко не из тех, кто любит утешать. Талант и в самом деле вещь обременительная. Однако все мечтают нести это бремя, и мало кого прельщают мелкие роли мелких людишек.

— Вот ошибка — мечтать о том, что тебе не дано. Как вы с вашим романом.

Лиза обронила это с присущей ей бесцеремонностью, очевидно, даже не догадываясь, как больно ранит меня. Это в ее характере — брякнуть что-нибудь небрежно, как бы между прочим, как в тот вечер смазала небрежно по физиономии парня из «Славии»...

И когда поздно вечером, ворочаясь в постели, я дожидаюсь, пока передо мною откроется наконец мой лес и всячески стараюсь разогнать никчемные мысли, этот нечаянный удар все еще вызывает в душе ноющую боль, и я думаю: может быть, именно в этом моя, так сказать, драма — драма маленького человека, надеявшегося стать большим? И не потому, что возомнил себя талантом, а просто поверил в удачу. Знал, что до больших высот не добраться, но все же лелеял надежду, что своего добьешься: ведь тебе так легко все давалось, теория вероятности была, казалось, целиком на твоей стороне. Маленький Тони в погоне за Большой Удачей...

Глава одиннадцатая

Несторов уходит из жизни.

Он лежит в углу комнаты, на старой кровати, откинувшись на высокую подушку, ему хочется верить, что он сидит, а не лежит. По утрам Несси всегда настаивает, чтобы Лиза подняла ему подушку, и, хотя большую часть времени он проводит в забытьи, а порой и в бреду, он наотрез отказывается лечь пониже, словно боится, что смерть застигнет его внезапно, смирившимся, а не в гордой позе, как это полагается, когда предстоит встретиться с чем-то лицом к лицу.

На улице гуляет порывистый южный ветер, по голубому небу несутся белые облака, небольшая

вишня у прогнившей водосточной трубы уже покрылась белым цветом, а здесь, в комнате, все еще зима. Плотные шторы цвета черепицы опущены, по углам затаились холод, густой сумрак, и лишь тонкий солнечный луч пробивается сквозь щелку между шторами в полумрак комнаты и угасает над постелью больного.

Мне приходится подолгу сидеть в этой комнате, так как Лиза заботится и о своем отце, и обо всех нас, и я часто думаю, какие же мы, мужчины, ослы — окончательно превратили бедную женщину в прислугу, в домработницу под тем предлогом, что она нуждается в нашем покровительстве. Я часами остаюсь в этой неуютной, почти лишенной мебели комнате, которая годится разве что для непродолжительного пребывания — для того, чтоб переспать тут ночь и отправиться в дальнейший путь, а больше что в ней делать. И мне кажется, что этот человек, откинувшийся на высокую подушку и укрывшийся серой шинелью, жил здесь все эти годы как временно расквартированный, точно на биваке, как будто сегодня пришел, а завтра ему идти дальше, куда — об этом он узнает лишь перед тем как тронуться в путь, когда получит последнее назначение.

Теперь уже часы его сочтены. И маршрут, может быть как никогда прежде, заранее известен. Убеленный сединами Борец, укрывшись шинелью и погрузившись в забытье, будто ждет с закрытыми глазами не сигнала боевой тревоги, а меланхолическую мелодию отбоя.

Случается, он чуть заметно приподнимает отяжелевшие веки (он и будучи здоровым не столько смотрел, сколько щурил глаза) и, обратив на меня подозрительный взгляд, спрашивает: «А? Кто это?» Услышав ответ, Несторов воспринимает его с глубоким недоверием, однако выражать его вслух у него нет сил. Кажется, он нас уже не различает — меня и Илиева. Узнает одну только Лизу, поскольку она единственная женщина в доме и ее тут ни с кем не спутаешь и еще, может быть, потому, что она наделена способностью излучать какие-то флюиды, приносящие Борцу успокоение.

Несси уходит из жизни. Но прежде чем ему уйти, приходят двое мужчин и женщина, все без особых внешних примет. Единственное, что бросается в глаза, это официальное выражение лиц—словно пришли инкассаторы или работники райжилуправления.

— Мы от учреждения, — произносит один из инкассаторов.

— От какого?

— Пришли навестить товарища Несторова, — говорит женщина.

— Что-то вроде делегации, — добавляет третий, когда я ввожу их в гостиную.

Хорошо, что вы догадались это сделать, думаю я, хотя они вовсе не догадались — мне и невдомек, что сегодня утром Лиза сбегала в это самое учреждение и каким-то образом сумела добраться до директора и сказать ему: там человек умирает, как же это вы не навестите его хотя бы ради приличия; директор, естественно, спросил, кто умирает, и Лиза ответила: ваш бывший начальник, товарищ Несторов; директор кивнул — ах да, Несторов, ступайте к председателю месткома, он у нас занимается похоронами, на что Лиза возразила: я не говорю, что его уже надо хоронить, но человек умирает, вы понимаете, и никого это будто не касается. . . Да-да, идите к председателю месткома, он все уладит, успокоил ее директор, и она пошла в местком. Правда, председатель не сразу понял, о каком Несторове идет речь, поскольку сам он поступил на работу недавно, однако он поручил троим сотрудникам навестить больного и даже велел им взять в кассе денег на цветы, только кассир воспротивился: мол, такие расходы по смете не предусмотрены, если бы шла речь о похоронах — дело другое, но цветы для больного — такое никакой статьей не предусмотрено, и если завтра нагрянет ревизия, то, конечно, погорит не председатель, а кассир. Однако потом он как бы вспомнил о чем-то и открыл конторский шкаф. Верно, Несторов. Вот что вы можете ему отнести — эту вот медаль, она валяется тут не знаю сколько лет, спросить бы у тех людей, зачем они оставили у меня эти нероз-

данные медали, нигде ведь не написано, что я должен заниматься и медалями.

Таким образом, делегация пришла хотя и без цветов, но не совсем уж с пустыми руками.

Они стоят у порога, слегка ошарашенные мрачным видом комнаты, похожей на темную пустую пещеру или на какой-то коридор, в глубине которого на массивной кровати полулежит какой-то человек, укрытый походной шинелью.

Но как бы они ни были ошарашены, один из мужчин все же вспомнил о предстоящей церемонии, он машинально достал из бокового кармана красную коробочку и так же машинально вытер ее о свой пиджак.

— Ш-ш-ш, тихо! — шепчет Лиза.

Несси лежит в забытьи, или может быть, просто ждет, прикрыв глаза, когда зазвучит меланхолическая мелодия отбоя.

— Это что? — тихо спрашивает Лиза, подойдя к нам поближе.

— Да вот медаль, — отвечает тоже шепотом человек с коробочкой. — Это его медаль, не отослали раньше — адреса его не знали.

Услышав, должно быть, это перешептыванье, Несси открывает глаза. Его блуждающий, безразличный взгляд становится вдруг каким-то напряженным, даже испуганным. Может быть, все мы, пять человек, показались ему целой толпой — огромной, толпой народа в этом глухом помещении?. .

— Что? В чем дело? — спрашивает он еле слышно, и голос его похож на хрип.

— Делегация, — объявляет Лиза. — Пришли вручать вам орден.

При этих словах она делает у себя за спиной нетерпеливый жест, обращенный к делегации, — дескать, подойдите же! — и они неловко подвигаются вперед, настолько неловко и неохотно, что Лизе приходится слегка подтолкнуть того, что с коробочкой, чтобы он занял полагающееся ему при подобной церемонии место впереди всех. Поняв наконец всю важность своей миссии, он делает шаг вперед, театральным жестом поднимает вверх коробочку, однако

этот его жест оказывается преждевременным, так как слова, которые должны были его сопроводить, еще не придуманы, и, силясь их найти, он стоит в застывшей театральной позе, словно герой некоей пантомимы.

Больной все так же напряженно следит за нашей группой — он, как видно, озадачен странной позой человека с коробочкой и пытается вникнуть в смысл пантомимы.

— Орден вам принесли, награждают вас, — говорит Лиза и для пущей ясности указывает на эту самую коробочку, торжественно-красную, но все-таки ветхую оттого, что она столько времени валялась в канцелярской пыли.

Поощряемый бодрыми возгласами, больной в конце концов уставился глазами туда, куда нужно, то есть на коробочку, и, хотя точный смысл церемонии по-прежнему ускользает от него, он уже, кажется, понимает: должно произойти нечто весьма важное, нечто последнее, подводящее итог всей его жизни, потому что вдруг, упершись обеими руками в постель, силится встать.

— Погодите, я вам помогу, — говорит ему Лиза.

Но Несси не желает, чтобы ему помогали, особенно в такой момент, когда ему предстоит встретить кого-то лицом к лицу. Собрав последние силы (страшно смотреть на эти истощенные руки, упершиеся в матрац), он медленно поднимается и, прислонившись спиной к подушке, напряженно смотрит на поднятую руку с коробочкой.

То ли Несторов воспринял этот жест как боевой призыв, то ли думает, что ему предлагают отчитаться (отчитаться за что — за свое боевое прошлое, от которого он не отрекся, или за свою верность тому, кто смутно вырисовывается там, в полумраке на стене, тоже одетый в шинель — было поколение людей в шинелях), но лицо его вдруг обретает выражение достоинства, почти торжественности — с него словно ветром сдувает гримасу боли и невыразимых страданий.

Старик машинально стягивает на груди шинель, переводит на нас прояснившийся взгляд и шевелит губами.

— Да, — говорит он.

Слово звучит достаточно отчетливо, и все же до посетителей не доходит его смысл. Теперь уже они недоуменно смотрят на Несси, а сам он требовательно глядит на человека с протянутой рукой, видя в нем, очевидно, представителя этой толпы, этой оравы, нахлынувшей к нему в комнату.

И больной, и гости остаются в таком застывшем положении бесконечно долгий миг тишины. Наконец Несси, снова собравшись с силами, как бы пытаясь рассеять общее недоумение, говорит:

— Я отвечаю.

А так как пришедшие продолжают смотреть на него в упор, словно в ожидании, что он еще скажет, больной в третий раз собирается с духом и убеждает их:

— Борис Несторов готов отвечать.

Наверное, слова эти стоили ему неимоверных усилий, потому что, как ни старался Несси собраться с духом, духу у него явно не хватает, и он с каким-то страдальческим выражением открывает рот, пытаясь вобрать в себя еще один, последний глоток жизни, необходимый для того, чтобы успеть ответить за все. Потом он поднимает лицо к потолку, словно ищет, за что уцепиться, и взгляд его действительно цепляется за то единственное, что удалось отыскать в полумраке, — за луч света, пробивающийся между шторами, — и глаза медленно скользят по нему, но слишком он тонок и непрочен, этот лучик, ему не удержать грузное, отяжелевшее тело, и больной, вероятно, это понимает: голова его смиренно клонится вниз, и массивное тело безжизненно падает на подушку. В наступившей грозной тишине, застыв в нелепой позе, все еще держит красную коробочку стоящий перед нами человек.

— Антон, тебя вызывает Главный.

— А тебя?

— Да я только что от него.

Если так, думаю я, значит, ты наклепал на меня; я даже знаю за что.

Но перед тем как войти к Главному, я сталкиваюсь

со Стаменовым. Схватив мою руку, этот холерик трясет ее с такой силой, что мне становится не по себе.

— Очень, очень вам благодарны за помощь! — говорит он. — Правда, нам тоже досталось, но по заслугам, главное — дела стали налаживаться.

Он начинает подробно излагать, каким образом налаживаются у них дела, однако, вспомнив о чем-то и взглянув на часы, замолкает на полуслове и задает ничего не значащий вопрос:

— Когда снова к нам наведаетесь? У нас сейчас просто дивно — весна, сами понимаете!

— Да я бы не прочь приехать к вам, и надолго, — бормочу я вдруг, неожиданно для самого себя. — Есть ведь у вас там какая-нибудь многотиражка. . .

— А что, ругают вас? — Он участливо смотрит мне в глаза.

— Наоборот, хвалят. Но до того все приелось. . .

— Так в чем же дело? Приезжайте! Но с какой стати многотиражка? Наша провинция — не такая уж дыра. И у нас есть периодическая печать.

Он снова трясет мне руку, многозначительно бросая при этом: «Вы серьезно, не так ли?» и «Будем считать вопрос решенным!», и после его ухода я думаю растерянно, какой дьявол тянул меня за язык и с какой стати мне понадобилась многотиражка. . .

— Ай да Павлов! Опять мне свинью подложил! — радушно приветствует меня Главный, размахивая у меня перед носом каким-то машинописным текстом. Похоже, это моя рукопись.

— Завтра посыплются протесты, возражения, и телефон будет надрываться не у тебя, Павлов, а вот здесь, в этой комнате! — кипятится Главный, вскакивая. — И мне ничего не останется, как бросить все дела и давать объяснения! Можно подумать, мне больше делать нечего!. .

Он свирепо смотрит на меня, и я жду невообразимого разноса, но он вдруг, глубоко втянув воздух, замолкает. Просто диву даешься, как этому вспыльчивому человеку удается овладеть собой в минуты гнева. Должно быть, он вовремя вспоминает совет врача: избегайте волнений, не то с вашим сердцем, при вашем давлении. . .

Главный продолжает молчать, глубоко дыша, засунув в карманы обе руки — то ли он сжал кулаки, то ли пытается найти в карманах какие-то доводы; я склоняюсь к первому предположению, потому что, обойдя письменный стол, он подходит ко мне, не вынимая кулаки из карманов. Потом спрашивает:

— Можеть, я ошибаюсь? Может, это не ты писал о Западном парке?

— Я.

— Почему же ты не привел доводы горсовета?

— Привел.

— Выхватил две фразы, чтобы поиздеваться? А Янков говорит, они признают критику. Они звонили и сказали, что меры приняты.

— Янков мне этого не говорил.

— Так я тебе говорю! — кричит шеф, воинственно выпячивая брюхо.

— Нет ничего проще забраковать материал и прикрыть явное безобразие. . .

— Ты мне брось этот тон! — снова кричит Главный. — Говори по существу.

— Что тут говорить? На территории парка развернули строительство гаражей, складских помещений, мастерских. Население прилегающих кварталов в панике. Посылаем запрос, а нам обещают разобраться, осмотреть все на месте. А чего смотреть? Все ведь на виду. Потом скажут, что уже принимаются меры, а мы-то знаем, как они принимают меры. . .

— Но это же твои домыслы, Павлов! — угрожающе произносит шеф, и мне кажется, что он вот-вот снова взорвется.

— Не домыслы, — отвечаю я. — Поезжайте на место и убедитесь: стройка не утихает.

— Когда ты там был?

— Вчера. Я же вам говорю: строят день и ночь. И разговоры телефонные нужны им только для того, чтобы выиграть время. Они знают: то, что будет построено, разрушать никто не станет, и спешат настроить как можно больше.

— Придется мне съездить посмотреть, — ворчит шеф.

— Не худо было бы.

— И уж тогда кто-то из вас двоих загремит! — обещает Главный.

Загремит Янков, думаю я. Наверное, что-то ему посулили, если он взялся помариновать материал и обработал Главного, даже не удосужившись проверить, что происходит в парке. Понижение он себе обеспечил.

— Придется тебе временно принять отдел, — говорит мне Главный на другой день. — И, чтобы я не артачился, добавляет: — Подчеркиваю: временно!

— Понял, — киваю я. — Только мне это сейчас некстати.

Шеф отрывает глаза от бумаг и с любопытством смотрит на меня:

— В смысле?

— Я бы хотел уйти из редакции, если не возражаете.

— Что, тоже собрался бежать на телевидение?

— Скорее, на периферию.

— А! — Главный явно озадачен. — На какую работу?

— На такую же. — Чтобы он не приставал с расспросами, я объясняю: — Вы же сами мне говорили про древнего Антея. Эта ваша мысль на меня сильно подействовала. Так что я решил: если уж стоять на этой земле, то обеими ногами.

Главный опять испытующе смотрит на меня и во взгляде его я читаю: «Ты меня за идиота принимаешь?» Потом он снова склоняется над бумагами.

— Дело твое.

Он явно растерян. Растерянное лицо властного римлянина — зрелище весьма забавное. Неужели скромная моя персона может вызвать особый интерес у человека, задерганного редакционными неурядицами, настолько задерганного, что рано или поздно это неизбежно закончится инфарктом.

— Может, ты решил снова жениться? — любопытствует шеф, не отрывая глаз от бумаг.

«Именно этого я стараюсь избежать», — следовало бы ответить, но я предпочитаю солгать:

— Боюсь, что вы угадали.

— А чего тут бояться? — добродушно басит Главный, все так же склонившись над рукописями. — Мокрому дождь не страшен. Тонул ведь однажды.

Он больше ничего не говорит, видимо, успокоенный мыслью о том, что ухожу я не ради того, чтобы ему досадить. Возможно, Главному все равно, что я о нем думаю, но если вспомнить, что когда-то он был другом моего отца. . . Да отчасти и моим. . .

Уйти после того как тебя вышибли, — в порядке вещей. Но уходить, когда тебя никто не гонит, мало того — когда тебя собираются повысить? Это уже интересно. Трудно сказать, почему я так поступаю: ради интереса или потому, что во мне опять заговорил тот сумасбродный, упрямый мальчишка, который сел на мостовой, когда другие по ней шагали. Может быть, это просто бегство от Бистры, которой не терпится прибрать меня к рукам. Если она перейдет в решительную атаку, мне несдобровать. А может, это запоздалая реакция на давнишний совет Петко — выбраться из консервной банки, избавиться от пут повседневности. Иной раз до меня не скоро доходит, так что ничего удивительного, если идея этого чокнутого только теперь отозвалась в моей голове. . .

Комнатушка Янкова целиком отдана в мое распоряжение. Мой бывший начальник уже успел вытряхнуться и, вероятно, взял отпуск, чтобы в одиночестве зализать свои раны, не особенно, впрочем, глубокие. Ничего, всплывет.

А отдельный кабинет, пусть временный, очень мне кстати. Я начинаю это понимать, когда слышится робкий стук в дверь и ко мне заглядывает какая-то дама. Когда к тебе наведываются дамы, всегда лучше иметь отдельную комнату.

— Товарищ Павлов?. . Не знаю, помните ли вы меня. . . Я. . .

«Вторая жена вашего отца», — мысленно заканчиваю я недосказанную фразу.

— Помню, конечно. Прошу вас.

Да, помню. Когда его хоронили, был адский холод, и мне казалось: это ни на что не похоже — держать

человека в гробу в одном костюме. Был холод, дул ледяной ветер, и мерзлые комья земли падали на крышку гроба точно камни — как будто в отца бросали камнями, — а напротив, по другую сторону могилы, опустив голову, стояла немолодая женщина — вторая жена моего отца.

Неловко присев на краешек стула, она бросает на меня виноватый взгляд, как бы проверяя, не шокирует ли меня ее внезапное появление, — и говорит:

— Может, я зря пришла, зря вас беспокою. . . Я долго не решалась, но потом сказала себе: столько времени прошло, нельзя больше откладывать.

Она открывает потертую коричневую сумочку, достает какой-то конверт и кладет его на стол.

— Это письмо вашего отца, он вам написал его. Я его обнаружила два месяца назад, до этого мне и в голову не приходило заглянуть в папку с его рукописями, я думала, это черновики его статей, какие-нибудь заметки, и берегла их просто так. . . А однажды стала их перебирать, увидела это письмо и прочла — я понимаю, неприлично читать чужие письма, но я прочла, сознаюсь.

Конверт совершенно новый и, наверно, не имеет ничего общего с письмом отца. Я беру письмо и кладу его в карман. Не буду же я сейчас читать его вслух, тем более что она его уже прочла и ей будет неинтересно. В этот момент мне становится немного не по себе: там, в кармане, хранится фотография Бистры, это же святотатство — письмо покойника вместе с фотографией, на которой изображена голая женщина, — но, ощупав карман, я убеждаюсь, что фотографии нет. Должно быть, я ее потерял.

— Когда, по-вашему, он мог написать это письмо? — спрашиваю я, просто чтобы не молчать.

— Вероятно, когда он уже слег. Он ведь всегда писал на машинке, а это написано авторучкой — где зачеркнуто, где перечеркнуто, обрывается на полуслове. . . Видимо, у него тогда была температура, иначе стиль письма был бы более ровным.

Надо же: «стиль».

— Да-а-а, — говорю я. — Все так неожиданно. . .

— Как гром средь ясного неба, — соглашается моя гостья.

Она так застенчива, неловка, так скромно одета.

— Вы кем работаете, простите за нескромность?. .

— Я машинистка.

Ох уж эти машинистки, думаю я, вспомнив Лизу.

— Как гром средь ясного неба, — повторяет она. — Развод, брак, смерть — какой-то кошмар. Очень уж торопилась судьба наказать нас.

— Наказать за что?

— За ошибку. . . за грех, — отвечает она чуть слышно.

— Какой грех? Вы ведь любили друг друга?

Женщина смотрит на меня почти со страхом, пытается что-то сказать, но у нее дрожит подбородок. Закрыв лицо ладонями, она вся содрогается в беззвучных рыданиях.

Хорошо, что в беззвучных. Редакция — не самое подходящее место для таких сцен.

— Любили ли мы друг друга? — повторяет она мой вопрос, успокоившись, но все еще дрожащим голосом. — Десять лет длилась эта агония. . .

«Что вы?» — хочется мне спросить, как спрашивает обычно Лиза, но я молчу.

— Это я виновата. Я с ума сходила по нему. Для меня он был самый чистый человек Я виновата, а ушел он.

Ну и ну: с ума сходила! Нашла по ком сходить с ума.

Женщина собирается еще что-то сказать, но, вероятно, подумав, что неприлично говорить с сыном о таких вещах, прячет в потертую пластмассовую сумочку носовой платок и встает.

— Если бы вы знали, с каким страхом я шла сюда. . . Прогонит меня, думаю, таких вещей не прощают. . .

— Выбросьте это из головы, — говорю я и тоже встаю. — Вы ни перед кем и ни в чем не виноваты. Каждый имеет право на любовь — хотя бы на одну любовь за всю жизнь. Иным удается и больше. . .

Я подаю ей руку, она пожимает ее своей худенькой

бледной ручкой и в последний раз смотрит испытующим взглядом мне в глаза, словно все еще не веря, что я не шучу.

Не знаю, почему это люди считают, что я их разыгрываю.

Оставшись один, я сую руку в карман и достаю конверт. Письмо — измятое, кое-как нацарапанное на клочке бумаги — похоже на черновик и состоит из одного-единственного предложения. Быстро пробежав его глазами, я уже собираюсь спрятать его, но вместо этого опять разворачиваю листок и читаю вторично. Не такое уж оно длинное, чтобы не прочитать его дважды.

«Антон,
в последнее время я все чаще думаю о тебе, да, не о матери и не о себе, а о тебе, потому что мы с матерью уже в прошлом, и мне приходит на память, как однажды — тогда ты был еще совсем маленький — я чуть было не уронил тебя, когда мы с тобой очутились в жуткой толпе после какого-то матча, и как я с ужасом повторял про себя: «Вот сейчас уроню ребенка, пропал мой ребенок», и теперь, когда я думаю о тебе, мне снова становится так же страшно и больно оттого, что именно теперь, после стольких лет, я чувствую, что упустил тебя, бросил на произвол судьбы, оставил одного посреди дороги с пустыми руками, ничегошеньки тебе не дал, мне даже кажется, будто я вижу, как зябнешь ты в одной рубашонке в этом холодном мире, и я говорю: если ты меня не любишь, то выбрось меня совсем из своего сердца и с ожесточением скажи при этом, что ты не пропадешь, мало того, что не пропадешь — ты добьешься всего, чего я сам не сумел добиться. . .»

Ясно, он это писал, когда лежал в жару, думаю я, пряча письмо в карман. При нормальной температуре он бы ничего подобного мне не сказал. Может быть, вся наша трагедия именно в том, что мы становимся нормальными, чуткими, только когда у нас подскакивает температура?. .

Звонит телефон. Подняв трубку, я слышу голос моего знакомого из милиции.

— Можешь успокоить свою приятельницу, — говорит он. — Компания уже под следствием. А чтобы они возместили стоимость перстня, ее мать должна предъявить иск.

Пусть предъявляет. Если ей больше делать нечего. Поблагодарив, я кладу трубку, почему-то не испытывая и тени радости от победы. От победы? От чьей же? Во всяком случае, не моей. «Живи, пускай умирают другие» — был такой фильм, но не по моему сценарию. У нас с Петко сценарии были иные. Но теперь и их нет. Так что мне не остается ничего другого, кроме как заняться читательскими письмами.

Лиза купила себе два весенних платья и примеряет их одно за другим, чтобы решить, какое надеть вечером — Владо пригласил ее в ресторан.

— Ну и как? — спрашивает она, медленно поворачиваясь на пороге чулана.

«Мне кажется, эти пионы слишком вызывающе цветут на вашей заднице», — надо было бы ответить. Но я ограничиваюсь более скромным замечанием:

— Пожалуй, надо снять поясок.

— Но он подчеркивает талию, — твердит Лиза, осматривая себя в сонных, застывших водах облезлого зеркала.

— И чересчур подчеркивает то, что ниже талии.

— Какая же это мука — быть нестандартной! — вздыхает она, снимая поясок.

— Так лучше, — бубню я.

— Ну разве я такая прямоугольная, Тони? У меня есть талия.

— Вот и радуйтесь.

— Да, но так она не заметна.

— Наденьте-ка другое платье, — говорю я, чтобы прекратить спор.

Лиза уходит в чулан, затем снова появляется, на сей раз в одной комбинации.

— Другое вообще без пояса. . .

— Тем лучше. Надевайте его. Впрочем, если хотите знать мое мнение, вам лучше всего в таком вот наряде, как сейчас.

— Как вам не стыдно.

— Постойте-ка, — говорю я. — Поднимите руки и сложите их на затылке.

— Что еще за фокусы?

— Сложите, сложите, я вам объясню.

Она послушно принимает предложенную мною позу.

— Да, — киваю я. — Так действительно лучше всего. Так вы похожи на голых женщин, которых я видел в одной книге, когда был маленьким. Вы же знаете, детские воспоминания — вещь опасная. . .

— Тони, что это с вами? — спрашивает Лиза и, опустив руки, озадаченно глядит на меня, словно желая удостовериться, не болен ли я случайно.

— Нет-нет, я не болен, — говорю я. — Просто я пытаюсь оценить ваши сильные и слабые стороны.

— Слабых сторон у меня нет, — тихо говорит Лиза. — Ищите слабые стороны у ваших любимиц.

— Но вы же сами сказали, что Беба похожа на вас, — напоминаю я.

— Ее Бебой зовут? Я не ее имею в виду, а ту, что на фотографии.

— На какой фотографии?

— А на той, что валяется вон там, среди газет.

Бедная Бистра. Если бы она знала, что ее фотокарточка валяется в куче старых газет.

— Она вам не нравится? — спрашиваю я. — Конечно, она не похожа на ту кошку из журнала, но все-таки. . .

— Обе они одинаково голые и одинаково бесстыжие. Но, может, такие именно вам и нравятся.

— Это не мой вкус. Это моя жена, — говорю я Лизе. — Точнее, бывшая.

— Тогда извините.

«Бывшая! — слышишь? — повторяю я про себя. — И зачем извиняться?»

Лиза снова ненадолго исчезает в чулане.

— А теперь как?

На этот раз она являет собой образец элегантности.

Может быть, она чуть полновата, но не лишена очарования. Зимние туфли заменены гораздо более легкими и приличными. И я вдруг думаю, как хороши ее темные кудри и звучная зелень черешен в серьгах. От любви люди хорошеют.

Лиза снова неторопливо поворачивается. На этот раз не пионы меня смущают, а какие-то серые и белые разводы, которые, по моему разумению, больше годятся для гардин.

— Недурно, — констатирую я. — Но много ли значит мое мнение? Посоветуйтесь с Владо.

— Зачем мне советоваться с ним? — возражает Лиза. — Пускай Владо принимает меня такой, какая я есть.

— Что ж, пускай. Переселяйтесь к нему — и дело с концом.

— Но сперва мы должны расписаться.

«Бережете девичью честь? Что ж, похвально», — мысленно одобряю я ее. А вслух говорю:

— Но ведь он уже добился разрешения на комнату Несторова.

— Вот этого я ему никогда не прощу, — хмурится Лиза. — Не успел человек умереть, а он уже побежал требовать его комнату.

— Если он чуток и поторопился, это ничего не меняет, — говорю я. — Не может комната вечно числиться за покойником.

— Этого я ему не прощу, — повторяет Лиза. — Мне даже трудно себе представить, как я буду вселяться в комнату бедного Несторова.

— Это уже не его комната, — напоминаю я ей. А так как Лиза продолжает позировать, я добавляю: — Ни за что бы не подумал, что вы так суетны.

— Да разве это суетность — желание понравиться?

— Думаю, что да.

— А разве не суетность, что вы напрочь не желаете нравиться и даже стараетесь произвести дурное впечатление?

— Над этим я не ломал голову, но не исключено, что и это суетность. Мужская суетность более неприятна, чем женская. Она скрытая.

— А вот Владо суетностью не отличается, — говорит Лиза, усаживаясь в кресло.

В самом деле, как идут ей новые туфельки, новое нарядное платье.

— И Петко не свойственна суетность, — отмечаю я, но Лиза не поддерживает этой темы. Тогда я перевожу разговор: — Владо не злится, что вы все еще живете у меня?

— Представьте себе, нет! Он, наверное, не ревнивый.

То, что он не ревнив, начинает меня задевать. Ранит мое самолюбие. Будь это не Лиза, а какая-нибудь Бистра, я бы ему наставил такие рога, что он запомнил бы меня на всю жизнь.

— И в самом деле странно, что ему все равно, — тихо, словно сам с собой рассуждаю я.

— Это вас злит, как я вижу? — спрашивает Лиза. — Этот чулан вам покоя не дает?

— Напротив, мне он ни к чему. Думаю. скоро я уступлю его вам вместе с комнатой.

— С комнатой?

— Именно. Я уезжаю.

— Уезжаете?. .

Она уже начинает мне досаждать этим повторением моих собственных слов. Она смотрит на меня полуоткрыв рот, словно не веря.

— Решил сменить местожительство, — говорю я. — Один мой покойный приятель сказал как-то, что надо уметь выбраться из консервной банки повседневности. Я совсем было запамятовал этот мудрый совет, но теперь вспомнил и решил им воспользоваться.

У Лизы совершенно ошарашенный вид. Можно подумать, будто отбываю не я, а Владо.

— Значит, вас уже тут не будет во время свадьбы?

— Уж не думали ли вы сделать меня посаженным отцом?

— Нет, просто так. . .

— Мысленно я буду с вами, — уверяю я ее. — Мы с вами достаточно прожили вместе, чтобы не сомневаться в этом.

Лиза молчит. Она неторопливо поднимается и так

же неторопливо уходит в свой чулан, а я продолжаю оставаться на кровати в полулежачем положении и спрашивать себя, почему все вышло так глупо с этим моим отъездом.

Последние дни я могу вечерами оставаться один, так как Лизе и Владо не сидится дома — им хочется вдоволь насладиться холостяцкой жизнью. А чтобы эта жизнь не оказалась слишком разгульной, они проводят ее вместе.

Эти последние дни Лиза сторонится меня, и, даже когда мы остаемся наедине, она не заводит обычных разговоров, предпочитает молчать или довольствуется будничными фразами, вроде «Выключить радиатор?» или «Хотите кофе?». Вероятно, этот холодок залег между нами еще в тот раз, когда я сообщил ей о своем предстоящем отъезде. Странная женщина. Может, ее расстроило то, что она лишилась посаженного отца. Или, может, вообразила, что мы поженимся втроем: она, я и Владо, и мы с нею по-прежнему будем жить наверху, а Владо — корпеть внизу над своей работой?

Впрочем, я рад за нее. Теперь, когда Несси ушел в мир иной, а я уезжаю, этот мрачный приют потерпевших кораблекрушение обретет наконец приветливый вид семейного гнездышка. Тут достаточно места и для новобрачных, и для престарелого отца, и для Петьо — в общем, здесь будут все свои.

Да, я рад за нее. Наконец-то ей удастся создать для себя какой-то уют — придут маляры, покрасят закопченные стены, может быть, запах свежей краски все же пересилит упорный дух плесени.

Да, я по-настоящему рад за нее, имеет же она право на спокойную жизнь, семейное тепло и чистые отношения после стольких лет горечи и грязи.

И если я проявляю некоторое пренебрежение к ее жениху, то по крайней мере сознаю, что это от зависти, ибо у него есть все, чего недостает мне самому, — внутреннее равновесие, уверенность в себе, творческая работа, ясная цель в жизни, а теперь у него будет еще и Лиза.

Раз ты им завидуешь, размышляю я, значит, у них все в порядке. Если бы это было не так, ты бы не стал завидовать.

А кстати, почему я завидую?

Может быть, все исходит из порочного убеждения, в котором ты даже не даешь себе отчета, но которое таскаешь где-то глубоко в себе с тех пор как себя помнишь? Убеждение, что другие что-то тебе должны, хотя ты твердишь вслух, что никто ничего тебе не должен. Другие тебе должны предоставить место, которое, по твоему разумению, тебе полагается. Должны оценивать тебя именно так, как ты сам себя оцениваешь. Другие должны в какой-то мере отвечать твоему идеалу, иначе ты утратишь веру в идеал.

Однако они не склонны оценивать тебя так, как тебе хочется, если вообще тебя замечают. Так же как не склонны шарахаться в сторону, чтобы дать тебе дорогу. Как не склонны и приноравливаться к твоему идеалу.

Ты судишь о других сообразно своему идеалу, а затем посылаешь ко всем чертям этот самый идеал, поскольку жизнь его опровергла. Словом, ты ставишь на всем крест, подводишь баланс, и тебе становится легко, как обычно бывает в таких случаях. Но только в самом начале, пока до тебя не доходит, что ты поставил крест на себе самом.

А теперь-то понял, после письма, полученного от покойного отца? Сколько ты ни копаешься в своей памяти, ты не в состоянии откопать больше двух-трех добрых дел. Но тут есть и неприятный нюанс: ты их сделал несознательно. Ты не нашел времени подумать, стоит ли их делать, потому и сделал.

Да, твой наметанный глаз не может не заметить что-нибудь скверное. Червячка в теткином салате. Но что пользы, если скверное ты замечаешь, а к красивому равнодушен. Если красивое для тебя — не более чем салат без червячка.

Нет, здесь я, пожалуй, хватил через край. Беба, к примеру, тоже красивое. Поистине безупречное лицо мадонны, идеально выписанное. Настоящая непорочная мадонна, если не видеть всех остальных прелестей.

Когда я иду проститься с Бебой, я застаю ее в состоянии некоторого оживления. Моя приятельница определенно горит желанием сообщить мне какие-то новости, но, будучи человеком методичным, она придерживается принципа: всему свое время.

— Куда ты меня поведешь?

— На этот раз — никуда, это наш прощальный вечер, я уезжаю, и было бы святотатством прожигать его в ресторанах.

— Уезжаешь?

И эта начинает повторять мои слова. И этой приходится объяснять.

— А, все же это не столь далеко, — прикидывает Беба, выслушав мое объяснение. — При желании каждый день можно наведываться.

Беба (в отличие от Лизы) умеет во всем видеть земную, практическую сторону.

— Каждый день едва ли, — возражаю я. — Но достаточно часто, чтобы предотвращать кое-какие твои измены. Хотя бы кое-какие — и то хорошо.

— Тебе ведь известно, что любовь у меня следует за покером, — напоминает Беба. — Так что, если ты напрочь меня не забудешь, измена тебе не грозит.

А когда часом позже мы садимся на кухне за стол (я вроде уже говорил, что̀ это за чудо-кухня), хозяйка пускает в ход свой козырь:

— Жорж переметнулся!

— Ты уверена?

— Еще бы! Туристская поездка на пароходе в Вену. Но из Вены пароход вернулся без Жоржа.

— Тебе не позавидуешь. Где ты теперь такого делягу сыщешь?

— Скорее, тебе не позавидуешь, — не теряется Беба. — Если бы ты знал, чем тебе пригрозила Бистра!

— Я знаю.

— А! — догадывается моя подруга. — Так вот почему ты решил бежать?

— Отчасти поэтому.

— Бедная Бистра. Совсем останется с носом.

— Она не пропадет. С такой квартирой. . .

— Квартира! — пренебрежительно морщится Беба. — Мужчины, Тони, жутко обнаглели. Одной квартиры им мало.

— Но при такой, как у тебя. . .

— Нет уж, дудки! Трутня я не потерплю. Меня больше всего на свете пугают две вещи: мыши и брак.

Я рассеянно слушаю, рассеянно отвечаю на ее вопросы, а про себя думаю о Жорже, который сбежал. В таком случае пора и мне сматывать удочки. Прощай, Биси. Прощай, Лиза. Что касается Бебы, то впереди еще целая ночь, успеем попрощаться.

В самом деле, пора. Мыши — это еще куда ни шло. Но брак. . .

Начинается лето, начинается новая жизнь. Впрочем, я уже два месяца здесь, в этом небольшом городе, центр которого смотрится куда приветливее, чем центр Софии. Особенно хороша зона, закрытая для движения автомашин, вымощенная мраморными плитами, с новыми магазинами и кафе в укромном уголке — тут на террасе есть несколько столиков, ютящихся среди декоративного кустарника, пышно разросшегося на газонах. Только шарить в тех кустах бесполезно — я точно знаю, что портфеля с долларами там нет.

Два месяца — срок вполне достаточный, чтобы наладить быт, привыкнуть к работе в местной газете и чтоб ко мне привыкли здешние люди, завести друзей и самое главное — врагов. Без друзей человек еще как-то может прожить, но без врагов — это немыслимо. Если у тебя нет врагов, ты расслабляешься, успокаиваешься, впадаешь в летаргию. Враги придают тебе силы, заставляют быть всегда начеку, работать не покладая рук и вообще показывать, на что ты способен и как ловко ты умеешь утереть всем нос.

Правда, настоящих врагов у меня пока что нет, и от этого мне немного не по себе. Мелькнет тут или там какой-нибудь мелкий завистник, пробубнит у меня за спиной: «А этому чего не сидится в Софии?» — или прокомментирует мой потрепанный вид. Материал о трубах создал мне устойчивую популярность, которой, боюсь, я не заслуживаю.

По-современному отстроенный центр — светлый и приятный, но если говорить о квартире, то меня нисколько не тянет к этим новым постройкам, к которым все так рвутся. Может быть, поэтому у меня еще нет

врагов. Я устроился в солидном старом доме с уютным двориком, защищенным от городской суеты высоким каменным забором. Цветник, дорожки, мощенные плитами, и несколько деревьев, среди которых есть молодой орех. Конечно, это не то могучее дерево, что высоко поднимается над моим бывшим домом, это его младший родич, которого словно нарочно прислали мне, чтобы я не порывал связь с древней династией орехов.

Дом двухэтажный и весь в моем распоряжении, если не считать детей. Потому что дети тоже здесь, и это вполне естественно — было бы поистине жестоко с моей стороны оставить их в интернате, чтобы в один прекрасный день, выпросив у воспитательницы разрешение сходить к дяде в гости, они пришли к старому дому, а им навстречу вышла бы Лиза и сказала: «Вашего дяди нет и не будет»

Так что дети у меня — хоть этот вопрос я сумел уладить, правда не без досадных формальностей. Румяна уже в первом классе, а Гошо ходит в детский сад, и под вечер, когда Румяна приготовит уроки, они оба уходят во двор соседки, немолодой вдовы, у которой тоже двое детей, а где двое, там и четверо.

Вообще дети не отнимают у меня много времени, девчонка даже помогает мне по хозяйству — вместе со вдовой, конечно, которая самоотверженно справляется с более трудной работой и не угрожает моей репутации, поскольку возраст у нее уже не тот.

Всего лишь два месяца, а мой быт вошел в нормальное русло, он четко размечен и привил мне массу привычек. Просто диву даешься, как это человек, едва выбравшись из одной консервной банки, ухитряется так быстро влезть в другую. И все же между той и другой есть некоторая разница — сдвинув шляпу набекрень, ты можешь с полным основанием сказать себе: жизнь начинается!

Подходить к своему сорокалетию и радоваться тому, что жизнь начинается, — это не что иное как издевательство над самим собой. Но у меня такое чувство, будто я медленно и мучительно просыпа-

юсь после долгой спячки. Медленно и мучительно, как это бывает, когда накануне вечером примешь двойную дозу люминала. Я просыпаюсь, я уже проснулся, я уже стою на обеих ногах — подбадриваю я себя, чтобы ускорить процесс и вдохнуть наконец радость. Хотя проснуться для того, чтобы отпраздновать свой сороковой день рождения — не такая уж большая радость.

И все-таки факт остается фактом — я просыпаюсь. Встав с постели, я готовлю детям завтрак, поднимаю их при помощи радио, а проводив — кого в школу, кого в садик, — принимаюсь, как обычно, за самое нудное занятие — бритье. Потом я иду в центр, чтобы прогуляться и просмотреть газеты в укромном уголке позади кафе. В голове назойливо зудит мысль, что мне не мешало бы соорудить какой-нибудь сценарий документального фильма и написать книжку для детей, так как теперь у меня есть дети, а дети требуют дополнительных расходов. Сделаем, успокаиваю я себя, и это сделаем. И иду в столовую, чтобы получить обед на дом, а когда вхожу в наш двор, дети уже там, и Румяна торопится сообщить, что Гошко научился говорить гадкое слово, и я внушаю ему: избавь ты свою психику от подобной мерзости, это не украсит твой литературный стиль — словом, у меня вошло в привычку говорить с ним, как со взрослым, пускай привыкает: раз теперь даже простые люди подражают дикторам телевидения, Гошко не должен оставаться белой вороной.

После обеда я усаживаю Румяну готовить уроки, обещая, что, если у нее не все получится, вечером ей помогу, и ухожу в редакцию, а в редакции — как во всякой редакции, нет нужды подробно рассказывать, что там да как.

Вот так, в мелких делах и заботах, проходит мой день, и мое призвание, как сказала бы Лиза, сводится к тому, чтобы всегда быть при деле, работать там, куда меня поставили, вместо того чтоб рваться на сцену: постепенно я свыкаюсь с ощущением, что больше не болтаюсь на плоту «Медузы», а если даже я все еще там, то уже расстался с группой смирившихся жертв,

потому что нельзя смиряться, если у тебя двое детей и масса забот.

Да, может, я все еще не покинул плот — не будем спорить, — однако мое место теперь среди тех, кто напряженно всматривается в далекую линию горизонта, где маленьким белым зайчиком светятся паруса Надежды.

Поздно вечером я вытягиваюсь на кровати, сквозь распахнутое окно доносятся далекие ночные звуки, гудок вечернего поезда, собачий лай и тихий шелест моего ореха, я уже готовлюсь совершить свою обычную прогулку в лес, в этот изменчивый и странный лес моих сновидений, и вдруг вижу, что на тропинке, ведущей к лесу, стоит Лиза.

— Смотри-ка ты, словно из-под земли выросла! — изумляюсь я.

— Вовсе не из-под земли, — отвечает она, как всегда равнодушно. — Я гуляю. А тебе что надо?

— Как это — что надо? — возмущаюсь я.

Ничего-то она не понимает, эта женщина. И так как она ничего не понимает, я пытаюсь ей втолковать, что сейчас, именно сейчас больше, чем когда-либо, мне нужен счастливый эпилог. Вся эта история могла бы иметь сто разных окончаний, но сейчас мне больше, чем когда-либо, нужен хороший вариант — не потому, что я пишу роман, и не потому, что хорошие варианты так редки в человеческой жизни, а просто потому, что не может и не должно все кончаться наоборот, правда же, и потому, что эпилог бедняцкого счастья — та веточка, за которую я ухватился, чтобы не рухнуть в пустоту, подобно тому, как в свое время моя тетушка вцеплялась костлявыми пальцами в меня, чтобы не рухнуть в бездну истерики. Истерика! Истерика — пустяк. Бывают бездны и пострашней.

— Что-то ты стал не в меру болтлив, как перебрался в провинцию, — замечает Лиза. — Прежде, когда мы жили вместе, ты не был таким болтливым. . .

— Скажи лучше, — спрашиваю я, — как у тебя дела с Владо?

— А тебе какое дело? Ты уехал, и ладно.

— Да, уехал, — говорю. — Чтобы ты не воображала,

будто ты мне нужна. Тем более, что у тебя уже был жених. И без меня ты вполне могла обойтись.

Конечно, могла обойтись. Не исключено даже, что ты больше нуждался в этой гусыне, чем она в тебе. Нуждался, чтобы поменьше копаться в самом себе, чтобы поменьше думать о собственной персоне, чтобы ты не воображал, будто с тебя начинается и тобой кончается все на свете, и не мерил всех и вся на свой аршин, а чтобы разглядел в себе сомнительную величину сложного и запутанного уравнения, где, кроме икса, игрека и зета, мельтешат и все остальные буквы алфавита. Это дало тебе ощущение, что, будучи сомнительной величиной, ты все же занимаешь какое-то место в уравнении, что если ты не приносишь пользу самому себе, то можешь оказаться полезным для другого. Пусть в малом. Пусть временно.

Я ее вижу на тропинке так ясно, так отчетливо, как видел в тот вечер там, у себя в комнате, когда, примеряя платье, она спрашивала: «Ну и как?», не подозревая того, что самой привлекательной она казалась мне во время паузы между двумя платьями. Я вижу ее вполне отчетливо, хотя понимаю, что это мираж, — я давно убедился, что миражи мы видим более отчетливо, нежели реальность.

Не валяй дурака, говорю я себе, это Лиза-мираж, а настоящей Лизы тебе больше не видать, поминай как звали. Она прошла по твоей жизни безвозвратно, как и по жизни некоторых других типов. Выполнила свою задачу, может быть, сама того не сознавая, разбудила тебя — и привет. Особенно тебе не досаждала, ведь человек, который вас будит, обычно вызывает такую досаду, что хочется крикнуть: «Убирайся ко всем чертям!» А теперь, когда я уже пробудился от спячки и обнаружил, что ее нет, меня не покидает ощущение, что этой идиотки мне ужасно не хватает.

Я снова ее вижу в тот прохладный осенний вечер в тонком летнем платье стоящей на тротуаре перед домом. «Я бы хотела поговорить с вами». И несколько позже, сидящей в старом кресле — ее темные глаза озабоченно смотрят мне в лицо: «Вам, Тони, кажется,

что вы делаете открытия, а на самом деле вы нагоняете себе температуру». И в другой раз, когда я ей говорю, что нечестно смеяться только в присутствии инженера, и она улыбается мне своей светлой, лучезарной улыбкой. И позднее, когда она стоит посреди ночной улицы, словно Орлеанская дева, решительно зажав в кулаке пилку для ногтей. И еще позже, когда ее до слез растрогал убогий перстень: «О, Тони, не ожидала этого от вас!», и когда она смотрит мне в лицо увлажненными глазами и обнимает меня красивой белой рукой, а я повторяю про себя, что надо держать ухо востро, как бы не угодить в пропасть. . . Мне все казалось, что я ее спасаю, на самом же деле было наоборот — она спасала меня. Хотя и сама она не меньше моего нуждалась в помощи. Если я болтался в житейском море, как пробка на воде — в самом деле, чем я был лучше пробки? — то Лиза металась в разные стороны с тем же нулевым результатом, не считая случаев, когда рисковала совсем увязнуть в какой-нибудь заварушке. Вот до чего можно дойти — чтоб такая тебя спасала!. .

Мне ее недостает, говорю я себе.

Тебе вечно чего-нибудь недостает.

Что же ты, собственно, в ней видишь? Женщину? Но она никогда тебе не принадлежала, хотя, если бы ты захотел овладеть ею, это могло бы произойти в первый же вечер.

Тогда что? Лекарство? Горчит она — как всякое лекарство.

Или, может быть, собеседника? Ее рассуждения не стоят и того, чего стоят рассуждения Петко.

Итак — чего же? Говори.

Лизы. Лизы мне недостает. И хватит морочить себе голову вздорными вопросами.

Субботнее утро, и, что особенно важно, на улице светит солнце. Ночью шел дождь, на мраморных плитах тут и там все еще стоит вода, и в этой воде отражается голубое небо, будто под ногами валяются осколки голубого стекла. Я совершаю свой обычный рейс от газетного киоска до кафе и вдруг вижу: прямо

передо мной стоит она, совсем как на той тропинке, ведущей к лесу.

Она стоит на углу возле галантерейного магазина — рослая и стройная, в каком-то черном платье, которое я вижу на ней впервые (ее гардероб явно обогащается), вот она — ее белое лицо, и черные крупные кудри, и полные розовые губы, которые улыбаются мне — но может быть, я ошибаюсь.

— Вы прямо как из-под земли выросли! — говорю я, подходя к ней.

— Не из-под земли, — отвечает Лиза. — Приехала проведать ребенка.

— Ах да, — киваю я. — Ребенка проведать.

Я совсем забыл, что у нее, как и у меня, есть детская проблема.

— Впрочем, я приехала и по другому делу. . .

— По какому же?

— Да насчет работы. Муж моей двоюродной сестры пообещал мне место секретарши, и наконец-то мне повезло.

— Чудесно, — говорю я. — А Илиев?

— Что Илиев? У Илиева есть работа. Я о себе говорю.

— Меня другое интересует: вы расписались?

— Еще нет.

— Что же вы тянете?

— Тони, вы часом не слепой? — произносит Лиза опечаленно. — Неужто не видите, как я одета?

— Недурно. Хотя несколько траурно.

— Несколько? Что же, по-вашему, я еще и вуаль должна надеть? — И, возмущенная моей недогадливостью, она добавляет: — Папа умер.

— Который же?

— Вы знаете который.

— Земля ему пухом, — бормочу я. — Но при мне вы ни разу его папой не звали.

— Да, но, когда ему стало совсем плохо, я начала звать его папой, и вы представить себе не можете, как это его трогало, хотя он об этом и не говорил. И я решила всегда звать его так, раз уж признала в нем отца.

— Так и должно быть, — соглашаюсь я. — Хотя ему едва ли удастся вас услышать.

— Как знать, — отвечает Лиза.

Школа и влияние Петко.

— А вам неприятно, что вы меня встретили? — вдруг спрашивает она.

— К чему эти вопросы? — тихо говорю я.

— Да ведь я отчасти из-за вас приехала. Может быть, главным образом из-за вас. Мне захотелось вас повидать, узнать, как вы тут.

— А как на это посмотрит Илиев?

— Меня это не волнует, — сухо отвечает она. А затем спрашивает как бы между прочим: — А вон в том кафе кофе не подают?

— Думаю, что подают.

— Тогда почему вы держите меня здесь, на углу? Разве не видите, я в новых туфлях.

Так что мы идем в кафе, чтобы посидеть за столиком между газонами, среди декоративного кустарника. Я здесь уже свой человек, и официантка аккуратно приносит два двойных эспрессо, приготовленных без экономии материала. Лиза отпивает глоток кофе, закуривает, после чего вдруг сообщает мне:

— Я не собираюсь выходить замуж за Илиева, Тони.

— Значит, этот мещанин все-таки оставил вас?

— Потому он меня оставил? Неужто я сама не способна кого-нибудь оставить?

— Почему же вы его оставили?

— Почему что люблю вас

— Здра-а-асте!. .

— Впрочем, я с давних пор вас люблю, порой мне даже кажется, что я вас полюбила с самого начала, а не то разве я могла бы так вас ненавидеть?

— А, значит, вы меня еще и ненавидите!

— Иногда. Вас это удивляет?

— Нисколько. Это ведь вы.

— Это в самом деле так: встречается он на твоем пути, этот единственный человек твоей жизни, встречается после такого долгого ожидания и вдруг оказывается совсем не таким, каким ты его видела в своих

мечтах. И всякий раз, когда он оказывается другим, ты невольно начинаешь его ненавидеть.

— И пока ненавидели меня, вы подружились с Владо.

— Это потому, что я потеряла всякую надежду. Вы смотрели на меня так же, как на стену. А Илиев порядочный человек, и я решила водить дружбу с ним. Если это проймет Тони — хорошо, если нет — значит, дело безнадежное, тогда пусть хоть у моего ребенка будет семья.

— Ну и как же? Илиев перестал быть порядочным человеком?

— Илиев все такой же. Но эта его расчетливость! Я этого терпеть не могу. И потом, когда вы уехали, я окончательно поняла, что ничего у нас с ним не получится.

— Зря обзаводились нарядами. . .

— Они куплены ради вас, Тони. Мне хотелось понравиться вам и услышать от вас: «Никуда ты не пойдешь, ты останешься здесь!»

— Разве я этого не сказал? Значит, это моя оплошность. А вам на самом деле хочется, чтобы я так сказал?

— Вы еще спрашиваете? — Лиза смотрит на меня долго, укоризненно.

— Да и мне, кажется, вас не хватало, — бормочу я. — Даже не знаю, чем это объяснить, но мне ужасно вас не хватало.

— Тони, миленький!

— Спокойно, — говорю я. — Есть еще одна деталь. Детский вопрос. . .

— Но мне казалось, Петьо вам нравился, — говорит она, и при этом лицо ее вдруг становится грустным.

— Слов нет. Но дело в том, что у меня тоже дети.

— Это та парочка? — догадывается Лиза. — Ну, теперь ты и в самом деле меня потряс. Этого-то я от тебя не ожидала! Где же они?

Я, должно быть, и в самом деле ее потряс, если она вдруг переходит на «ты».

— Спокойно, — повторяю я. — Всему свое время. Сперва надо расплатиться.

— И пойти забрать Петьо.

Да, Петьо. Ребенок, конечно, не проблема, разве что в каком-нибудь глупом сценарии. Будет ребенок твоим или нет, полностью зависит от тебя. И все же лучше, что отец его Петко, а не какой-нибудь безмозглый балбес. Хотя вроде бы именно это обстоятельство должно меня задевать — что он достался мне в наследство от Петко. Получается, что и в этот раз, как всегда, Петко мне что-то подбрасывает, а моя задача — довести дело до конца. Не исключено, правда, что в один прекрасный день он снова появится на горизонте и спросит: «Как там наш сын?»

Но вероятнее всего, он вообще не появится. Бесследно исчезнет. А может, и не бесследно — кое-что у меня все же от него останется. Я не хочу сказать, что он оказал на меня влияние. К сожалению, едва ли об этом можно говорить. Моя драма, если таковая существует, не имеет ничего общего с драмой этого человека с невыразительным лицом и одержимостью во взгляде, который смирился с тем, что он, как радиоприемник, вбирает в себя мысли и волнения всего человечества. И все же во мне что-то осталось от него, не совсем незначительный штрих в моих воспоминаниях, тень недоумения или даже нотка зависти. Когда я оглядываюсь назад и окидываю мысленным взглядом всех своих знакомых, то среди них этот бедолага — единственный, кого я могу назвать счастливым или по крайней мере не несчастным. А если человек не несчастный, то какой же он?

Но в данный момент речь не о Петко, а о Петьо.

И вот через каких-нибудь полчаса мы уже тащимся к нашему дому, к дому с двором и орехом, — тащимся уже втроем, а там нас ждут еще двое, так что всего нас теперь пятеро (трудно поверить, как быстро растет народонаселение планеты и как стремительно мы приближаемся к демографическому взрыву!). Петьо при этом теребит мою руку и спрашивает, самолетом ли я прилетел, как и в прошлый раз, а я говорю — нет, на ракете, но ему не терпится узнать, один я при-

ехал или вместе с его мамой, и я отвечаю, что нет, но что в дальнейшем нам, пожалуй, придется ездить вместе.

— И вообще, Петьо, плохи наши дела.

Малыш поднимает на меня свои большие любопытные глаза:

— Почему плохи?

— Спроси у мамы, она тебе все объяснит.

Однако Лиза ничего не объясняет, она только смеется.

Не знаю, говорил ли я, но у этой женщины поистине ослепительная улыбка. Может быть, именно из-за ее улыбки я и потерял рассудок. Стоит ей улыбнуться. . . Вот именно — стоит ей улыбнуться. . . Итак, стоит ей улыбнуться — и плохи твои дела.

СОДЕРЖАНИЕ

Богомил Райнов

ТОЛЬКО ДЛЯ МУЖЧИН

Роман
Издание второе
Редактор Ирина Марченко
Художник Божидар Икономов
Художественный редактор Жеко Алексиев
Технический редактор Божидар Петров
Корректоры Нели Василева, Изабелла Томова
Формат 32/84x108. Печ. л. 26,50.
Уч. -изд. л. 22,26. Тираж 100 200
Код. 13/9536279511—5605— 86
Цена 3 р. 13 коп.
Государственное издательство «Свят», София
Государственная типография имени Д. Благоева, София
Издано в Болгарии

3 р.13 коп.


Свят
БОГОМИЛ РАЙНОВ